



4

А. С. ПУШКИН





П. Ф. Соколов
Портрет А. С. Пушкина.
Акварель

А. С. Пушкин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

А. С. ПУШКИН

Собрание сочинений
в пяти томах

Том 4

РОМАНЫ
И ПОВЕСТИ

БИБЛИОПОЛИС
Санкт-Петербург
1994

ББК 84
П 91

Составитель
и автор комментария
В. Д. Рак

© В. Д. Рак, 1994: составление и комментарий
© И. Н. Фаррахов, 1994: оформление

ISBN 5-87671-001-6

Пушкинский кабинет ИРЛИ

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Береги честь смолоду.
Пословица.

ГЛАВА I

СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

- Был бы гвардии он завтра ж капитан.
- Того не надобно; пусть в армии послужит.
- Изрядно сказано! пускай его потужит...

.....
Да кто его отец?

Княжнин.

Отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. Я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу, — ворчал он про себя, — кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel¹, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен

¹ Чтобы стать учителем (франц.). Редакторские примечания обозначены цифрами, примечания Пушкина — значком *.

и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки*, т.е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам*, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски,—и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротой бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем, гоня голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свичаи и обычаи, всегда старалась засунуть

несчастную книгу как можно подальше, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок,—отвечала матушка.— Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще...

— Добро,—прервал батюшка,—пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни.

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни изменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

— Не забудь, Андрей Петрович,—сказала матушка,—поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

— Что за вздор!—отвечал батюшка нахмурясь.—К какой стати стану я писать к князю Б.?

— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши?

— Ну, а там что?

— Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк.

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет ляжку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его паспорт? подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастьем. Но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Недели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошел в бильярдную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под бильярд на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под бильярдом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр ** гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотой согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он

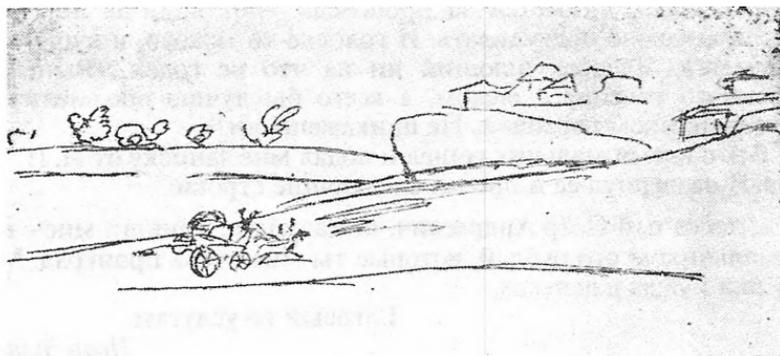
выучить меня играть на бильярде. «Это,— говорил он,— необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко; чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на бильярде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом — вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось? — сказал он жалким голосом,— где ты это нагрузился? Ахти, господи! отроду такого греха не бывало!» — «Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь,— ты, верно, пьян, пошел спать... и уложи меня».

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андреич, — сказал он мне, качая головою, — рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволила брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: «Мадам, же ву при, водкю». Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять,



1
Дорожный рисунок А. С. Пушкина
Предполагается, что сделан
во время путешествия в Оренбург.
1833

2, 3
Иллюстрации А. Н. Бенуа
Тушь, белила, карандаш
1918

когда, бывало, примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреич, какво подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурин. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам

Иван Зурин».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был *и денег, и белья, и дел моих рачитель*, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» — спросил изумленный Савельич. «Я их ему должен», — отвечал я со всевозможной холодностью. «Должен! — возразил Савельич, час от часу приведенный в большее удивление, — да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают».

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич, — произнес он дрожащим голосом, — не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, кроме как в орехи...» — «Полно врать, — прервал я строго, — подавай сюда деньги или я тебя взащей прогоню».

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С беспокойной совестью и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

Г Л А В А II

ВОЖАТЫЙ

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня.

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Прогрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся».

— Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким вздохом. — Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только!.. Как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал поглядывать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

— Барин, не прикажешь ли воротиться?

— Это зачем?

— Время ненадежно: ветер слегка подымается; — вишь, как он сметает порошу.

— Что ж за беда!

— А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

— А вон — вон: это облачко.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало бурю.

Я слышал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я надеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.

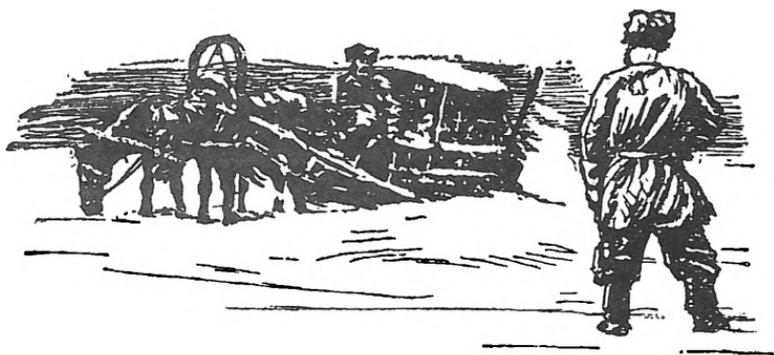
Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегалась небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалили хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин,— закричал ямщик,— беда: буря!».

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка,— невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бранить. Савельич за него заступился: «И охота было не слушаться,— говорил он сердито,— воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я,— смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А бог знает, барин,— сказал он, садясь на свое место,— воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк или человек».

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком.

— Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик.— Скажи, не знаешь ли, где дорога?

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе,— отвечал дорожный,— да что толку?



4

Иллюстрация А. Н. Бенуа
Тушь, белила, карандаш
1918

5

Иллюстрация М. Е. Малышева
Ксилография
1887

— Послушай, мужичок,— сказал я ему,— знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

— Сторона мне знакомая,— отвечал дорожный,— слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да вишь какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам.

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай».

— А почему ехать мне вправо? — спросил ямщик с неудовольствием.— Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой.— Ямщик казался мне прав. «В самом деле,— сказал я,— почему думаешь ты, что жило недалече?» — «А потому, что ветер оттоле потянул,— отвечал дорожный,— и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мой бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрасудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтоб батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным слушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише,—говорит она мне,— отец болен при смерти и желает с тобою проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови

его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего, вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?» — «Все равно, Петруша,— отвечала мне матушка,— это твой посаженный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».

— Куда приехали? — спросил я, протирая глаза.

— На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся.

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

— Где же вожатый? — спросил я у Савельича.

— Здесь, ваше благородие,— отвечал мне голос сверху. Я взглянул на потолки и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?» — «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у целовальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость,— прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе,— сказал он,— опять ты в нашем краю! Отколе бог

принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте. — «Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» — При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмирённого после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по-тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку! — сказал он, — за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. «Хорошо, — сказал я хладнокровно, — если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».

— Помилуй, батюшка Петр Андреич! — сказал Савельич. — Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропъет, собака, в первом кабаке.

— Это, старинушка, уж не твоя печаль,— сказал мой бродяга,— пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

— Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Савельич сердитым голосом.— Ты не видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напаялишь его на свои окаянные плечища.

— Прошу не умничать,— сказал я своему дядьке,— сейчас неси сюда тулуп.

— Господи владыко! — простонал мой Савельич.— Заячий тулуп почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». — Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой! — сказал он.— Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» — Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, деля свои замечания. «„Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство“... Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. „ваше превосходительство не забыло“... гм... „и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каролинку“... Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ? „Теперь о деле... К вам моего повесу“... гм... „держать в ежовых рукавицах“... Что такое ешovy рукавиц? Это должно быть русска поговорк... Что такое „держать в ешовых рукавицах?“» — повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит,— отвечал я ему с видом как можно более невинным,— обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.

— Гм, понимаю... „и не давать ему воли“ ... нет, видно ешovy рукавицы значит не то... „При сем... его паспорт“... Где ж он? А, вот... „отписать в Семеновский“... Хорошо, хорошо: все будет сделано... „Позволишь без чинов обнять себя и... старым товарищем и другом“— а! наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, батюшка,— сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт,— все будет сделано: ты будешь офицером переведен в *** полк, и, чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронova, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим отобедать у меня.

«Час от часу не легче! — подумал я про себя,— к чему послужило мне то, что почти в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В *** полк и в глухую крепость на границу киргиз-кайсацких степей!...» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

Г Л А В А III

КРЕПОСТЬ

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку:
Зарядим картечью пушку.

Солдатская песня.

Старинные люди, мой батюшка.

Недоросль.

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские сте-

пи. Я погрузился в размышления, большею частью печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна». — Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частью покрыты соломой. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, — отвечал инвалид, — наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, — сказала она, — он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, — сказал он, — вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно

врать пустяки, — сказала ему капитанша, — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...). А ты, мой батюшка,— продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иванович вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иванович и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимиыч! — сказала ему капитанша. — Отведи г. офицеру квартиру, да почище». — «Слушаю, Василиса Егоровна, — отвечал урядник. — Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» — «Врешь, Максимиыч, — сказала капитанша, — у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи г. офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимиыч, все ли благополучно?»

— Все, слава богу, тихо, — отвечал казак, — только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

— Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку. — Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимиыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимиыч отведет вас на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы, довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым.

«Извините меня, — сказал он мне по-французски, — что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». — Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фронт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, — прибавил он, — нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! — сказала комендантша. — Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» — Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русскими волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». — Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? — сказала ему жена. — Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». — «А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузмич, — я был занят службой: солдатушек учил». — «И, полно! — возразила капитанша. — Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли

они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! — сказала она, — ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековой невестою». — Я взглянул на Марью Ивановну, она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, — сказал я довольно некстати, — что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». — «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», — отвечал я. «Пустяки! — сказал комендант. — У нас давно ничего не слышать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомону». — «И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» — «Привычка, мой батюшка, — отвечала она. — Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

— Василиса Егоровна прехрабрая дама, — заметил важно Швабрин. — Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

— Да, слышь ты, — сказал Иван Кузмич, — баба-то не робкого десятка.

— А Марья Ивановна? — спросил я, — так же ли смела, как и вы?

— Смела ли Маша? — отвечала ее мать. — Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

Г Л А В А IV

ПОЕДИНОК

— Ин изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!
Княжнин.

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечною. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечером иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первую вестовщицею во всем околотке. С А.И.Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было; но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван незапным междуусобием.

Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович

Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стихи:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,
Всемигнута предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,
Сжался, Маша, надо мной,
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь? — спросил я Швабрину, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но, к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду.

— Потому, — отвечал он, — что такие стихи достойны учителя моего, Василия Кириллыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплеты.

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою. «Посмотрим, — сказал он, — сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

— Не твое дело, — отвечал я нахмурясь, — кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

— Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня, — но

послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками.

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

— С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтобы Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег.

Кровь моя закипела.

— А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

— А потому, — отвечал он с адской усмешкою, — что знаю по опыту ее нрав и обычай.

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве, — ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменялся в лице.

— Это тебе так не пройдет, — сказал он, стиснув мне руку. — Вы мне дадите сатисфакцию.

— Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатъичу и застал его с иглою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреич! — сказал он, увидя меня, — добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатъича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатъич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить, — сказал он мне, — что хотите Алексея Иваныча заколоть, и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

— Точно так.

— Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побрались? Велика беда! Брань на ворота не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно, — сказал Иван Игнатъич, — делайте, как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся; что за невидальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку: всего рассмотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша, — сказал он. — Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодействие, противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры...»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избежать докучных вопросов; но признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданты, — сказал он мне сухо, — без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговоривали по-видимому так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так, — сказал он мне с довольным видом, — худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».

— Что, что, Иван Игнатьич? — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты, — я не вслушалась.

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

— Иван Игнатьич, — сказал он, — одобряет нашу мировую.

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

— Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем.

— За что так?

— За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна.

— Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось?

— Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь...

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось.

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать, — сказал он мне, — надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам, — сказал он ей хладнокровно, — не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело». — «Ах! мой батюшка! — возразила комендантша, — да разве муж и жена не один дух и едина плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас расседи их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у бога прощения да каялись перед людьми».

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка

принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта по-видимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было, — сказал я ему сердито, — доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» — «Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил, — отвечал он, — Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может», — сказал я ему. «Конечно, — отвечал Швабрин, — вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» И мы расстались как ни в чем не бывали.

Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорой с Швабриным. «Я так и обмерла, — сказала она, — когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестью и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иваныч».

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

— Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.

— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравится ли вы ему или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела.

— Мне кажется, — сказала она, — я думаю, что нравлюсь.

— Почему же вам так кажется?

— Потому что он за меня сватался.

— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

— В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.

— И вы не пошли?

— Как изволите видеть. Алексей Иваныч, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие благополучия!

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре,

показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дождался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? — сказал мне Швабрин, — за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur¹ Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.

Г Л А В А V

ЛЮБОВЬ

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.

Песня народная.

Буде лучше меня найдешь, позабудешь.
Если хуже меня найдешь, вспомянешь.

То же.

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял

¹ Мосье (франц.).

Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрипнула дверь. «Что? каков?» — произнес пошепту голос, от которого я затрепетал. «Все в одном положении, — отвечал Савельич со вздохом, — все без памяти вот уже пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» — сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» — сказала она. «Слава богу, — отвечал я слабым голосом. — Это вы, Марья Ивановна? Скажите мне...» — я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнися! опомнися! — повторял он. — Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич, — сказала она. — Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна, — сказал я ей, — будь моею женою, согласись на мое счастье». — Она опомнилась. «Ради бога успокойтесь, — сказала она, отняв у меня свою руку. — Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастье воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла все мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители, конечно, рады будут ее счастью. «Но подумай хорошенько, — прибавила она, — со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»



6

Иллюстрация А. Н. Бенуа
Тушь, белила, карандаш
1918

Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался; но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на нее смотреть как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне и решился, однако, писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви.

Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается да раскается». — Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрину, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы незлопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и с первых строк увидел, что все дело пошло к черту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей

Ивановой дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться да за проказы твои проучить тебя путем, как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостойн, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоём поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость.

Отец твой А.Г.»

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поспешил, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала, но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: «Видно тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба; ты и мать мою хочешь уморить». Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь, — сказал он чуть не зарыдав, — что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» — «Что ты сделал? — отвечал я. — Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?» — «Я? писал на тебя доносы? — отвечал Савельич со слезами. — Господи царю небесный! Так изволь-ка прочесть, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса, пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором

пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил, — повторял он, — вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось? — сказала она, увидев меня. — Как вы бледны!» — «Все кончено!» — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно, мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...» — «Этому не бывать! — вскричал я, схватив ее за руку, — ты меня любишь; я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит...» — «Нет, Петр Андреич, — отвечала Маша, — я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...» Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

Я сидел погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, сударь, — сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги, — посмотри, доносчик ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить сына с отцом». Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович, отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что-де стыдно мне не исполнять господских приказаний; — а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испугать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла, и за ее здоровье бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь, под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цирюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава богу, здоров, и про него кроме хорошего нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то быть молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиной пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш

Архип Савельев».

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избежать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичем виделся я только, когда того требовала служба. Со Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

ГЛАВА VI

ПУГАЧЕВЩИНА

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будем сказывать.

Песня.

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, и заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства беспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении и наконец усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатъича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:



7

Иллюстрация В. Ле Кампиона
Ксилография
1951—1952

«Господину коменданту Белогорской крепости
капитану Миронову.

По секрету.

Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно и к совершенному уничтожению одного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

— Принять надлежащие меры! — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. — Слышь ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно.

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. «Как ты думаешь, чем это кончится?» — спросил я его. «Бог знает, — отвечал он, — посмотрим. Важного покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с

допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он нисколько не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастье, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником». — «А для чего ж было тебе запирать Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузмич не был приготовлен к такому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но, зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна готовила совершенно особым образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатъича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления? — думала комендантша, — уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатъича, с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судья, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою: «Господи боже мой! Вишь какие новости! Что из этого будет?»

— И, матушка! — отвечал Иван Игнатъич. — Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

— А что за человек этот Пугачев? — спросила комендантша.

Тут Иван Игнатъич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от

крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать дальше побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Посланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот же тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна, — сказал он ей покашливая. — Отец Герасим получил, говорят, из города...» — «Полно врать, Иван Кузмич, — перервала комендантша, — ты, знать, хочешь собрать совещание да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих не проведешь». Иван Кузмич вытаращил глаза. «Ну, матушка, — сказал он, — коли ты уже все знаешь, так, пожалуй, оставайся; мы потолкуем и при тебе». — «То-то, батька мой, — отвечала она, — не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами».

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не супротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

— Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить

к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашли такие командиры, которые послушались разбойника?

— Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузмич. — А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

— Видно, он в самом деле силен, — заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу, — сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

— Постой, Иван Кузмич, — сказала комендантша, вставая с места. — Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться.

Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе! — сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. — Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Ты, знать, не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь?» — продолжал Иван Кузмич, — али бельмес, по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова.

— Якши¹, — сказал комендант, — ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат да выстрочите его спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся, тогда башкирец застонал слабым; умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну, — сказал комендант, — видно нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

— Что это с тобою сделалось? — спросил изумленный комендант.

— Батюшки, беда! — отвечала Василиса Егоровна. — Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузмич! — сказал я коменданту. — Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об

¹ Хорошо, ладно (*татар.*).

этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей:

— А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?

— И, пустое! — сказала комендантша. — Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

— Ну, матушка, — возразил Иван Кузмич, — оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость?

— Ну, тогда... — Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

— Нет, Василиса Егоровна, — продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. — Маше здесь оставаться не гоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром что ты старуха, а посмотри, что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом.

— Добро, — сказала комендантша, — так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

— И то дело, — сказал комендант. — Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?

— У Акулины Памфиловны, — отвечала комендантша. — Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застану Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она мне со слезами. — Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала.

Я обнял ее. «Прощай, ангел мой, — сказал я, — прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.

Г Л А В А VII

ПРИСТУП

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго
И ни рангу себе высокого;
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекладинку кленовую,
Еще петельку шелковую.

Народная песня.

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы? — сказал Иван Игнатьич, догоняя меня. — Иван Кузмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел». — «Уехала ли Марья Ивановна?» — спросил я с сердечным

трепетом. — «Не успела, — отвечал Иван Игнатъич, — дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!».

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростью необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалось, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди brave и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатъичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. «Ну, что? — сказала комендантша. — Каково идет баталья? Где же неприятель?» — «Неприятель недалеко, — отвечал Иван Кузмич. — Бог даст, все будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?» — «Нет, папенька, — отвечала Марья Ивановна, — дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомя, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили, и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подсккали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал над шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас! — закричал Иван Кузмич. — Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и

свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марию Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники видимо готовились к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна! — сказал комендант. — Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива ни мертва».

Василиса Егоровна, присмирившая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее». (Маша кинулась ему на шею и зарыдала.) «Поцелуемся ж и мы, — сказала, заплакав, комендантша. — Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила!» — «Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху. — Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел вослед Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко, — сказал комендант, — будет приступ...» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую средину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята, — сказал комендант, — теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнагъич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите? — закричал Иван Кузмич. — Умирать так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и

ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья, меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот ужо вам будет, государевым послушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью, раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приблизились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?» — спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатъича. «Присягай, — сказал ему Пугачев, — государю Петру Феодоровичу!» — «Ты нам не государь, — отвечал Иван Игнатъич, повторяя слова своего капитана. — Ты; дядюшка, вор и самозванец!» Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неопisanному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под висе-

лицу. «Не бось, не бось», — повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной! — говорил бедный дядька. — Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует», — говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!» — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич! — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. — Не упрямясь! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказал с усмешкою: «Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!» — Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Все это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои! — кричала бедная старушка. — Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи! — закричала она в исступлении. — Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» — «Унять старую ведьму!» — сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

ГЛАВА VIII

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

Незванный гость хуже татарина.
Пословица.

Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны гуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкаф был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

— Ах, Петр Андреич! — сказала она, сплеснув руками. — Какой денек! какие страсти!..

— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо, — что Марья Ивановна?

— Барышня жива, — отвечала Палаша. — Она спрятана у Акулины Памфиловны.

— У попадьи! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадьа вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.

— Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, — отвечала попадьа. — Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава богу, все прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да

застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «Племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя». — «А молода твоя племянница?» — «Молода, государь». — «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». — У меня сердце так и екнуло, да нечего было делать. — «Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости». — «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! — и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастью, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатъич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иванов? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать! А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то. — В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. — Ступайте себе домой, Петр Андреич, — сказала она, — теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что будет то будет; авось бог не оставит.

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава богу! — вскричал он, увидя меня. — Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? все у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»

— Нет, не узнал; а кто ж он такой?

— Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новешенький; а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница,

шатавшийся по постоянным дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

— Не изволишь ли покушать? — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. — Дома ничего нет; пойду, пошарю, да что-нибудь тебе изготовлю.

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих, затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что-де «великий государь требует тебя к себе». — «Где же он?» — спросил я, готовясь повиноваться.

— В комендантском, — отвечал казак. — После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его.

Я не почел нужным оспаривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина мне представилась. За столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрин, ни нашего урядника, новобраных изменников. «А, ваше благородие! — сказал Пугачев, увидя меня. — Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел

на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъевляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкой. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы, — сказал Пугачев, — затынем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! начинай!» — Сосед мой затынул тонким голосом заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати.
Что завтра мне, доброму молодцу, в допрос идти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всёе правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищ, то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом.



8, 11

Иллюстрации А. Н. Бенуа
Тушь, белила, карандаш
1918

9

Иллюстрация П. П. Соколова
Гравюра на меди
1891

10

Иллюстрация Д. А. Шмаринова
Черная акварель, уголь
1974

Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

— Что, ваше благородие? — сказал он мне. — Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват, — продолжал он, — но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, отдам ли тебе свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показали мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

— Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смысленный: ты сам увидел бы, что я лукавствую».

— Кто же я таков, по твоему разумению?

— Бог тебя знает, но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет, — отвечал я с твердостью. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу.

Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля; велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, — сказал он, ударя меня по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горящего по моему отсутствию. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыко! — сказал он перекрестившись. — Чем свет оставим крепость и пойдем куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.

Г Л А В А IX

РАЗЛУКА

Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться,
Грустно, будто бы с душой.

Херасков.

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все

еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тела комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай, — сказал он мне. — Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детской любовью и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие!» Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрину: «Вот вам, детушки, новый командир. Слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было посадить его.

В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» — спросил важно Пугачев. «Прочитай, так изволишь увидеть», — отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь? — сказал он наконец. — Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух», — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее, — отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

«Мундир из тонкого зеленого сукна, на семь рублей.

Штаны белые суконные, на пять рублей.

Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами, на десять рублей.

Погребец с чайною посудою, на два рубля с полтиною...»

— Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крикнул и стал объясняться.

— Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

— Виноват: обмолвился, — отвечал Савельич. — Злодеи не злодеи, а твои ребята так пошарили да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать.

— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

«Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге, четыре рубля.

Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще! — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? — вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу. — Глупый старик! Их обобрали: экая беда! Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь с моими слушниками... Заячий тулуп! Я-те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

— Как изволишь, — отвечал Савельич, — а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был, видно, в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь, — отвечал Савельич, — смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидиться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, незащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте, — говорила мне попадья, провожая меня, — прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводу и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще, — примолвил, запинаясь, урядник, — жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою; простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!» — «Что у меня за пазухой-то побрякивает? — возразил урядник, нимало не смутясь. — Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина». — «Добро, — сказал я, прерывая спор. — Благодарю от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку». — «Очень благодарен, ваше благородие, — отвечал он, поворачивая свою лошадь, —

вечно за вас буду бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь, — сказал старик, — что я недаром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да все же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

Г Л А В А X

ОСАДА ГОРОДА

Заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.
За станом повелел соорудить раскат
И, в нем перуны скрыв, в ночи привесть под град.
Херасков.

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений, под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменчики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов! — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. — Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама и какая мастерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай! — заметил генерал. — Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкою?» Я отвечал, что до Белогорской крепости

недалеко и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим, — сказал он. — Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни».

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможи, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались прочие приглашенные. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа, — продолжал он, — надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно* или *оборонительно*? Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно... Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Г. прапорщик! — продолжал он, обращаясь ко мне. — Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явной неблагоклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Г. прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных: это законный порядок. Теперь станем продолжать собиранье голосов. Г. коллежский советник! скажите нам ваше мнение!»

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я

думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

— Как же так, господин коллежский советник? — возразил изумленный генерал. — Других способов тактика не представляет: движение оборонительное или наступательное...

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

— Э-хе-хе, мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...

— И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

— Мы еще об этом подумаем и потолкуем, — отвечал генерал. — Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек, за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

— Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен: ибо мнение сие основано на всех правилах здоровой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает.

Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

— Но, государи мои, — продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму, — я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать.

Чиновники в свою очередь насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета, узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приблизился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долгосрочное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была губельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетающим на их дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и добродетельных. Тощая городская конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал:

— Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас бог милует?

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался.

— Здравствуй, Максимыч, — сказал я ему. — Давно ли из Белогорской?

— Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо.

— Где ж оно? — вскричал я, весь так и вспыхнув.

— Со мною, — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. — Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить. — Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозитя, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня, бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу, да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия прищпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода.

— Ваше превосходительство, — сказал я ему, — прибегаю к вам, как к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе; дело идет о счастье всей моей жизни.

— Что такое, батюшка? — спросил изумленный старик. — Что я могу для тебя сделать? Говори.

— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

— Как это? Очистить Белогорскую крепость? — сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех, — отвечал я с жаром. — Только отпустите меня.

— Нет, молодой человек, — сказал он, качая головою. — На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать.

— Дочь капитана Миронова, — сказал я ему, — пишет ко мне письмо; она просит помощи; Швабрин принуждает ее выйти за него замуж.

— Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm¹, и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в двадцать четыре часа, и мы расстреляем его на парапете крепости! Но покамест надобно взять терпение...

— Взять терпение! — вскричал я вне себя. — А он между тем женится на Марье Ивановне!..

— О! — возразил генерал. — Это еще не беда: лучше ей быть, покамест, женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица.

— Скорее соглашусь умереть, — сказал я в бешенстве, — нежели уступить ее Швабрину!

— Ба, ба, ба, ба! — сказал старик. — Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоприятна; я не могу взять ее на свою ответственность.

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем она состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

¹ Плут (нем.).

МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА

В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —
Спросил он ласково.

А. Сумароков.

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переводываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-навсего денег? «Будет с тебя, — отвечал он с довольным видом. — Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич, — сказал я ему, — отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость».

— Батюшка Петр Андреич! — сказал добрый дядька дрожащим голосом. — Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны.

Но намерения мое было твердо принято.

— Поздно рассуждать, — отвечал я старику. — Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...

— Что ты это, сударь? — прервал меня Савельич. — Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога, потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди... Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадет барское дитя!»

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами: это был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутой, пришпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я повернул лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка, — прибавил он, — волен приказать: сейчас ли вас повесить, али дожждаться свету божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец, — сказал один из мужиков, — сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул

на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дождался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай, наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, — все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! — сказал он мне с живостию. — Как поживаешь? Зачем тебя бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» — спросил он меня. Я не знал, что ответить. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них, — сказал мне Пугачев, — от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, щедущий и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому, широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй — Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? — закричал он. — Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый, — отвечал я. — Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

— Я проучу Швабрину, — сказал грозно Пугачев. — Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу.

— Прикажи слово молвить, — сказал Хлопуша хриплым голосом. — Ты поторопился назначить Швабрину в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору.

— Нечего их ни жалеть, ни жаловать! — сказал старичок в голубой ленте. — Швабрину сказнить не беда; а не худо и господину офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров.

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие? — сказал он мне подмигивая. — Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

— Добро, — сказал Пугачев. — Теперь скажи, в каком состоянии ваш город.

— Слава богу, — отвечал я, — все благополучно.

— Благополучно? — повторил Пугачев. — А народ мрет с голоду!

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

— Ты видишь, — подхватил старичок, — что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрину хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.

— Полно, Наумыч, — сказал он ему. — Тебе бы все душисть да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?

— Да ты что за угодник? — возразил Белобородов. — У тебя-то откуда жалость взялась?

— Конечно, — отвечал Хлопуша, — и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костливый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором.

Старик отворотился и проворчал слова: «рваные ноздри!»...

— Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша. — Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородинки не вырвал!

— Господа енаралы! — провозгласил важно Пугачев. — Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладной: беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге».

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен, — сказал он, мигая и прищуриваясь. — Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невеста моя, — отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

— Твоя невеста! — закричал Пугачев. — Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! — Потом, обращаясь к Белобородову: — Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников.

Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противуречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела...

«Стой! стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый, — и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка Петр Андреич! — кричал дядька. — Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» — «А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев. — Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок».

— Спасибо, государь, спасибо, отец родной! — говорил Савельич усаживаясь. — Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану.

Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастью, самозванец или не расслышал или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице оставался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянную. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин

мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробежал по моему телу, и волосы становились дыбом...

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

— О чем, ваше благородие, изволил задуматься?

— Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя.

— Что ж? — спросил Пугачев. — Страшно тебе?

Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощадку, но даже и на помощь.

— И ты прав, ей-богу прав! — сказал самозванец. — Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился, — прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать, — помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорят обо мне ваша братья.

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспаривать и не отвечал ни слова.

— Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие.

— Да! — сказал он с веселым видом. — Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?

Хвастливость разбойника показалась мне забавна.

— Сам как ты думаешь? — сказал я ему, — управился ли бы ты с Фридериком?

— С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастье. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса:

— Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо остро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою.

— То-то! — сказал я Пугачеву. — Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблагоразумно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев громко усмехнулся.

— Нет, — отвечал он, — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою.

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

— Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсего только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиток живой кровью, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка?

— Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней — и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

Г Л А В А XII

СИРОТА

Как у нашей у яблоньки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.

Свадебная песня.

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил

себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъясняя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» — Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заняло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно:

— Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее.

Швабрин побледнел как мертвый.

— Государь, — сказал он дрожащим голосом... — Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит.

— Веди ж меня к ней, — сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице.

— Государь! — сказал он. — Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей.

Я затрепетал.

— Так ты женат! — сказал я Швабрину, готовясь его растерзать.

— Тише! — прервал меня Пугачев. — Это мое дело. А ты, — продолжал он, обращаясь к Швабрину, — не умничай и не ломайся: жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною.

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом:

— Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит без умолку.

— Отворяй! — сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье, сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стояли кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкою:

— Хорош у тебя лазарет! — Потом, подошед к Марье Ивановне: «Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?»

— Мой муж! — повторила она. — Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решила умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрина.

— И ты смел меня обманывать! — сказал он ему. — Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?

Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился.

— Милую тебя на сей раз, — сказал он Швабрину, — но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта.

Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково:

— Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь.

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

— Что, ваше благородие? — сказал смеясь Пугачев. — Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженным отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем — и ворота запрем!

Чего я опасался, то и случилось, Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя.

— Государь! — закричал он в исступлении. — Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости.

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза.

— Это что еще? — спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду, — отвечал я с твердостью.

— Ты мне этого не сказал, — заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди, — отвечал я ему, — можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

— И то правда, — сказал смеясь Пугачев. — Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их.

— Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнь мою рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему! — сказал он. — Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее, куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»

Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» — спросила Палаша. Я назвал. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреич. Я передеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне; я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреич, — говорила попадья. — Привел бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то». — «Полно, старуха, — прервал отец Герасим. — Не все то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались».

Попадья стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она

присоветовала Марью Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я в свою очередь рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная! — говорила Акулина Памфиловна. — Промчи бог тучу мимо. Ай да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!» В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевавшем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагорасположение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна! — сказал я наконец. — Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противуречил. Мы поцеловались горячо, искренно — и таким образом все было между нами решено.

Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел

в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». — Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный! — говорила добрая попадья. — Счастливым путь, и дай бог вам обоим счастья!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навсегда оставили Белогорскую крепость.

Г Л А В А XIII

АРЕСТ

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.
— Извольте, я готов; но я в такой надежде,
Что дело объяснить дозволите мне прежде.
Княжнин.

Соединенный так нечаянно с милой девушкою, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши слухком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы

переменяли лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придзорного временщика.

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приблизились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? — ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяйскою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум! — сказал мне усастый вахмистр. — Вот уж тебе будет баня, и с твоею хозяйскою!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи владыко! чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяйскою к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве он с ума сошел?

— Не могу знать, ваше благородие, — отвечал вахмистр. — Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире!

— Возможно ли? — вскричал я. — Иван Иваныч! ты ли?

— Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

— Какую тебе квартиру? Оставайся у меня.

— Не могу: я не один.

— Ну, подавай сюда и товарища.

— Я не с товарищем; я... с дамою.

— С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат! (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

— Ну, — продолжал Зурин, — так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попиروвали по-старинному... Гей! малый! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею.

— Что ты это? — сказал я Зурину. — Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставлю ее.

— Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?

— После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Все это, брат, хорошо; одно не хорошо: зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать; поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и все будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж я чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностию. «Друг ты мой, Архип Савельич! — сказал я ему. — Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней».

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неопisanного.

— Жениться! — повторил он. — Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?

— Согласятся, верно согласятся, — отвечал я, — когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич! — отвечал он. — Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого».

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то вопрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она тихим голосом. — Придется ли нам увидаться, или нет, бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы.

Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу¹.

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Правление было повсюду прекращено; помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе не сдобровать! Женишься — ни за что пропадешь!»

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: «Емеля, Емеля! — думал я с досадою, — зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать». Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал

¹ К этому месту относится «Пропущенная глава», отброшенная Пушкиным и сохранившаяся только в черновом автографе (см.с.96).

моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность, — отвечал он, подавая мне бумагу. — Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего! — сказал Зурин. — Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев, устрасала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.

Г Л А В А XIV

СУД

Мирская молва —
Морская волна.
Пословица.

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решил перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, вместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посреди сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть

кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.

Такое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, изливаемой из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и пустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер, — сказал он мне нахмурясь, — но видали мы и не таких!»

Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

— Каким же образом, — возразил мой допросчик, — дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца;

но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

«На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу...» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?»

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными извещениями злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчерашнего злодея*. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел — Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседел; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением;

оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать, — как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слышал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что-де злодей его так жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностью и осторожностью.

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявлял ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастью, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решила помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как! — повторял он, выходя из себя. — Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастья. Она скрывала от всех свои слезы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург? — сказала она. — Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка! — сказал он ей со вздохом. — Мы твоему счастью помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкою, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав, что двор находился в то время в Царском Селе, решила тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером, — словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, с своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

- Вы, верно, не здешние? — сказала она.
- Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.
- Вы приехали с вашими родными?
- Никак нет-с. Я приехала одна.
- Одна! Но вы так еще молоды.
- У меня нет ни отца, ни матери.
- Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?
- Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.
- Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?
- Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

— Позвольте спросить, кто вы таковы?

— Я дочь капитана Миронова.

— Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня, — сказала она голосом еще более ласковым, — если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь».

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось, — и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

— Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом. — Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй.

— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.

— Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей-богу неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. — Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились?» — спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чаю только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти, господи! — закричала она. — Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к

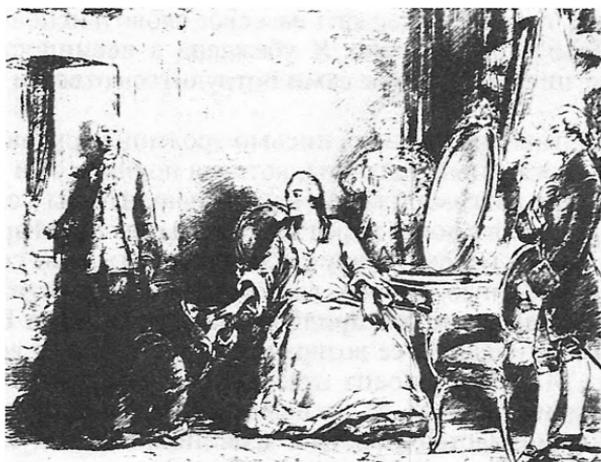


12

Иллюстрация М. В. Нестерова
Ксилография. 1882

13

Иллюстрация П. П. Соколова
Карандаш. 1860-е



императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?» Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых, великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так утрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплавав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы небогаты, — сказала она, — но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не любопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от

заклучения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

19 окт. 1836.

Издатель.

Приложение

ПРОПУЩЕННАЯ ГЛАВА¹

Мы приближались к берегам Волги; полк наш вступил в деревню** и остановился в ней ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все деревни взбунтовались, шайки пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром. Нетерпение овладело мной. Деревня отца моего находилась в тридцати верстах по ту сторону реки. Я спросил, не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне были рыболовы; лодок было много. Я пришел к Гриневу и объявил ему о своем намерении. «Берегись, — сказал он мне. — Одному ехать опасно. Дождись утра. Мы переправимся первые и приведем в гости к твоим родителям 50 человек гусаров на всякий случай».

Я настоял на своем. Лодка была готова. Я сел в нее с двумя гребцами. Они отчалили и ударили в весла.

Небо было ясно. Луна сияла. Погода была тихая. Волга неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, быстро скользила по темным волнам. Я погрузился в мечты воображения. Прошло около получаса. Мы уже достигли середины реки... вдруг гребцы начали шептаться между собою. «Что такое?» — спросил я, очнувшись. «Не знаем, бог весть», — отвечали гребцы, смотря в одну сторону. Глаза мои приняли то же направление, и я увидел в сумраке что-то плывшее вниз по Волге. Незнакомый предмет приближался. Я велел гребцам остановиться и дожидаться его. Луна зашла за облако. Плывучий призрак сделался еще неяснее. Он был от меня уже близко, и я все еще не мог различить. «Что бы это было? — говорили гребцы. — Парус не парус, мачты не мачты...» — Вдруг луна вышла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К нам навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту, три тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело мною. Я захотел взглянуть на лица висельников.

По моему приказанию гребцы зацепили плот багром, лодка моя толкнулась о плывучую виселицу. Я выпрыгнул и очутился между ужасными столбами. Яркая луна озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет 20-ти. Но взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву. Над ними прибита была черная

¹ Глава эта не включена в окончательную редакцию «Капитанской дочки» и сохранилась в черновой рукописи, где названа «Пропущенная глава». В тексте этой главы Гринева именуется Буланиным, а Зурин — Гриневым. (Ср. с.85.)

доска, на которой белыми крупными буквами было написано: «Воры и бунтовщики». Гребцы смотрели равнодушно и ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот поплыл вниз по реке. Виселица долго чернела во мраке. Наконец она исчезла, и лодка моя причалила к высокому и крутому берегу...

Я щедро расплатился с гребцами. Один из них повел меня к выборному деревни, находившейся у перевоза. Я вошел с ним вместе в избу. Выборный, услыша, что я требую лошадей, принял было меня довольно грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколько слов, и его суровость тотчас обратилась в торопливую услужливость. В одну минуту тройка была готова, я сел в тележку и велел себя везти в нашу деревню.

Я скакал по большой дороге, мимо спящих деревень. Я боялся одного: быть остановлену на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противудействия правительства. На всякий случай я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева. Но никто мне не встретился, и к утру я завидел реку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня. Ямщик ударил по лошадям, и через четверть часа я въехал в **.

Барский дом находился на другом конце села. Лошади мчались во весь дух. Вдруг посередине улицы ямщик начал их удерживать. «Что такое?» — спросил я с нетерпением. «Застава, барин», — отвечал ямщик, с трудом останавливая разъяренных своих коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне и снял шляпу, спрашивая пашпорту. «Что это значит? — спросил я его, — зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь?» — «Да мы, батюшка, бунтуем», — отвечал он, почесываясь.

— А где ваши господа? — спросил я с сердечным замиранием...

— Господа-то наши где? — повторил мужик. — Господа наши в хлебном анбаре.

— Как в анбаре?

— Да Андрюха, земский, посадил, вишь, их в колодки и хочет везти к батюшке-государю.

— Боже мой! Отворачивай, дурак, рогатку. Что же ты зеваешь?

Караульный медлил. Я выскочил из телеги, треснул его (виноват) в ухо и сам отодвинул рогатку. Мужик мой глядел на меня с глупым недоумением. Я сел опять в телегу и велел скакать к барскому дому. Хлебный анбар находился на дворе. У запертых дверей стояли два мужика также с дубинами. Телега остановилась прямо перед ними. Я выскочил и бросился прямо на них. «Откройте двери!» — сказал я им. Вероятно, вид мой был страшен. По крайней мере оба убежали, бросив дубины. Я попытался сбить

замок, а двери выломать, но двери были дубовые, а огромный замок несокрушим. В эту минуту статный молодой мужик вышел из людской избы и с видом надменным спросил меня, как я смею буяннить. «Где Андрюшка земский? — закричал я ему. — Кликнуть его ко мне!»

— Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка, — отвечал он мне, гордо подбочась. — Чего надобно?

Вместо ответа я схватил его за ворот и, притащив к дверям анбара, велел их отпирать. Земский было заупрямился, но *отеческое* наказание подействовало и на него. Он вынул ключ и отпер анбар. Я кинулся через порог и в темном углу, слабо освещенном узким отверстием, прорубленным в потолке, увидел мать и отца. Руки их были связаны, на ноги набиты были колодки. Я бросился их обнимать и не мог выговорить ни слова. Оба смотрели на меня с изумлением: три года военной жизни так изменили меня, что они не могли меня узнать. Матушка ахнула и залилась слезами.

Вдруг услышал я милый знакомый голос: «Петр Андреич! Это вы!» Я остолбенел... оглянулся и вижу в другом углу Марью Ивановну, также связанную.

Отец глядел на меня молча, не смея верить самому себе. Радость блистала на лице его. Я спешил саблею разрезать узлы их веревок.

— Здравствуй, здравствуй, Петруша, — говорил отец мне, прижимая меня к сердцу, — слава богу, дождались тебя...

— Петруша, друг мой, — говорила матушка. — Как тебя господь привел! Здоров ли ты?

Я спешил их вывести из заключения; но, подошед к двери, я нашел ее снова запертою. «Андрюшка, — закричал я, — отпри!» — «Как не так, — отвечал из-за двери земский. — Сиди-ка сам здесь. Вот уж научим тебя буяннить да за ворот таскать государевых чиновников!»

Я стал осматривать анбар, ища, не было ли какого-нибудь способа выбраться.

— Не трудись, — сказал мне батюшка, — не таковский я хозяин, чтоб можно было в анбары мои входить и выходить воровскими лазейками.

Матушка, на минуту обрадованная моим появлением, впала в отчаяние, видя, что пришлось и мне разделить погибель всей семьи. Но я был спокойнее с тех пор, как находился с ними и с Марьей Ивановной. Со мною была сабля и два пистолета, я мог еще выдержать осаду. Гринев должен был подоспеть к вечеру и нас освободить. Я сообщил все это моим родителям и успел успокоить матушку. Они предались вполне радости свидания.

— Ну, Петр, — сказал мне отец, — довольно ты проказил, и я на тебя порядком был сердит. Но нечего поминать про старое.

Надеюсь, что теперь ты исправился и перебесился. Знаю, что ты служил, как надлежит честному офицеру. Спасибо. Утешил меня, старика. Коли тебе обязан я буду избавлением, то жизнь мне вдвое будет приятнее.

Я со слезами целовал его руку и глядел на Марью Ивановну, которая была так обрадована моим присутствием, что казалась совершенно счастлива и спокойна.

Около полудни услышали мы необычайный шум и крики. «Что это значит, — сказал отец, — уж не твой ли полковник подоспел?» — «Невозможно, — отвечал я. — он не будет прежде вечера». Шум умножался. Били в набат. По двору скакали конные люди. В эту минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, просунулась седая голова Савельича, и мой бедный дядька произнес жалостным голосом: «Андрей Петрович, Авдотья Васильевна, батюшка ты мой, Петр Андреич, матушка Марья Ивановна, беда! злодеи вошли в село. И знаешь ли, Петр Андреич, кто их привел? Швабрин, Алексей Иваныч, нелегкое его поберит!» Услыша ненавистное имя, Марья Ивановна всплеснула руками и осталась неподвижною.

— Послушай, — сказал я Савельичу, — пошли кого-нибудь верхом к * перевозу, навстречу гусарскому полку; и вели дать знать полковнику об нашей опасности.

— Да кого же послать, сударь! Все мальчишки бунтуют, а лошади все захвачены! Ахти! Вот уж на дворе. До анбара добираются.

В это время за дверью раздались несколько голосов. Я молча дал знак матушке и Марье Ивановне удалиться в угол, обнажил саблю и прислонился к стене у самой двери. Батюшка взял пистолеты и на обоих взвел курок и стал подле меня. Загремел замок, дверь отворилась, и голова земского показалась. Я ударил по ней саблею, и он упал, заградив вход. В ту же минуту батюшка выстрелил в дверь из пистолета. Толпа, осаждавшая нас, отбежала с проклятиями. Я перетащил через порог раненого и запер дверь внутреннею петлею. Двор был полон вооруженных людей. Между ими узнал я Швабрина.

— Не бойтесь, — сказал я женщинам. — Есть надежда. А вы, батюшка, уж более не стреляйте. Побережем последний заряд.

Матушка молча молилась богу; Марья Ивановна стояла подле нее, с ангельским спокойствием ожидая решения судьбы нашей. За дверьми раздались угрозы, брань и проклятия. Я стоял на своем месте, готовясь изрубить первого смельчака. Вдруг злодеи замолчали. Я услышал голос Швабрина, зовущего меня по имени.

— Я здесь, чего ты хочешь?

— Сдайся, Буланин, противиться напрасно. Пожалей своих стариков. Упрямством себя не спасешь. Я до вас доберусь!

— Попробуй, изменник!

— Не стану ни сам соваться по-пустому, ни своих людей тратить. А велю поджечь анбар, и тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон-Кишот Белогорский. Теперь время обедать. Покамест сиди да думай на досуге. До свидания, Марья Ивановна, не извиняюсь перед вами: вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем.

Швабрин удалился и оставил караул у анбара. Мы молчали. Каждый из нас думал про себя, не смея сообщить другому своих мыслей. Я воображал себе все, что в состоянии был учинить озлобленный Швабрин. О себе я почти не заботился. Признаться ли? И участь родителей моих не столько ужасала меня, как судьба Марьи Ивановны. Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми, батюшка, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъятие их негодования. Тут пощада была вероятна. Но Марья Ивановна? Какую участь готовил ей развратный и бессовестный человек? Я не смел остановиться на этой ужасной мысли и готовился, прости господи, скорее умертвить ее, нежели вторично увидеть в руках жестокого недруга.

Прошло еще около часа. В деревне раздавались песни пьяных. Караульные наши им завидовали и, досадуя на нас, ругались и стращали нас истязаниями и смертью. Мы ожидали последствия угрозам Швабрина. Наконец сделалось большое движение на дворе, и мы опять услышали голос Швабрина.

— Что, надумались ли вы? Отдаются ли добровольно в мои руки?

Никто ему не отвечал. Подождав немного, Швабрин велел принести соломы. Через несколько минут вспыхнул огонь и осветил темный анбар, и дым начал пробиваться из-под щелей порога. Тогда Марья Ивановна подошла ко мне и тихо, взяв меня за руку, сказала:

— Полно, Петр Андреич! Не губите за меня и себя и родителей. Выпустите меня. Швабрин меня послушает.

— Ни за что! — закричал я с сердцем. — Знаете ли вы, что вас ожидает?

— Бесчестия я не переживу, — отвечала она спокойно. — Но, может быть, я спасу моего избавителя и семью, которая так великодушно призрела мое бедное сиротство. Прощайте, Андрей Петрович. Прощайте, Авдотья Васильевна. Вы были для меня более, чем благодетели. Благословите меня. Простите же и вы, Петр Андреич. Будьте уверены, что... что... — тут она заплакала и закрыла лицо руками... Я был как сумасшедший. Матушка плакала.

— Полно врать, Марья Ивановна, — сказал мой отец. — Кто тебя пустит одну к разбойникам! Сиди здесь и молчи. Умирать, так умирать уж вместе. Слушай, что там еще говорят?

— Сдаются ли? — кричал Швабрин. — Видите? через пять минут вас изжарят.

— Не сдадимся, злодей! — отвечал ему батюшка твердым голосом.

Лицо его, покрытое морщинами, оживлено было удивительною бодростию, глаза грозно сверкали из-под седых бровей. И, обратясь ко мне, сказал:

— Теперь пора!

Он отпер двери. Огонь ворвался и взвился по бревнам, законопаченным сухим мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, закричав: «Все за мною!» Я схватил за руки матушку и Марью Ивановну и быстро вывел их на воздух. У порога лежал Швабрин, простреленный дряхлою рукою отца моего; толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободрилась и начала нас окружать. Я успел нанести еще несколько ударов, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в грудь. Я упал и на минуту лишился чувств. Пришед в себя, увидел я Швабрина, сидевшего на окровавленной траве, и перед ним все наше семейство. Меня поддерживали под руки. Толпа крестьян, казаков и башкирцев окружала нас. Швабрин был ужасно бледен. Одной рукой прижимал он раненый бок. Лицо его изображало мучение и злобу. Он медленно поднял голову, взглянул на меня и произнес слабым и невнятным голосом:

— Вешать его... и всех... кроме ее...

Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам... Но вдруг они нас оставили и разбежались; в ворота въехал Гринев и за ним целый эскадрон с саблями наголо.

Бунтовщики утекали во все стороны; гусары их преследовали, рубили и хватали в плен. Гринев соскочил с лошади, поклонился батюшке и матушке и крепко пожал мне руку. «Кстати же я подросел, — сказал он нам. — А! вот и твоя невеста». Марья Ивановна покраснела по уши. Батюшка к нему подошел и благодарил его с видом спокойным, хотя и тронутым. Матушка обнимала его, называя ангелом избавителем. «Милости просим к нам», — сказал ему батюшка и повел его к нам в дом.

Проходя мимо Швабрина, Гринев остановился. «Это кто?» — спросил он, глядя на раненого. «Это сам предводитель, начальник шайки, — отвечал мой отец с некоторой гордостью, обличающей

старого воина, — бог помог дряхлой руке моей наказать молодого злодея и отомстить ему за кровь моего сына».

— Это Швабрин, — сказал я Гриневу.

— Швабрин! Очень рад. Гусары! возьмите его! Да сказать нашему лекарю, чтоб он перевязал ему рану и берег его как зеницу ока. Швабрина надобно непременно представить в секретную Казанскую комиссию. Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны.

Швабрин открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось, кроме физической муки. Гусары отнесли его на плаще.

Мы вошли в комнаты. С трепетом смотрел я вокруг себя, припоминая свои младенческие годы. Ничто в доме не изменилось, все было на прежнем месте. Швабрин не дозволил его разграбить, сохраняя в самом своем унижении невольное отвращение от бесчестного корыстолюбия. Слуги явились в переднюю. Они не участвовали в бунте и от чистого сердца радовались нашему избавлению. Савельич торжествовал. Надобно знать, что во время тревоги, произведенной нападением разбойников, он побегал в конюшню, где стояла Швабрина лошадь, оседлал ее, вывел тихонько и благодаря суматохе незаметным образом поскакал к перевозу. Он встретил полк, отдохавший уже по сю сторону Волги. Гринева, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал марш, марш в галоп — и, слава богу, прискакал вовремя.

Гринева настоял на том, чтобы голова земского была на несколько часов выставлена на шесте у кабака.

Гусары возвратились с погони, захватя в плен несколько человек. Их заперли в тот самый анбар, в котором выдержали мы достопамятную осаду.

Мы разошлись каждый по своим комнатам. Старикам нужен был отдых. Не спавши целую ночь, я бросился на постель и крепко заснул. Гринева пошел делать свои распоряжения.

Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна разливала чай, я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благосклонно смотрели на нежность наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив, счастлив совершенно, а много ли таковых минут в бедной жизни человеческой?

На другой день доложили багюшке, что крестьяне явились на барский двор с повинною. Багюшка вышел к ним на крыльцо. При его появлении мужики стали на колени.

— Ну что, дураки, — сказал он им, — зачем вы вздумали бунтовать?

— Виноваты, государь ты наш, — отвечали они в голос.

— То-то, виноваты. Напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас для радости, что бог привел мне свидеться с сыном Петром Андреичем. Ну, добро: повинную голову меч не сечет. — «Виноваты!» Конечно, виноваты. Бог дал ведро, пора бы сено убрать; а вы, дурачье, целые три дня что делали? Староста! Нарядить поголовно на сенокос; да смотри, рыжая бестия, чтоб у меня к Ильину дню все сено было в копнах. Убирайтесь.

Мужики поклонились и пошли на барщину как ни в чем не бывало.

Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его с конвоем отправили в Казань. Я видел из окна, как его уложили в телегу. Взоры наши встретились, он потупил голову, а я поспешно отошел от окна. Я боялся показывать вид, что торжествую над несчастьем и унижением недруга.

Гринева должен был отправиться далее. Я решился за ним последовать, несмотря на мое желание пробыть еще несколько дней посреди моего семейства. Накануне похода я пришел к моим родителям и по тогдашнему обыкновению поклонился им в ноги, прося их благословения на брак с Марьей Ивановной. Старики меня подняли и в радостных слезах изъявили свое согласие. Я привел к ним Марью Ивановну бледную и трепещущую. Нас благословили... Что чувствовал я, того не стану описывать. Кто бывал в моем положении, тот и без того меня поймет, — кто не бывал, о том я только могу пожалеть и советовать, пока еще время не ушло, влюбиться и получить от родителей благословение.

На другой день полк собрался, Гринева распростился с нашим семейством. Все мы были уверены, что военные действия скоро будут прекращены; через месяц я надеялся быть супругом. Марья Ивановна, прощаясь со мною, поцеловала меня при всех. Я сел верхом. Савельич опять за мною последовал — и полк ушел.

Долго смотрел я издали на сельский дом, опять мною покидаемый. Мрачное предчувствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, что не все несчастья для меня миновались. Сердце чуло новую бурю.

Не стану описывать нашего похода и окончания Пугачевской войны. Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.

Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных... Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи

бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка.

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Гринев получил от своего генерала известие о поимке самозванца, а вместе и повеление остановиться. Наконец мне можно было ехать домой. Я был в восторге; но странное чувство омрачало мою радость.

**ПОВЕСТИ
ПОКОЙНОГО
ИВАНА ПЕТРОВИЧА
БЕЛКИНА**

Г-жа П р о с т а к о в а

То, мой батюшка, он еще сызмала
к историям охотник.

С к о т и н и н

Митрофан по мне.

Недоросль.

От издателя

Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но, к сожалению, ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету и на письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем как и весьма достаточное биографическое известие.

Милостивый государь мой** **!

Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, милостивый государь мой, все, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу.

Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не богатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смышленный. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою

к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский полк (числом не упомянуто), в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.

Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгий порядок, заведенный покойным его родителем. Сменив исправного и расторопного старосту, коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублевой ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным; и тут были недомки.

Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок. Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностью; но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строгими допросами плута старосту в крайнее замешательство привел и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения и предал его дела (как и он сам) распоряжению всевышнего.

Сие дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не разрушило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нерадению, общему молодым нашим дворянам, искренно любил Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны Иван Петрович оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен. До

самой кончины своей он почти каждый день со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частию друг с другом не сходствовали.

Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случилось мне видеть его навеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почестья может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая*.

Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частью у меня находятся, частью употреблены его ключницею на разные домашние потребности. Таким образом прошлую зимою все окна ее флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частию справедливы и слышаны им от разных особ**. Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сел и деревень заимствованы из нашего околотка, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения.

Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобно. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения и похоронен в церкви села Горюхина близ покойных его родителей.

Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волосы русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.

Вот, милостивый государь мой, все, что мог я припомнить касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю

* Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем, уверяю читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает.

** В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестью рукою автора надписано: слышано мною от *такой-то особы* (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей: «Смотритель» рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» подполковником И. Л. П., «Гробовщик» приказчиком Б. В., «Метель» и «Барышня» девицею К. И. Т.

излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и проч.

1830 году Ноября 16.

Село Ненародово

Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие.

А.П.

ВЫСТРЕЛ

Стрелялись мы.

Баратынский.

Я поклялся застрелить его по праву дуэли
(за ним остался еще мой выстрел).

Вечер на бивуаке.

I

Мы стояли в местечке***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В*** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большей частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину

книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнил счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите бога, что это случилось у меня в доме».

Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкometу. Игра продолжалась еще несколько минут; но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романтическое воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например об ожидании почтового дня; во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа, — сказал им Сильвио, — обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас, — продолжал он, обратившись ко мне, — жду непременно». С сим словом он

поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общою; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.

— Может быть, мы никогда больше не увидимся, — сказал он мне, — перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление.

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

— Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его.

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смutilo меня. Сильвио продолжал.

— Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.

Любопытство мое сильно было возбуждено.

— Вы с ним не дрались? — спросил я. — Обстоятельства, верно, вас разлучили?

— Я с ним дрался, — отвечал Сильвио, — и вот памятник нашего поединка.

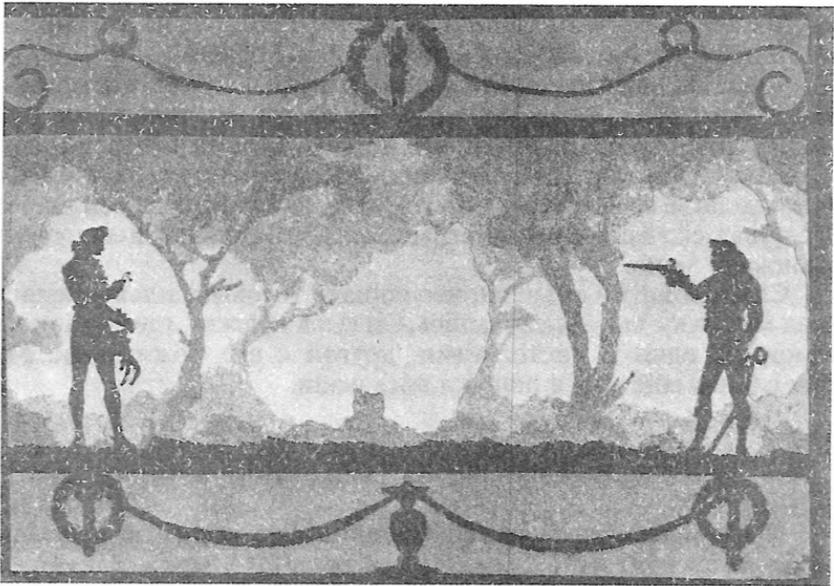
Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью, с галуном (то, что французы называют *bonnet de police*)¹; он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба.

¹ «Полицейская шапка» (офицерская фуражка формы пилотки) (франц.).

— Вы знаете, — продолжал Сильвио, — что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буйном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Б***, воспетого Д. Д-м. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливица столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже напедал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приблизился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому, но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до



14, 15
Иллюстрации В. В. Гельмерсена
Силуэт. 1900-е

меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишиться его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти, — сказал я ему, — вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». — «Вы ничуть не мешаете мне, — возразил он, — извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно; выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал...

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что *известная особа* скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

— Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто эта *известная особа*. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противоположные чувства волновали меня.

Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

II

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Н** уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько вздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения; но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытверждены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кириловна, были мне пересказаны; песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться *пьяницею с горя*, т. е. самым *горьким* пьяницею, чему

примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех *горьких*, коих беседа состояла большею частию в икоте и въздыханиях. Уединение было сноснее.

В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б***; но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало; я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село*** рекомендовать их сиятельствам, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую.

— Вот хороший выстрел, — сказал я, обращаясь к графу.

— Да, — отвечал он, — выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете? — продолжал он.

— Изрядно, — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне близкого. — В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов.

— Право? — сказала графиня, с видом большой внимательности, — а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?

— Когда-нибудь, — отвечал граф, — мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета.

— О, — заметил я, — в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мои были в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сразу четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник; он тут случился и сказал мне: знать у тебя, брат, рука не подымается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.

Граф и графиня рады были, что я разговорился.

— А каково стрелял он? — спросил меня граф.

— Да вот как, ваше сиятельство. Бывало, увидит он, села на стену муха... вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: Кузька, пистолет! Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавливает муху в стену!

— Это удивительно! — сказал граф, — а как его звали?

— Сильвио, ваше сиятельство.

— Сильвио! — вскричал граф, вскочив со своего места, — вы знали Сильвио?

— Как не знать, ваше сиятельство; мы были с ним приятели; он в нашем полку принят был как свой брат товарищ; да вот уж лет пять, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?

— Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?

— Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученная им на бале от какого-то повесы?

— А сказывал он вам имя этого повесы?

— Нет, ваше сиятельство, не сказывал... Ах! ваше сиятельство, — продолжал я, догадываясь об истине, — извините... я не знал... уж не вы ли?..

— Я сам, — отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным, — а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи...

— Ах, милый мой, — сказала графиня, — ради бога не рассказывай; мне страшно будет слушать.

— Нет, — возразил граф, — я все расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил.

Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.

«Пять лет тому назад я женился. — Первый месяц, the honeymoon¹, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний.

Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. „Ты не узнал меня, граф?“ — сказал он дрожащим голосом. „Сильвио!“ — закричал я, и признаюсь, я почувствовал, как волосы стали вдруг на мне дыбом. „Так точно, — продолжал он, — выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?“ Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил — он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился... Я считал секунды... я думал о ней... Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку. „Жалею, — сказал он, — что пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова; кинем жребий, кому стрелять первому“. Голова моя шла кругом... Кажется, я не соглашался... Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый номер. „Ты, граф, дьявольски счастлив“, — сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить... но — я выстрелил, и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка; я не мог воздержаться от восклицания.)

¹ Медовый месяц (англ.).

Я выстрелил, — продолжал граф, — и, слава богу, дал промах; тогда Сильвио... (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. „Милая, — сказал я ей, — разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища“. Маше все еще не верилось. „Скажите, правду ли муж говорит? — сказала она, обращаясь к грозному Сильвио, — правда ли, что вы оба шутите?“ — „Он всегда шутит, графиня, — отвечал ей Сильвио, — однажды дал он мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить...“ С этим словом он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам. „Встань, Маша, стыдно! — закричал я в бешенстве, — а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?“ — „Не буду, — отвечал Сильвио, — я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести“. Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться».

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.

МЕТЕЛЬ

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой...
Вот, в сторонке божий храм
Виден одинокой.

.
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...

Жуковский.

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился по всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме

умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастьем любовников и скажут им непременно: Дети! придите в наши объятия.

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре; обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелие... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться... другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головою болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? — раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими. Подали ужинать; сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все

было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша укуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки-кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмит в усах и шпорах и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега; небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались; Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи все было не видать. Владимир ехал полем,

пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать, и уверился, что должно было ему взять вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а поля не было конца. Всё сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак деревьев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видеть; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видеть. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» — «Далеко ли Жадрино?» — «Жадрино-то далеко ли?» — «Да, да! Далеко ли?» — «Недалече; верст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

«А отколе ты?» — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» — «Каки у нас лошади», — отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». — «Постой, — сказал старик, опуская ставень, — я те сына вышлю; он те проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?» — «Что ж твой сын?» — «Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться». — «Благодарю, высылай скорее сына».



16

Иллюстрация Н. И. Пискарева
Ксилография. 1937

17

Иллюстрация Д. А. Шмаринова
Черная акварель, уголь. 1973

18

Иллюстрация А. В. Ванецяна
Картон, масло. 1947

Ворота заскрипели; парень вышел с дубиной и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассветнет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненарадковским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.

Старики проснулись и вышли в гостиную, Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафровке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь открылась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька», — отвечала Маша. «Ты, верно, Маша, вчерась угорела», — сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», — отвечала Маша.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны, и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом тайна была сохранена более чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестьянном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиною ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решило, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненных, под Бородином, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее; она разделяла искренне горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненародово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши; по крайней мере она берегла все, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: *Vive Henri-Quatre*¹, тирольские вальсы и арии из «Жюконда». Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество!* Как сладки были слезы свидания! С каким единомыслием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!

¹ Да здравствует Генрих Четвертый (франц.).

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: *ура!*

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в *** губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с *интересной бледностию*, как говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

Se amor non è, che dunque?..¹

Бурмин был, в самом деле, очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего... (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно, и он, с своим умом и опытностию, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовью,

¹ Если это не любовь, так что же?.. (итал.).

гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностию и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приготавливала развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гранпасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду, — отвечала старушка, — подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux¹.) «Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы

¹Сен-Прё (франц.).

терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

— Я женат, — продолжал Бурмин, — я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

— Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна, — как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость.

— В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? — сказал мне кто-то, — невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу, — сказала эта, — насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» — «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показала мне недурна... Непонятная, непростительная ветренность... я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать... Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»

— Боже мой! — закричала Марья Гавриловна, — и вы не знаете, что сделалось с бедной вашею женою?

— Не знаю, — отвечал Бурмин, — не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.

— Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...

ГРОБОВЩИК

Не зрим ли каждый день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?

Державин.

Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащила с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается внаймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачужке, где в течение осьмнадцати лет все было заведено самым строгим порядком; стал бранить обеих своих дочерей и работницу за их медленность и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился; кивот с образами, шкаф с посудой, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке, с подписью: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашенные, также отдаются напрокат и починяются старые». Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар.

Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шут-

ливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей, когда заставлял их без дела глазающих в окно на прохожих, или чтоб запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье (а иногда и удовольствие) в них нуждаться. Итак, Адриан, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который, за неделю тому назад, встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгуляе, и Прохоров боялся, чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком.

Сии размышления были прерваны нечаянно тремя фран-масонскими ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляду можно было узнать немца ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приблизился к гробовщику. «Извините, любезный сосед, — сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха доньше слышать не можем, — извините, что я вам помешал... я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски». Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выпить чашку чаю, и, благодаря открытому нраву Готлиба Шульца, вскоре они разговорились дружелюбно. «Каково торгует ваша милость?» — спросил Адриан. «Э-хе-хе, — отвечал Шульц, — и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш: живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет». — «Сущая правда, — заметил Адриан, — однако ж, если живому не на что купить сапог, то, не прогневайся, ходит он и босой; а нищий мертвец и даром берет себе гроб». Таким образом беседа продолжалась у них еще несколько времени; наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение.

На другой день, ровно в двенадцать часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи.

Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частию немцами ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою, как почталион Погорельского. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас, по изгнании врага, на ее месте явилась новая, серенькая с белыми колонками дорического ордена, и Юрко стал опять расхаживать около нее с *секирой и в броне сермяжной*. Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот: иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, семнадцатилетняя Лотхен, обедая с гостями, всё вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриан ему не уступал; дочери его чинились; разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!» — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку — и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим: пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шуточный тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем, unserer Kundleute!»¹ Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной

¹ Наших клиентов (нем.).

сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрко, посреди сих взаимных поклонов, закричал, обратясь к своему соседу: «Что же? пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов». Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали пить, и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола.

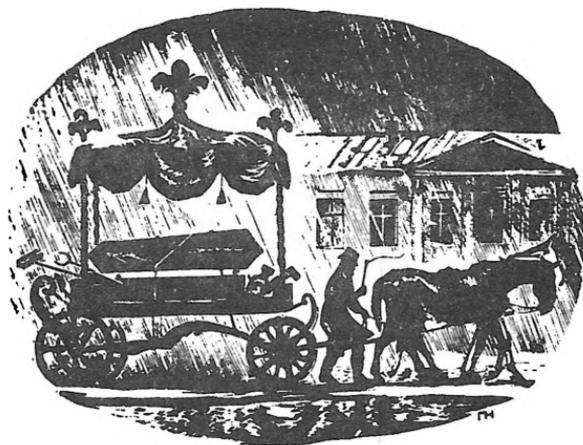
Гости разошлись поздно, и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо

Казалось в красеньком сафьянном переплете,

под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая в сем случае русскую поговорку: долг платежом красен. Гробовщик пришел домой пьян и сердит. «Что ж это, в самом деле, — рассуждал он вслух, — чем ремесло мое нечестнее прочих? разве гробовщик брат палачу? чему смеются басурмане? разве гробовщик гаер святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой; ин не бывать же тому! А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных». — «Что ты, батюшка? — сказала работница, которая в это время разувала его, — что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье! Экая страсть!» — «Ей-богу, созову, — продолжал Адриан, — и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попить; угощу, чем бог послал». С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.

На дворе было еще темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему за то гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на Разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты; свечи горели; священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сертуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик, по обыкновению своему, побожился, что лишнего не возьмет; значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам и обратно; к вечеру все сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй

ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся. «Что бы это значило? — подумал Адриан. — Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго!». И гробовщик думал уже кликнуть себе на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приблизился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но второпях не успел он порядочно его разглядеть. «Вы пожаловали ко мне, — сказал запыхавшись Адриан, — войдите же, сделайте милость». — «Не церемонься, батюшка, — отвечал тот глухо, — ступай себе вперед; указывай гостям дорогу!» Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди. «Что за дьявольщина!» — подумал он и спешил войти... тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы... Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно: покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. «Видишь ли, Прохоров, — сказал бригадир от имени всей честной компании, — все мы поднялись на твое приглашение; остались дома только те, которым уже невмочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи, но и тут один не утерпел — так хотелось ему побывать у тебя...» В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приблизился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Ключки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кой-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров, — сказал скелет. — Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, ты продал первый свой гроб — и еще сосновый за дубовый?» С сим словом мертвец простер ему костяные объятия — но Адриан, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их



22

Иллюстрация М. Е. Мальшева
Ксилография. 1887

23

Иллюстрация Н. И. Пискарева
Ксилография. 1937

криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.

Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений.

— Как ты заспался, батюшка Адриан Прохорович, — сказала Аксинья, подавая ему халат. — К тебе заходил сосед портной, и здешний будочник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить.

— А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?

— Покойницы? Да разве она умерла?

— Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?

— Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, али хмель вчерашний еще у тя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблагостили.

— Ой ли! — сказал обрадованный гробовщик.

— Вестимо так, — отвечала работница.

— Ну коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей.

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор.
Князь Вяземский.

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем однако справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный сво-

им чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на зрителя. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват зритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; но если не случится лошадей?.. боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий зритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через пять минут — колокольчик!.. и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную!.. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течение двадцати лет сряду извездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого зрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие стационарных зрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные зрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коиими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия зрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего зрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие зрителя, когда сей последний отдавал пригото-

ленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай*, ввелось в употребление другое, например: *ум ума почитай*? Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. «Эй, Дуня! — закричал смотритель, — поставь самовар да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка-с, — отвечал он с видом довольного самолюбия, — да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и шляфорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шляфорке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это доньше сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзаминном, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сених я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцелуев,

С тех пор, как этим занимаюсь,

но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменил; вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в моем уме, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием.

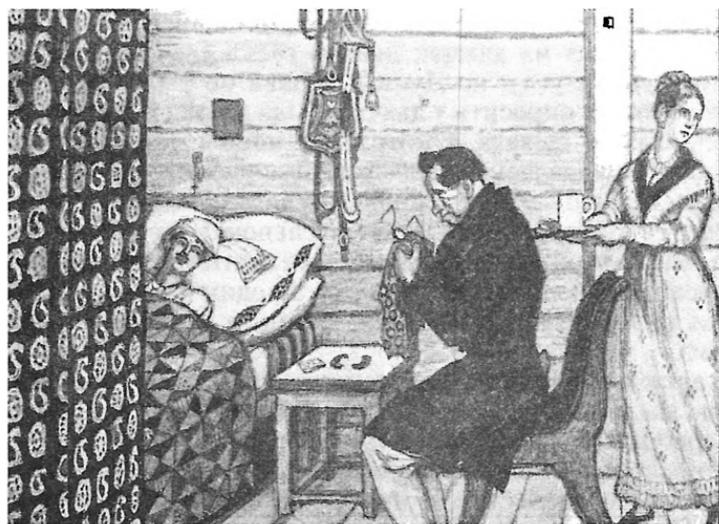
Лошади стали у почтового домика. Вошел в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он привстал... Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сторбленную спину — и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня? — спросил я его, — мы с тобою старые знакомые». — «Может статься, — отвечал он угрюмо, — здесь дорога большая; много проезжих у меня перебивало». — «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я. Старик нахмурился. «А бог ее знает», — отвечал он. «Так, видно, она замужем?» — сказал я. Старик притворился, будто бы не слышал моего вопроса, и продолжал шепотом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомого.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню? — начал он. — Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только чтоб на

нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. — Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таким сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпугав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать... Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С*** за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и охая заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своею рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.



24, 25
Иллюстрации М. В. Добужинского
Тушь, перо, белила, карандаш
1905

Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... «Чего же ты боишься? — сказал ей отец, — ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест; прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь: священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошел домой ни жив ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С*** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров и что тогда еще догадывался он о его злом намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец или только желал похвастаться дальновидностью, но он нимало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С*** почтмейстера отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петер-

бург. Ямщик, который вез его, сказывал, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! — продолжал старик, — что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите же ее понапрасну». — «Что сделано, того не воротить, — сказал молодой человек в крайнем замешательстве, — виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она — вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

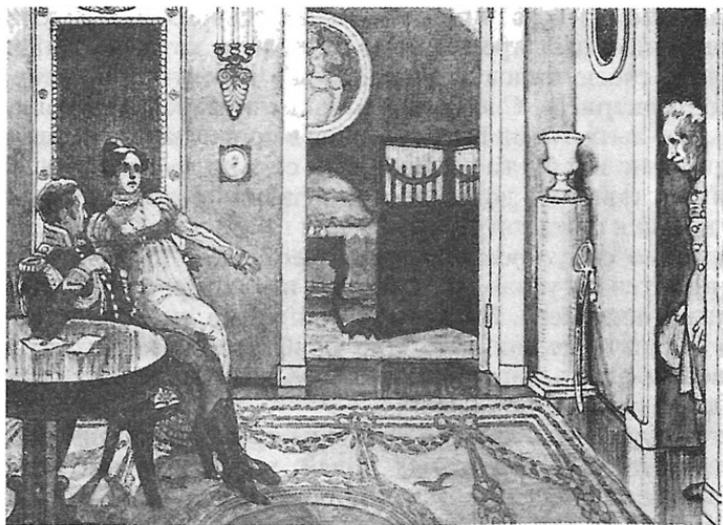
Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти- и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошел... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!..» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через два воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудь вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял — да и пошел.

В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щеголь-

ские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь? — спросил он, — не Минского ли?» — «Точно так, — отвечал кучер, — а что тебе?» — «Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет». — «Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у нее». — «Нужды нет, — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца, — спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» — спросил он. «Здесь, — отвечала молодая служанка, — зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя! — закричала вслед ему служанка, — у Авдотьи Самсоновны гости». Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там?» — спросила она, не подымая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову... и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и, вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно? — сказал он ему, стиснув зубы, — что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» — и, сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решил отступить. Через два дни отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год, — заключил он, — как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голю кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь да пожелаешь ей могилы...»



26, 27
Иллюстрации М. В. Добужинского
Тушь, перо, белила, карандаш
1905

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжении своего повествования; но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне...

Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый смотритель?» — никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. «От чего ж он умер?» — спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похоронили?» — «За околицей, подле покойной хозяйки его». — «Нельзя ли довести меня до его могилы?» — «Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище да укажи ему смотрителю могилу».

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.

— Знал ты покойника? — спросил я его дорогой.

— Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезать. Бывало (царство ему небесное!), идет из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!» — а он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится.

— А проезжие вспоминают ли его?

— Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.

— Какая барыня? — спросил я с любопытством.

— Прекрасная барыня, — отвечал мальчишка, — ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее.

А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром — такая добрая барыня!...

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.

— Вот могила старого смотрителя, — сказал мне мальчик, вспрыгнув на груды песка, в которую врыт был черный крест с медным образом.

— И барыня приходила сюда? — спросил я.

— Приходила, — отвечал Ванька, — я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром — славная барыня!

И я дал мальчишке пятак и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.

Богданович.

В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезде в поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме «Сенатских ведомостей». Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Это был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе:

Но на чужой манер хлеб русский не родится,

и несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англomanии своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: «Да-с! — говорил он с лукавой усмешкою, — у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англoman выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем и провинциалом.

Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай.

Алексей был, в самом деле, молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир и если бы он, вместо того чтоб рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались; но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: *Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А. Н. Р.*

Те из моих читателей, которые не жилали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже

приключение, поездка в ближний город полагается эпохой в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями; но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: *особенность характера, самобытность (individualité)*¹, без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд, и не во осуждение, однако ж *nota nostra manet*², как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.

Но всех более занята была им дочь англomана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и, следственно, балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу», получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки в этой варварской России.

За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии.

— Позвольте мне сегодня пойти в гости, — сказала однажды Настя, одевая барышню.

— Изволь; а куда?

— В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать.

— Вот! — сказала Лиза, — господа в ссоре, а слуги друг друга угощают.

¹ Индивидуальность (франц.).

² Наше замечание остается в силе (лат.).

— А нам какое дело до господ! — возразила Настя, — к тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это весело.

— Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек.

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась.

— Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова; нагляделась довольно; целый день были вместе.

— Как это? Расскажи, расскажи по порядку.

— Извольте-с: пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька...

— Хорошо, знаю. Ну потом?

— Позвольте-с, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские...

— Ну! а Берестов?

— Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее... а дочери и надулись, да мне наплевать на них...

— Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!

— Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное блан-манже синее, красное и полосатое... Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился.

— Ну что ж? Правда ли, что он так хорош собою?

— Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...

— Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?

— Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.

— С вами в горелки бегать! Невозможно!

— Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!

— Воля твоя, Настя, ты врешь.

— Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.

— Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?

— Не знаю-с, а на меня так уж слишкѡм смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!

— Это удивительно! А что в доме про него слышно?

— Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это еще не беда: со временем остепенится.

— Как бы мне хотелось его видеть! — сказала Лиза со вздохом.

— Да что же тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего две версты: подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом; вы верно встретите его. Он же всякий день, рано поутру, ходит с ружьем на охоту.

— Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться.. Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!

— И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.

— А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка! — И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.

На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговиц, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колот ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла; она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму-пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь

она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли с точностью определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? Итак, она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: «Tout beau, Sbogar, ici...»¹ — и молодой охотник показался из-за кустарника. «Не бось, милая, — сказал он Лизе, — собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин, — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой, — боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется». Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься, — сказал он ей, — ты мне позволишь идти подле себя?» — «А кто те мешает? — отвечала Лиза, — вольному воля, а дорога мирская». — «Откуда ты?» — «Из Прилучина; я дочь Василья-кузнеца, иду по грибы» (Лиза несла кузовок на веревочке). — «А ты, барин? Тугиловский, что-ли?» — «Так точно, — отвечал Алексей, — я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь, — сказала она, — не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин». — «Почему же ты так думаешь?» — «Да по всему». — «Однако ж?» — «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и байшь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностию, — то не извольте забываться». — «Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!» Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь? — сказала она, — разве я на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагладелась. Однако, — продолжала она, — болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону,

¹ Тубо, Сбогар, сюда... (франц.).



Казанский
Троицкий
сестрин
буди



28

Иллюстрация А. С. Пушкина

Набросок начала повести

1830

а я в другую. Прощения просим...» Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?» — «Акулиной, — отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой, — да пусти ж, барин; мне и домой пора». — «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василью-кузнецу». — «Что ты? — возразила с живостью Лиза, — ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет; отец мой, Василий-кузнец, прийдет меня до смерти». — «Да я непременно хочу с тобой опять видиться». — «Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами». — «Когда же?» — «Да хоть завтра». — «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?» — «Да, да». — «И ты не обманешь меня?» — «Не обману». — «Побожись». — «Ну вот те святая пятница, приду».

Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокрасалась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее, — сказал он, — как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решила не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отсыкивать в селе дочь Василья-кузнеца, настающую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решила на другое утро опять явиться в рощу Акулиной.

С своей стороны Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулины. Она улыбнулась

восторгу его благодарности; но Алексей тотчас заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видеться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, — сказала она наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятиницей, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы, — сказала Лиза, — довольно одного твоего обещания». После этого они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий мальчик и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделит со мною моего удовольствия. Эти подробности, вообще, должны казаться приторными, итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, все помнил

расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романической надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменяло их взаимных отношений.

В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазняясь хорошею погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англазированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он повернулся в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется *господам* по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянный закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренно доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подкакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде,

как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцой кобылки.

Лиза выбежала навстречу Григорью Ивановичу. «Что это значит, папа? — сказала она с удивлением, — отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» — «Вот уж не угадаешь, my dear»¹, — отвечал ей Григорий Иванович и рассказал все, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите! — сказала она, побледнев. — Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь». — «Что ты, с ума сошла? — возразил отец, — давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься...» — «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нею ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное... Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте; обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.

На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочери, все ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа, — отвечала Лиза, — я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». — «Опять какие-нибудь проказы! — сказал, смеясь, Григорий Иванович. — Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться.

В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатила около густо-зеленого дернового круга. Старый Берестов взшел на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол

¹ Моя дорогая (англ.).

был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась; он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы, вошла старая мисс Жаксон, набеленная, зятянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом, и прекрасное военное движение Алексево пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы... Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава à l'imbécile¹ торчали, как фижмы у Madame de Pompadour²; талия была перетянута, как буква икс, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец

¹ «По-дурачки» (фасон узких рукавов с пуфами у плеча) (франц.).

² Госпожи де Помпадур (франц.).

досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.

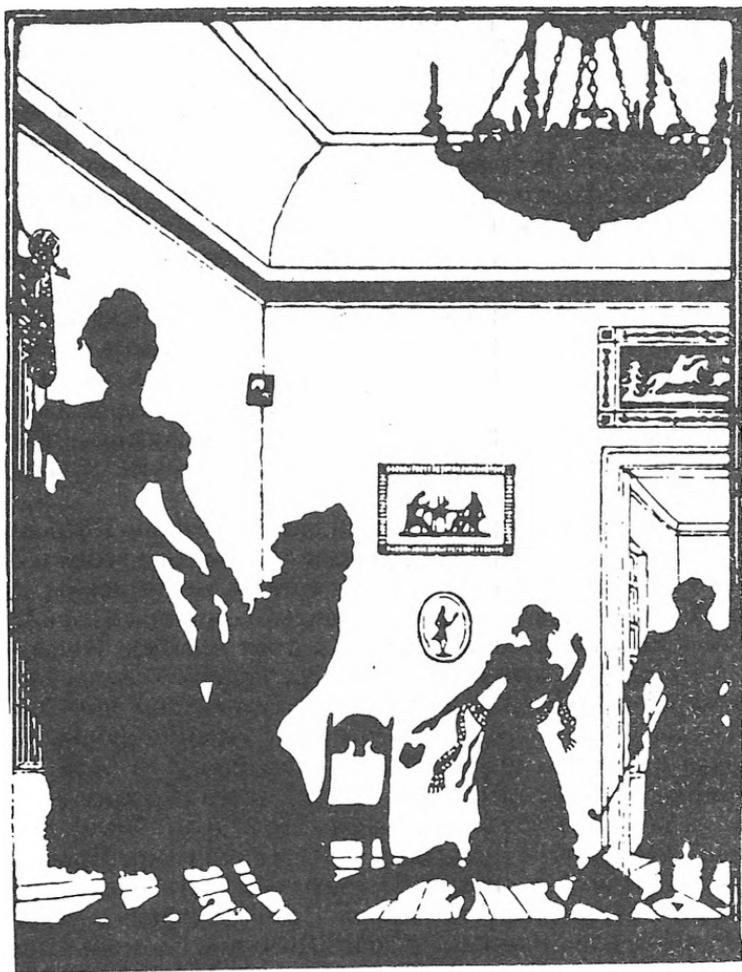
Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев, и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя все это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

Наконец встали из-за стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их? — спросил он Лизу. — А знаешь ли что? Белила, право, тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоём месте я бы стал белиться; разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побегала умилюстивлять раздраженную мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдания. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела просить... она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей... и проч., и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был, барин, вечер у наших господ? — сказала она тотчас Алексею, — какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», — возразила Лиза. «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят...» — «Что же говорят?» — «Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?» — «Какой вздор! Она перед тобой урод уродом». — «Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею равняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень и, чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж, — сказала она со вздохом, — хоть барышня, может, и смешна, все же я перед нею дура безграмотная». — «И! — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». — «А взаправду, — сказала Лиза, — не попытаться ли и в самом деле?» — «Изволь, милая; начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась



29, 30
Иллюстрации М. В. Добужинского
Тушь. 1919



Пушкинский кабинет ИРЛИ

азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо! — говорил Алексей. — Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам «Наталью, боярскую дочь», прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести.

Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина видимо привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.

Между тем недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович), вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились; по крайней мере Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит.

Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил

трубку и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Или гусарский мундир уже тебя не прельщает!..» — «Нет, батюшка, — отвечал почтительно Алексей, — я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары; мой долг вам повиноваться». — «Хорошо, — отвечал Иван Петрович, — вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить... тотчас... в статскую службу; а покамест намерен я тебя женить».

— На ком это, батюшка? — спросил изумленный Алексей.

— На Лизавете Григорьевне Муромской, — отвечал Иван Петрович, — невеста хоть куда; не правда ли?

— Батюшка, я о женитьбе еще не думаю.

— Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.

— Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится.

— После понравится. Стерпится, слюбится.

— Я не чувствую себя способным сделать ее счастье.

— Не твое горе — ее счастье. Что? так-то ты считаешь волю родительскую? Добро!

— Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь.

— Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю! Даю тебе три дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться.

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и наконец об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумия. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявляя ей о грозящей им гибели и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в душло, и лег спать весьма довольный собою.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» — спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом прилучинского замка. «Никак нет, — отвечал слуга, — Григорий Иванович с утра изволил выехать». — «Как досадно!» — подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?» — «Дома-с». И Алексей

спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклад.

«Все будет решено, — думал он, подходя к гостиной, — объяснюсь с нею самою». — Он вошел... и остолбенел! Лиза... нет Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась от него освободиться... «*Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou?*»¹ — повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!» — повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.

— Ага! — сказал Муромский, — да у вас, кажется, дело совсем уже слажено...

Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

Конец повестям И. П. Белкина

¹ Оставьте же меня, сударь; с ума вы сошли? (франц.).

ПИКОВАЯ ДАМА

Пиковая дама означает
тайную недоброжелательность.

Новейшая гадательная книга.

I

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули — бог их прости! —
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие.

— Что ты сделал, Сурин? — спросил хозяин.

— Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолом, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь!

— И ты ни разу не соблазнил? ни разу не поставил на *руте*?.. Твердость твоя для меня удивительна.

— А каков Германн! — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера, — отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного паролы, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!

— Игра занимает меня сильно, — сказал Германн, — но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее.

ПОВѢСТИ

А. П.



МДССXXXIV

31

Иллюстрация Г. Г. Гагарина

Офорт. 1834

— Германн немец: он расчетлив, вот и все! — заметил Томский. — А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна.

— Как? что? — закричали гости.

— Не могу постигнуть, — продолжал Томский, — каким образом бабушка моя не понтирует!

— Да что ж тут удивительного, — сказал Нарумов, — что осьмидесятилетняя старуха не понтирует?

— Так вы ничего про нее не знаете?

— Нет! право, ничего!

— О, так послушайте:

Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтоб увидеть *la Vénus moscovite*¹; Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.

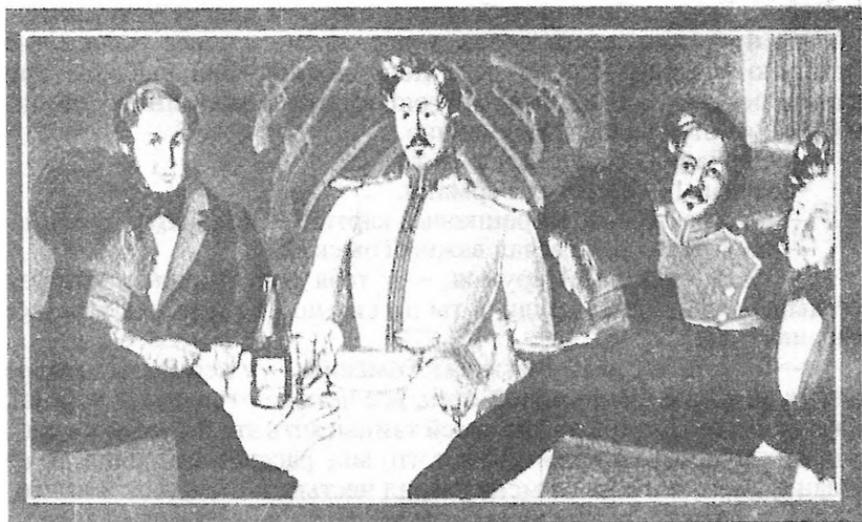
В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счета, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу розь и что есть разница между принцем и каретником. — Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! Бабушка не знала, что делать.

С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за Вечного Жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня, и прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих Записках говорит, что он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем

¹ Московскую Венеру (франц.).



32, 34

Иллюстрации В. И. Шухаева
Тушь, гуашь, пастель. 1922

33

Иллюстрация Н. А. Тырсы
Цветная автолитография. 1936

с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать.

Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность.

Сен-Жермен задумался.

«Я могу вам услужить этой суммою, — сказал он, — но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыгаться». — «Но, любезный граф, — отвечала бабушка, — я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». — «Деньги тут не нужны, — возразил Сен-Жермен, — извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал...

Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затанулся и продолжал.

— В тот же самый вечер бабушка явилась в Версали, au jeu de la Reine¹. Герцог Орлеанский метал; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою: все три выиграла ей соника, и бабушка отыгралась совершенно.

— Случай! — сказал один из гостей.

— Сказка! — заметил Германн.

— Может статья, порошковые карты? — подхватил третий.

— Не думаю, — отвечал важно Томский.

— Как! — сказал Нарумов, — у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабелистики?

— Да, черта с два! — отвечал Томский, — у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец; все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны; хоть это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял чество. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл — помнится Зоричу — около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтоб он поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю: они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и

¹ На карточную игру у королевы (франц.).

выиграл соника; загнул пароли, пароли-пе, — отыгрался и остался еще в выигрыше...

Однако пора спать: уже без четверти шесть.

В самом деле, уж рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разъехались.

II

Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes.

Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches¹.

Светский разговор.

Старая графиня *** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.

— Здравствуйте, grand'maman², — сказал, вошедши, молодой офицер. — Bon jour, mademoiselle Lise³. Grand'maman, я к вам с просьбою.

— Что такое, Paul?⁴

— Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал.

— Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчера у ****?

— Как же! очень было весело; танцевали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

— И, мой милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: я чай, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна?

— Как постарела? — отвечал рассеяно Томский, — она лет семь как умерла.

¹ Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок. Что делать? Они свежее (франц.).

² Бабушка (франц.).

³ Здравствуйте, Лиза (франц.).

⁴ Поль (франц.).

Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини тайли смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием.

— Умерла! — сказала она, — а я и не знала! Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...

И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.

— Ну, Paul, — сказала она потом, — теперь помоги мне встать. Лизанька, где моя табакерка?

И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.

— Кого это вы хотите представить? — тихо спросила Лизавета Ивановна.

— Нарумова. Вы его знаете?

— Нет! Он военный или статский?

— Военный.

— Инженер?

— Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?

Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.

— Paul! — закричала графиня из-за ширмов, — пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, grand'maman?

— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

— Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

— А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!

— Простите, grand'maman: я спешу... Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумов инженер?

И Томский вышел из уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки: она принялась опять за работу и наклонила голову над самой канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.

— Прикажи, Лизанька, — сказала она, — карету закладывать, и поедем прогуляться.

Лизанька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.

— Что ты, мать моя! глуха, что ли! — закричала графиня. — Вели скорей закладывать карету.

— Сейчас! — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю.

Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.

— Хорошо! Благодарить, — сказала графиня. — Лизанька, Лизанька! да куда ж ты бежишь?

— Одеваться.

— Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том; читай вслух...

Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.

— Громче! — сказала графиня. — Что с тобою, мать моя? с голосу спала, что ли?.. Погоди: подвинь мне скамеечку, ближе... ну! —

Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.

— Брось эту книгу, — сказала она, — что за вздор! Отошли это князю Павлу и вели благодарить... Да что ж карета?

— Карета готова, — сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.

— Что ж ты не одета? — сказала графиня, — всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, несносно.

Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.

— Что это вас не докличешься? — сказала им графиня. — Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.

— Наконец, мать моя! — сказала графиня. — Что за наряды! Зачем это?.. кого прельщать?.. А какова погода? — кажется, ветер.

— Никак нет-с, ваше сиятельство! очень тихо-с! — отвечал камердинер.

— Вы всегда говорите наобум! Отворите форточку. Так и есть: ветер! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: нечего было наряжаться.

«И вот моя жизнь!» — подумала Лизавета Ивановна.

В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня ***, конечно, не имела злой души; но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, раздумянная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы; к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и посевев в ее перед-

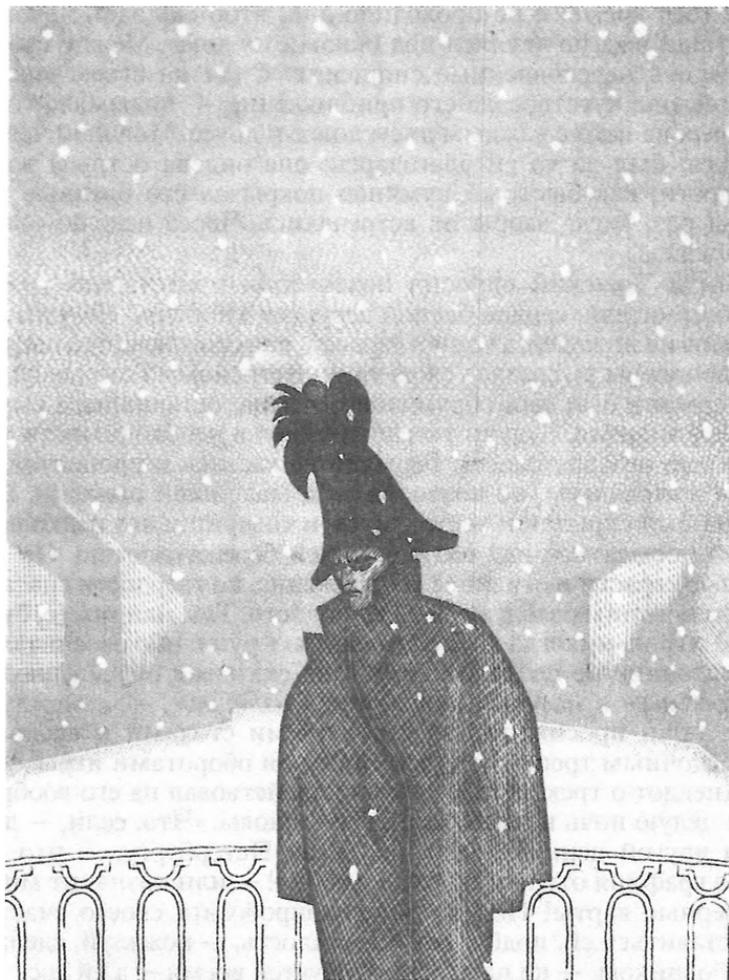
ней и девичьей, делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали и никто не замечал; на балах она танцевала только тогда, как недоставало *vis-á-vis*¹, и дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, — с нетерпением ожидала избавителя; но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашенная кровать и где сальная свеча темно горела в медном шандале!

Однажды, — это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, — однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пальцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой; через пять минут взглянула опять, — молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пальцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, — и она про него забыла...

Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо брововым воротником: черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым.

Возвратясь домой, она подбежала к окошку, — офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза: она отошла, мучась любопытством и волнуемая чувством, для нее совершенно новым.

¹ Пары (в контрдансе) (франц.).



35
Иллюстрация Г. Д. Елифанова
Цветная ксилография.
1950—1957

С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек, в известный час, не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, — подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен: она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась...

Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.

Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволяя себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) *жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее*, — а между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры.

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что, если, — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, — что, если старая графиня откроет мне свою тайну! — или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастья?.. Представиться ей, подбиться в ее милость, — пожалуй, сделаться ее любовником, — но на это все требуется время — а ей восемьдесят семь лет, — она может умереть через неделю, — через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»

Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился.

— Чей это дом? — спросил он у углового будочника.

— Графини ***, — отвечал будочник.

Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и, когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини ***. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.

III

Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire¹.

Переписка.

Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился? — как зовут этот мост? — что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и невпопад и рассердила графиню.

— Что с тобою сделалось, мать моя! Столбняк на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь?.. Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо: оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо

¹ Вы пишете мне, мой ангел, письма по четыре страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать (*франц.*).

содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна.

Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать: перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? — отослать ли ему письмо? — отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться, у ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решила отвечать.

Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу, — и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо, — и рвала его: то выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена, — писала она, — что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманном поступком; но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение».

На другой день, увидя идущего Германна, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Германн подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою.

Три дня после того Лизавете Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германна.

— Вы, душенька, ошиблись, — сказала она, — эта записка не ко мне.

— Нет, точно к вам! — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. — Извольте прочитайте!

Лизавета Ивановна пробежала записку. Германн требовал свидания.

— Не может быть! — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований и способу, им употребленному. — Это писано, верно, не ко мне! — И разорвала письмо в мелкие кусочки.

— Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали? — сказала мамзель, — я бы возвратила его тому, кто его послал.

— Пожалуйста, душенька! — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания, — вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно... ·

Но Германн не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Германн их писал, вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими; стала на них отвечать, — и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему в окошко следующее письмо:

«Сегодня бал у ***ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, — и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату».

Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. — Германн стоял в одном сертуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вослед за нею, в холодном плаще, с головой, украшенной свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы, — было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Гер-



36

Иллюстрация А. Н. Бенуа
Акварель, тушь, белила
1910



37

Иллюстрация А. Н. Бенуа
Акварель, тушь, белила
1905

манн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полянялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже m-me Lebgun¹. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездой; другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Легоу², коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом. Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая — в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он воротился и вошел в темный кабинет.

Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать, — и все умолкло опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, — и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла. Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел.

Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно стриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец, графиня осталась в спальней кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна.

¹ Госпожой Лебрен (франц.).

² Леруа (франц.).

Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма.

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! — сказал он внятным и тихим голосом. — Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Германн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему.

— Вы можете, — продолжал Германн, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...

Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

— Это была шутка, — сказала она наконец, — клянусь вам! это была шутка!

— Этим нечего шутить, — возразил сердито Германн. — Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыграться.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

— Можете ли вы, — продолжал Германн, — назначить мне эти три верные карты?

Графиня молчала; Германн продолжал:

— Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того; они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!..

Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени.

— Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, — всем, что ни есть святого в жизни, — не откажите мне в моей просьбе! — откройте

мне вашу тайну! — что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором... Подумайте: вы стары; жить вам уж недолго, — я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благославят вашу память и будут ее чтить, как святыню...

Старуха не отвечала ни слова.

Германн встал.

— Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы, — так я ж заставлю тебя отвечать...

С этим словом он вынул из кармана пистолет.

При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... Потом покатила навзничь... и осталась недвижима.

— Перестаньте ребячиться, — сказал Германн, взяв ее руку. — Спрашиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты? — да или нет?

Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла.

IV

7 Mai 18**

Homme sans moeurs et sans religion!¹

Переписка.

Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, — сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарил судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, — и уже она была с ним в переписке, — и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не

¹ 7 мая 18**. Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого! (*франц.*).



38
Иллюстрация А. Н. Бенуа
Акварель, тушь, белила
1910

слыхала... до самого сего вечера. Странное дело! В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину ***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

— От кого вы все это знаете? — спросила она, смеясь.

— От приятеля известной вам особы, — отвечал Томский, — человека очень замечательного!

— Кто ж этот замечательный человек?

— Его зовут Германном.

Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поledenели...

— Этот Германн, — продолжал Томский, — лицо истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства. Как вы побледнели!..

— У меня голова болит... Что же говорил вам Германн, — или как бишь его?..

— Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе... Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.

— Да где ж он меня видел?

— В церкви, может быть, — на гулянье!.. Бог его знает! может быть, в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет...

Подошедшие к ним три дамы с вопросами — *oubli ou regret?*¹ — прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томским, была сама княжна ***. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. — Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор; но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала.

Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это, уже

¹ Забвение или сожаление (франц.).



39

Иллюстрация Т. В. Шишмаревой
Тушь. 1946

пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами... Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала...

— Где же вы были? — спросила она испуганным шепотом.

— В спальне у старой графини, — отвечал Германн, — я сейчас от нее. Графиня умерла.

— Боже мой!.. что вы говорите?..

— И кажется, — продолжал Германн, — я причиною ее смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздалась в ее душе: *у этого человека по крайней мере три злодейства на душе!* Германн сел на окошко подле нее и все рассказал.

Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, все это было не любовью! Деньги, — вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии. Германн смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.

— Вы чудовище! — сказала наконец Лизавета Ивановна.

— Я не хотел ее смерти, — отвечал Германн, — пистолет мой не заряжен.

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

— Как вам выйти из дому? — сказала наконец Лизавета Ивановна. — Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надобно идти мимо спальни, а я боюсь.

— Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Германну и дала ему подробное наставление. Германн пожал ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел.

Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев; лицо ее выражало

глубокое спокойствие. Германн остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет, ошупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный à l'oiseau royal¹, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...

Под лестницею Германн нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.

V

В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В***. Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник!»

Шведенборг.

Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн отправился в *** монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердившей ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрасудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, — и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения.

Церковь была полна. Германн насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках; родственники в глубоком трауре, — дети, внуки и правнуки. Никто не плакал, слезы были бы — une affectation². Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить и что ее родственники давно смотрели на нее как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово.

¹ «Королевской птицей», «журавлем» (франц.).

² Притворством (франц.).

В простых и трогательных выражениях представил он мирное усупение праведницы, которой долгие годы были тихим, умили- тельным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смер- ти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницею в их сует- ных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизи- лась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, — и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Германн решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бле- ден как сама покойница, взшел на ступени катафалка и наклонил- ся... В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германн, поспешно подвинувшись назад, ступил и навзничь грянулся об земь. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмо- роке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торже- ственность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: Oh?

Целый день Германн был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он, против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул.

Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взгля- нул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.

В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко, — и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. Чрез минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкнове- нию, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнако- мую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, — и Германн узнал графиню!

— Я пришла к тебе против своей воли, — сказала она твердым голосом, — но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, се-

мерка и туз выиграют тебе сряду, — но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу; Германн насилу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению: от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение.

VI

— *Ата́нде!*

— Как вы смели мне сказать *ата́нде?*

— Ваше превосходительство, я сказал *ата́нде-с!*

Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.

В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, прошедшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар,

ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства. Нарумов привез к нему Германна.

Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалившись на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумов представил ему Германна. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать.

Талья длилась долго. На столе стояло более тридцати карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую.

— Позвольте поставить карту, — сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился, молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германна с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала.

— Идет! — сказал Германн, надписав мелом куш над своею картою.

— Сколько-с? — спросил, прищуриваясь, банкOMET, — извините-с, я не разгляжу.

— Сорок семь тысяч, — отвечал Германн.

При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германна. — Он с ума сошел! — подумал Нарумов.

— Позвольте заметить вам, — сказал Чекалинский с неизменной своею улыбкою, — что игра ваша сильна: никто более двухсот семидесяти пяти семпелем здесь еще не ставил.

— Что ж? — возразил Германн, — бьете вы мою карту или нет?

Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.

— Я хотел только вам доложить, — сказал он, — что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту.

Германн вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германнову карту.

Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.

— Выиграла! — сказал Германн, показывая свою карту.

Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.

— Извольте получить? — спросил он Германна.

— Сделайте одолжение.

Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Германн принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.

На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился.

Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.

Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево.

Германн открыл семерку.

Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился.

В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтоб видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатав колоду карт. Чекалинский стасовал. Германн снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.

Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

— Туз выиграл! — сказал Германн и открыл свою карту.

— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха! — закричал он в ужасе.

Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. — Славно спонтировал! — говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!...»

Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница.

Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОБРАНИЕ
РОМАНОВ И ПОВЕСТЕЙ**

КИРДЖАЛИ

Повесть

Кирджали был родом болгар. Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец. Настоящего его имени я не знаю.

Кирджали своими разбоями наводил ужас на всю Молдавию. Чтоб дать об нем некоторое понятие, расскажу один из его подвигов. Однажды ночью он и арнаут Михайлаки напали вдвоем на болгарское селение. Они зажгли его с двух концов и стали переходить из хижины в хижину. Кирджали резал, а Михайлаки нес добычу. Оба кричали: «Кирджали! Кирджали!» Все селение разбежалось.

Когда Александр Ипсиланти обнародовал возмущение и начал набирать себе войско, Кирджали привел к нему несколько старых своих товарищей. Настоящая цель этерии была им худо известна, но война представляла случай обогатиться на счет турков, а может быть и молдаван, — и это казалось им очевидно.

Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств, нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться и сам заступил его место. Ипсиланти ускакал к границам Австрии и оттуда послал свое проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодьями. Эти трусы и негодяи, большею частью, погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу неприятеля вдесятеро сильнейшего.

Кирджали находился в отряде Георгия Кантакузина, о котором можно повторить то же самое, что сказано о Ипсиланти. Накануне сражения под Скулянами Кантакузин просил у русского начальства позволение вступить в наш карантин. Отряд остался

без предводителя; но Кирджали, Сафьянос, Кантагони и другие не находили никакой нужды в предводителе.

Сражение под Скулянами, кажется, никем не описано во всей его трогательной истине. Вообразите себе 700 человек арнаутов, албанцев, греков, болгар и всякого сброду, не имеющих понятия о военном искусстве и отступающих в виду пятнадцати тысяч турецкой конницы. Этот отряд прижался к берегу Прута и выставил перед собою две маленькие пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря и из которых, бывало, палили во время именинных обедов. Турки рады были бы действовать картечью, но не смели без позволения русского начальства: картечь непременно перелетела бы на наш берег. Начальник карантина (ныне уже покойник), сорок лет служивший в военной службе, отроду не слыхивал свиста пуль, но тут бог привел услышать. Несколько их прожужжали мимо его ушей. Старичок ужасно рассердился и разбранил за то майора Охотского пехотного полка, находившегося при карантине. Майор, не зная, что делать, побегал к реке, за которой гарцевали делибаши, и погрозил им пальцем. Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, а за ними и весь турецкий отряд. Майор, погрозивший пальцем, назывался Хорчевский. Не знаю, что с ним сделалось.

На другой день, однако ж, турки атаковали этеристов. Не смея употреблять ни картечи, ни ядер, они решились, вопреки своему обыкновению, действовать холодным оружием. Сражение было жестоко. Резались атаганами. Со стороны турков замечены были копыя, дотоле у них не бывалые; эти копыя были русские: некраповцы сражались в их рядах. Этеристы, с разрешения нашего государя, могли перейти Прут и скрыться в нашем карантине. Они начали переправляться. Кантагони и Сафьянос остались последние на турецком берегу. Кирджали, раненный накануне, лежал уже в карантине. Сафьянос был убит. Кантагони, человек очень толстый, ранен был копьем в брюхо. Он одной рукою поднял саблю, другою схватился за вражеское копые, всадил его в себя глубже и таким образом мог достать саблею своего убийцу, с которым вместе и повалился.

Все было кончено. Турки остались победителями. Молдавия была очищена. Около шестисот арнаутов рассыпались по Бессарабии; не ведая, чем себя прокормить, они все ж были благодарны России за ее покровительство. Они вели жизнь праздную, но не беспутную. Их можно всегда было видеть в кофейнях полутурецкой Бессарабии, с длинными чубуками во рту, прихлебывающих кофейную гущу из маленьких чашечек. Их узорные куртки и красные востроносые туфли начинали уж изнашиваться, но хохлатая скуфейка все же еще надета была набекрень, а атаганы и пистолеты все еще торчали из-за широких поясов. Никто на них

не жаловался. Нельзя было и подумать, чтоб эти мирные бедняки были известнейшие клефты Молдавии, товарищи грозного Кирджали, и чтоб он сам находился между ими.

Паша, начальствовавший в Яссах, о том узнал и на основании мирных договоров потребовал от русского начальства выдачи разбойника.

Полиция стала доискиваться. Узнали, что Кирджали в самом деле находится в Кишиневе. Его поймали в доме беглого монаха, вечером, когда он ужинал, сидя в потемках с семью товарищами.

Кирджали засадили под караул. Он не стал скрывать истины и признался, что он Кирджали. «Но, — прибавил он, — с тех пор, как я перешел за Прут, я не тронул ни волоса чужого добра, не обидел и последнего цыгана. Для турков, для молдаван, для валахов я, конечно, разбойник, но для русских я гость. Когда Сафьянос, расстреляв всю свою картечь, пришел к нам в карантин, отбирая у раненых для последних зарядов пуговицы, гвозди, цепочки и набалдашники с атаганов, я отдал ему двадцать бешлыков и остался без денег. Бог видит, что я, Кирджали, жил подаванием! За что же теперь русские выдают меня моим врагам?» После того Кирджали замолчал и спокойно стал ожидать разрешения своей участи.

Он дождался недолго. Начальство, не обязанное смотреть на разбойников с их романтической стороны и убежденное в справедливости требования, повелело отправить Кирджали в Яссы.

Человек с умом и сердцем, в то время неизвестный молодой чиновник, ныне занимающий важное место, живо описывал мне его отъезд.

У ворот острога стояла почтовая каруца... (Может быть, вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая, плетеная тележка, в которую еще недавно впрягались обыкновенно шесть или восемь клячонок. Молдаван в усах и бараньей шапке, сидя верхом на одной из них, поминутно кричал и хлопал бичом, и клячонки его бежали рысью довольно крупной. Если одна из них начинала приставать, то он отпрягал ее с ужасными проклятиями и бросал на дороге, не заботясь об ее участи. На обратном пути он уверен был найти ее на том же месте, спокойно пасущуюся на зеленой степи. Нередко случалось, что путешественник, выехавший из одной станции на осьми лошадях, приезжал на другую на паре. Так было лет пятнадцать тому назад. Ныне в обрусевшей Бессарабии переняли русскую упряжь и русскую телегу).

Таковая каруца стояла у ворот острога в 1821 году, в одно из последних чисел сентября месяца. Жидовки, спустя рукава и шлепая туфлями, арнауты в своем оборванном и живописном наряде, стройные молдаванки с черноглазыми ребятами на руках

окружали каруцу. Мужчины хранили молчание, женщины с жаром чего-то ожидали.

Ворота отворились, и несколько полицейских офицеров вышли на улицу; за ними двое солдат вывели скованного Кирджали.

Он казался лет тридцати. Черты смуглого лица его были правильны и суровы. Он был высокого роста, широкоплеч, и вообще в нем изображалась необыкновенная физическая сила. Пестрая чалма наискось покрывала его голову, широкий пояс обхватывал тонкую поясницу; долиман из толстого синего сукна, широкие складки рубахи, падающие выше колен, и красивые туфли составляли остальной его наряд. Вид его был горд и спокоен.

Один из чиновников, краснорожий старичок, в полинялом мундире, на котором болтались три пуговицы, прищепил оловянными очками багровую шишку, заменявшую у него нос, развернул бумагу и, гнуся, начал читать на молдавском языке. Время от времени он надменно взглядывал на скованного Кирджали, к которому, по-видимому, относилась бумага. Кирджали слушал его со вниманием. Чиновник кончил свое чтение, сложил бумагу, грозно прикрикнул на народ, приказав ему раздаться, и велел подвезти каруцу. Тогда Кирджали обратился к нему и сказал ему несколько слов на молдавском языке; голос его дрожал, лицо изменилось; он заплакал и повалился в ноги полицейского чиновника, загремев своими цепями. Полицейский чиновник, испугавшись, отскочил; солдаты хотели было приподнять Кирджали, но он встал сам, подобрал свои кандалы, шагнул в каруцу и закричал: «Гайда!» Жандарм сел подле него, молдаван хлопнул бичом, и каруца покатила.

— Что это говорил вам Кирджали? — спросил молодой чиновник у полицейского.

— Он (видите-с) просил меня, — отвечал, смеясь, полицейский, — чтоб я позаботился о его жене и ребенке, которые живут недалеко от Килии в болгарской деревне, — он боится, чтоб и они из-за него не пострадали. Народ глупый-с.

Рассказ молодого чиновника сильно меня тронул. Мне было жаль бедного Кирджали. Долго не знал я ничего об его участи. Несколько лет уж спустя встретился я с молодым чиновником. Мы разговорились о прошедшем.

— А что ваш приятель Кирджали? — спросил я, — не знаете ли, что с ним сделалось?

— Как не знать, — отвечал он и рассказал мне следующее:

Кирджали, привезенный в Яссы, представлен был паше, который присудил его быть посажену на кол. Казнь отсрочили до какого-то праздника. Покамест заключили его в тюрьму.

Невольника стерегли семеро турок (люди простые и в душе такие же разбойники, как и Кирджали); они уважали его

и с жадностью, общию всему Востоку, слушали его чудные рассказы.

Между стражами и невольником завелась тесная связь. Однажды Кирджали сказал им: «Братья! час мой близок. Никто своей судьбы не избежит. Скоро я с вами расстанусь. Мне хотелось бы вам оставить что-нибудь на память».

Турки развесили уши.

— Братья, — продолжал Кирджали, — три года тому назад, как я разбойничал с покойным Михайлаки, мы зарыли в степи недалеко от Ясс котел с *гальбинами*. Видно, ни мне, ни ему не владеть этим кладом. Так и быть: возьмите его себе и разделите полюбовно.

Турки чуть с ума не сошли. Пошли толки, как им будет найти заветное место? Думали, думали и положили, чтобы Кирджали сам их повел.

Настала ночь. Турки сняли оковы с ног невольника, связали ему руки веревкою и с ним отправились из города в степь.

Кирджали их повел, держась одного направления, от одного кургана к другому. Они шли долго. Наконец Кирджали остановился близ широкого камня, отмерил двенадцать шагов на полдень, топнул и сказал: «Здесь».

Турки распорядились. Четверо вынули свои атаганы и начали копать землю. Трое остались на страже. Кирджали сел на камень и стал смотреть на их работу.

— Ну что? скоро ли? — спрашивал он, — дорылись ли?

— Нет еще, — отвечали турки и работали так, что пот лил с них градом.

Кирджали стал оказывать нетерпение.

— Экой народ, — говорил он. — И землю-то копать порядочно не умеют. Да у меня дело было бы кончено в две минуты. Дети! развяжите мне руки, дайте атаган.

Турки призадумались и стали советоваться.

— Что же? (решили они) развяжем ему руки, дадим атаган. Что за беда? Он один, нас семеро. — И турки развязали ему руки и дали ему атаган.

Наконец Кирджали был свободен и вооружен. Что-то должен он был почувствовать!.. Он стал проворно копать, сторожа ему помогали... Вдруг он в одного из них вонзил свой атаган и, оставя булат в его груди, выхватил из-за его пояса два пистолета.

Остальные шесть, увидя Кирджали вооруженного двумя пистолетами, разбежались.

Кирджали ныне разбойничает около Ясс. Недавно писал он господарю, требуя от него пяти тысяч *лево*в и грозясь, в случае неисправности в платеже, зажечь Яссы и добраться до самого господаря. Пять тысяч *лево*в были ему доставлены.

Каков Кирджали?

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Недавно попалась мне в руки книга, напечатанная в Париже в прошлом 1834 году под названием: *Voyages en Orient entrepris par ordre du Gouvernement Français*¹. Автор, по-своему описывая поход 1829 года, оканчивает свои рассуждения следующими словами:

Un poète distingué par son imagination a trouvé dans tant de hauts faits dont il a été témoin non le sujet d'un poème, mais celui d'une satire².

Из поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об А.С. Хомякове и об А.Н. Муравьеве. Оба находились в армии графа Дибича. Первый написал в то время несколько прекрасных лирических стихотворений, второй обдумывал свое путешествие к святым местам, произведшее столь сильное впечатление. Но я не читал никакой сатиры на Арзрумский поход.

Никак бы я не мог подумать, что дело здесь идет обо мне, если бы в той самой книге не нашел я своего имени между именами генералов отдельного Кавказского корпуса. Parmi les chefs qui la commandaient (l'armée du Prince Paskewitch) on distinguait le Général Mouravief... le Prince Géorgien Tsitsévaze... le Prince Armenien Beboutof... le Prince Potemkine, le Général Raiewsky, et enfin — M-r Pouchkine... qui avait quitté la capitale pour chanter les exploits de ses compatriotes³.

¹ Путешествия на Восток, предпринятые по поручению Французского правительства (*франц.*).

² Один поэт, замечательный своим воображением, в стольких славных действиях, свидетель которых он был, нашел сюжет не для поэмы, но для сатиры (*франц.*).

³ Среди начальников, командовавших ею (армией князя Паскевича), выделялись генерал Муравьев... грузинский князь Чичевадзе... армянский князь Бебутов... князь Потемкин, генерал Раевский и, наконец, г. Пушкин... покинувший столицу, чтобы воспеть подвиги своих соотечественников (*франц.*).

Признаюсь: эти строки французского путешественника, несмотря на лестные эпитеты, были мне гораздо досаднее, нежели брань русских журналов. *Искать вдохновения* всегда казалось мне смешной и нелепой причудой: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем, чтоб воспевать будущие подвиги, было бы для меня, с одной стороны, слишком самолюбиво, а с другой — слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело. Может быть, смелый переход через Саган-лу, движение, коим граф Паскевич отрезал сераскира от Осман-паши, поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток, быстрый поход к Арзруму, все это, увенчанное полным успехом, может быть, и чрезвычайно достойно посмеяния в глазах военных людей (каковы, например, г. купеческий консул Фонтанье, автор «Путешествия на Восток»); но я устыдился бы писать сатиры на прославленного полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание. Человек, не имеющий нужды в покровительстве сильных, дорожит их радушием и гостеприимством, ибо иного от них не может и требовать. Обвинение в неблагодарности не должно быть оставлено без возражения, как ничтожная критика или литературная брань. Вот почему решился я напечатать это предисловие и выдать свои путевые записки, как *все*, что мною было написано о походе 1829 года.

А. Пушкин.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Степи. Калмыцкая кибитка. Кавказские воды. Военная Грузинская дорога. Владикавказ. Осетинские похороны. Терек. Дарияльское ущелье. Переезд чрез снеговые горы. Первый взгляд на Грузию. Водопроводы. Хозрев-Мирза. Душетский городничий.

...Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом двести верст лишних; зато увидел ***.

...Мне предстоял путь через Курск и Харьков; но я своротил на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в курском трактире (что не безделица в наших путешествиях) и не любопытствуя посетить Харьковский университет, который не стоит курской ресторации.

До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине. В Новочеркасске нашел я графа Пушкина, ехавшего также в Тифлис, и мы согласились путешествовать вместе.

Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности; показываются птицы, неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественников; по тучным пастбищам

Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны.

Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся уродливые, косматые кони, знакомые вам по прекрасным рисункам Орловского.

На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Все семейство собиралось завтракать; котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное вверху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, курия табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» — «***». — «Сколько тебе лет?» — «Десять и восемь». — «Что ты шьешь?» — «Портка». — «Кому?» — «Себя». — Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеи.

В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были всё те же, всё на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи.

Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел я большую перемену. В мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники,

мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость...

Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною А. Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке...

На другой день мы отправились далее и прибыли в Екатериноград, бывший некогда наместническим городом.

С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказца. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и проездие к ней присоединяются: это называется *оказией*. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день, и на третье утро в девять часов мы были готовы отправиться в путь. На сборном месте соединился весь караван, состоявший из пятисот человек или около. Пробили в барабан. Мы тронулись. Впереди поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжающих из одной крепости в другую; за ними заскрыпел обоз двуколесных ароб. По сторонам бежали конские табуны и стада волов. Около них скакали нагайские проводники в бурках и с арканами. Все это сначала мне очень нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагом, фитиль курился, и солдаты раскуривали им свои трубки. Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только пятнадцать верст), несносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец беспрерывный скрип нагайских ароб выводили меня из терпения. Татары тщеславятся этим скрипом, говоря, что они разъезжают как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На сей раз приятнее было бы мне путешествовать не в столь почтенном обществе. Дорога довольно однообразная: равнина, по сторонам холмы. На краю неба вершины Кавказа, каждый день являющиеся выше и выше. Крепости, достаточные для здешнего края, со рвом, который каждый из нас перепрыгнул бы в старину не разбегаюсь, с заржавыми пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока.

Первое замечательное место есть крепость Минарет. Приближаясь к ней, наш караван ехал по прелестной долине, между курганами, обросшими липой и чинаром. Это могилы нескольких тысяч умерших чумою. Пестрелись цветы, порожденные зараженным пеплом. Справа сиял снежный Кавказ; впереди возвышалась огромная, лесистая гора; за нею находилась крепость. Кругом ее видны следы разоренного аула, называвшегося Татартубом и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий, одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудями камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичих славянолюбивыми путешественниками.

Дорога наша сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха, быть может, русского, некогда взятого в плен и состарившегося в неволе. Мы встретили еще курганы, еще развалины. Два-три надгробных памятника стояло на краю дороги. Там, по обычаю черкесов, похоронены их наездники. Татарская надпись, изображение шашки, танга, иссеченные на камне, оставлены хищным внукам в память хищного предка.

Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набег. Дружба *мирных* черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на пехоту и бегут, завидя пушку. Зато никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой о их злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ими наследственных распрей и мщениия крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство — простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе их изрубить своими детскими шашками. Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таким народом? Должно, однако ж, надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от

торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов *Корана*, между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты.

Мы достигли Владикавказа, прежнего Капкая, преддверия гор. Он окружен осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смиренно. Мертвеца вынесли на бурке...

...like a warrior taking his rest
With his martial cloak around him¹.

положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула. К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов.

Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе; женщины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам. У ворот крепости встретил я жену и дочь заключенного осетинца. Они несли ему обед. Обе казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потупили голову и закрылись своими изодранными *чадрами*. В крепости видел я черкесских аманатов, резвых и красивых мальчиков. Они поминутно проказят и бегают из крепости. Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие и в отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем пребывании во Владикавказе.

Пушка оставила нас. Мы отправились с пехотой и казаками. Кавказ нас принял в свое святилище. Мы услышали глухой шум и увидели Терек, разливающийся по разным направлениям. Мы поехали по его левому берегу. Шумные волны его приводят в

¹подобно отдыхающему воину в его боевом плаще (англ.).

движение колеса низеньких осетинских мельниц, похожих, на собачьи конуры. Чем далее углублялись мы в горы, тем уже становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестью природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черных вершин. Граф Пушкин и Шернваль, смотря на Терек, вспоминали Иматру и отдавали преимущество *реке на Севере гремящей*. Но я ни с чем не мог сравнить мне предстоявшего зрелища.

Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет Терек с яростию неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича издали: «Не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!» Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы. На скале видны развалины какого-то замка: они облеплены саклями мирных осетинцев, как будто гнездами ласточек.

В Ларсе остановились мы ночевать. Тут нашли мы путешественника француза, который напугал нас предстоящею дорогой. Он советовал нам бросить экипажи в Коби и ехать верхом. С ним выпили мы в первый раз кахетинского вина из вонючего *бурдюка*, вспоминая пирования Илиады:

И в козиих мехах вино, отраду нашу!

Здесь нашел я измаранный список «Кавказского пленника» и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно.

На другой день поутру отправились мы далее. Турецкие пленники разработывали дорогу. Они жаловались на пищу, им выдаваемую. Они никак не могли привыкнуть к русскому черному хлебу. Это напомнило мне слова моего приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: «Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; черного хлеба не допросишься!»

В семи верстах от Ларса находится Дариальский пост. Ущелье носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. Клочок неба как лента синее над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напомина-

ли мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде плотины, навалены камни. Недалеко от поста мостик смело переброшен через реку. На нем стоишь, как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а Терек шумит, как колеса, движущие жернов. Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелье замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет река Дириодорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких племен, и проч. (см. Путешествие графа И. Потоцкого, коего ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы).

Из Дариала отправились мы к Казбеку. Мы увидели *Троицкие ворота* (арка, образованная в скале взрывом пороха) — под ними шла некогда дорога, а ныне протекает Терек, часто меняющий свое русло.

Недалеко от селения Казбек переехали мы через *Бешеную балку*, овраг, во время сильных дождей превращающийся в яростный поток. Он в это время был совершенно сух и громок одним своим именем.

Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и нечище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями.

Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую гряду, по выражению поэта, *подпирающую небосклон*.

Ждали персидского принца. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Покамест экипажи разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта и, по моему желанию, представил меня Фазил-Хану. Я, с

помощию переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостию порядочного человека! «Он надеялся увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и проч.». Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей *папахе** и по крашеным ногтям.

Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, чрез которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадях или послать за осетинскими волами? На всякий случай я написал от имени всего нашего каравана официальную просьбу к г. Чиляеву, начальствующему в здешней стороне, и мы легли спать в ожидании подвода.

На другой день около 12-ти часов услышали мы шум, крики и увидели зрелище необыкновенное: осьмнадцать пар тощих, малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О***. Это зрелище тотчас рассеяло все мои сомнения. Я решился отправить мою тяжелую петербургскую коляску обратно во Владикавказ и ехать верхом до Тифлиса. Граф Пушкин не хотел следовать моему примеру. Он предпочел впрячь целое стадо волов в свою бричку, нагруженную запасами всякого рода, и с торжеством переехать через снеговой хребет. Мы расстались, и я поехал с полковником Огаревым, осматривающим здешние дороги.

Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года. Таковые случаи бывают обыкновенно каждые семь лет. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелие на целую версту и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и истощилась. Терек прорылся сквозь обвал не прежде, как через два часа. То-то был он ужасен!

Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши вязли в рыхлом снегу, под которым шумели ручьи. Я с удивлением смотрел на дорогу и не понимал возможности езды на колесах.

В это время услышал я глухой грохот. «Это обвал», — сказал мне г. Огарев. Я оглянулся и увидел в стороне груды снега, которая осыпалась и медленно съезжала с крутизны. Малые обвалы здесь не редки. В прошлом году русский извозчик ехал по Крестовой горе; обвал оборвался: страшная глыба свалилась на его повозку, поглотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась через дорогу и

* Так называются персидские шапки.

покатилась в пропасть с своею добычею. Мы достигли самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный Ермоловым.

Здесь путешественники обыкновенно выходят из экипажей и идут пешком. Недавно проезжал какой-то иностранный консул: он так был слаб, что велел завязать себе глаза; его вели под руки, и когда сняли с него повязку, тогда он стал на колени, благодарил бога и проч., что очень изумило проводников.

Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух юга вдруг начинает повевать на путешественника. С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извинаящейся, как серебряная лента, — и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога.

Мы спустились в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в доме г. Чилиева. На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее.

Здесь начинается Грузия. Светлые долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелия и грозный Терек. Вместо голых утесов я видел около себя зеленые горы и плодоносные деревья. Водопроводы доказывали присутствие образованности. Один из них поразил меня совершенством оптического обмана: вода, кажется, имеет свое течение по горе снизу вверх.

В Пайсанауре остановился я для перемены лошадей. Тут я встретил русского офицера, провожающего персидского принца. Вскоре услышал я звук колокольчиков, и целый ряд катаров (мулов), привязанных один к другому и навьюченных по-азиатски, потянулся по дороге. Я пошел пешком, не дождавшись лошадей, и в полверсте от Ананура, на повороте дороги, встретил Хозрев-Мирзу. Экипажи его стояли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул мне головою. Несколько часов после нашей встречи на принца напали горцы. Услыша свист пуль, Хозрев выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. Русские, бывшие при нем, удивились его смелости. Дело в том, что молодой азиатец, не привыкший к коляске, видел в ней скорее западню, нежели убежище.

Я дошел до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета оставалось не более как десять верст, и я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Эти десять верст стоили добрых двадцати.

Наступил вечер; я шел вперед, подымаясь все выше и выше. С дороги сбиться было невозможно; но местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно

утомился. Темнота увеличилась. Я слышал вой и лай собак и радовался, воображая, что город недалеко. Но ошибался: лаяли собаки грузинских пастухов, а выли шакалы, звери в той стороне обыкновенные. Я проклинал свое нетерпение, но делать было нечего. Наконец увидел я огни и около полуночи очутился у домов, осененных деревьями. Первый встречный вызвался провести меня к городничему и потребовал за то с меня *абаз*.

Появление мое у городничего, старого офицера из грузин, произвело большое действие. Я требовал, во-первых, комнаты, где бы мог раздеться, во-вторых, стакана вина, в-третьих, абазы для моего провожатого. Городничий не знал, как меня принять, и посматривал на меня с недоумением. Видя, что он не торопится исполнить мои просьбы, я стал перед ним раздеваться, прося извинения *de la liberté grande*¹. К счастью, нашел я в кармане дорожную, доказывавшую, что я мирный путешественник, а не Ринальдо-Ринальдини. Благословенная хартия возымела тотчас свое действие: комната была мне отведена, стакан вина принесен и абаз выдан моему проводнику с отеческим выговором за его корыстолюбие, оскорбительное для грузинского гостеприимства. Я бросился на диван, надеясь после моего подвига заснуть богатырским сном: не тут-то было! блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напали на меня и во всю ночь не дали мне покою. Поутру явился ко мне мой человек и объявил, что граф Пушкин благополучно переправился на волах через снеговые горы и прибыл в Душет. Нужно было мне торопиться! Граф Пушкин и Шернваль посетили меня и предложили опять отправиться вместе в дорогу. Я оставил Душет с приятной мыслию, что ночую в Тифлисе.

Дорога была так же приятна и живописна, хотя редко видели мы следы народонаселения. В нескольких верстах от Гарцискалы мы переправились через Куру по древнему мосту, памятнику римских походов, и крупной рысью, а иногда и вскачь, поехали к Тифлису, в котором неприметным образом и очутились часу в одиннадцатом вечера.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Тифлис. Народные бани. Безносый Гассан. Нравы грузинские. Песни. Кахетинское вино. Причина жаров. Дороговизна. Описание города. Отъезд из Тифлиса. Грузинская ночь. Вид Армении. Двойной переход. Армянская деревня. Гергеры. Грибоедов. Безобдал. Минеральный ключ. Буря в горах. Ночлег в Гумрах. Арарат. Граница. Турецкое гостеприимство. Карс. Армянская семья. Выезд из Карса. Лагерь графа Паскевича.

¹ За большую вольность (*франц.*).

Я остановился в трактире, на другой день отправился в славные тифлиские бани. Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинев. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами; арбы, запряженные волами, перегорожали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; между ими молодые русские чиновники разъезжали верхами на карабахских жеребцах. При входе в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату и что же увидел? Более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе не одетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем, — сказал мне хозяин, — сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда». — «Конечно не беда, — отвечал я ему, — напротив». Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею *чадрой*; ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны и оправдывали воображение Т. Мура:

a lovely Georgian maid,
With all the bloom, the freshen'd glow
Of her own country maiden's looks,
When warm they rise from Teflis' brooks.
*Lalla Rookh*¹.

Зато не знаю ничего отвратительнее грузинских старух: это ведьмы.

Персиянин ввел меня в бани: горячий, железо-серный источник лился в глубокую ванну, иссеченную в скале. Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлиских бань. Опишу их подробно.

Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу; это не мешало ему быть мастером своего дела. Гассан (так назывался безносый татарин) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. (Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине вприсядку, *e sempre bene*².) После сего долго тер

¹ Прелестная грузинская дева с ярким румянцем и свежим пыланьем, какое бывает на лицах дев ее страны, когда они выходят разгоряченные из Тифлиских ключей. *Лалла Рук* (англ.).

² И отлично (итал.).

он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух! NB Шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане: знатоки будут благодарны за таковое нововведение.

После пузыря Гассан отпустил меня в ванны; тем и кончилась церемония.

В Тифлисе надеялся я найти Раевского, но узнав, что полк его уже выступил в поход, я решился просить у графа Паскевича позволения приехать в армию.

В Тифлисе пробыл я около двух недель и познакомился с тамошним обществом. Санковский, издатель «Тифлисских ведомостей», рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о князе Цицианове, об А. П. Ермолове и проч. Санковский любит Грузию и предвидит для нее блестящую будущность.

Грузия прибегнула под покровительство России в 1783 году, что не помешало славному Аге-Мохамеду взять и разорить Тифлис и 20 000 жителей увести в плен (1795 г.). Грузия перешла под скипетр императора Александра в 1802 г. Грузины народ воинственный. Они доказали свою храбрость под нашими знаменами. Их умственные способности ожидают большей образованности. Они вообще нрава веселого и общежительного. По праздникам мужчины пьют и гуляют по улицам. Черноглазые мальчишки поют, прыгают и кувыркаются; женщины пляшут лезгинку.

Голос песен грузинских приятен. Мне перевели одну из них слово в слово; она, кажется, сложена в новейшее время; в ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Вот вам она:

Душа, недавно рожденная в раю! Душа, созданная для моего счастья! от тебя, бессмертная, ожидаю жизни.

От тебя, весна цветущая, луна двунедельная, от тебя, ангел мой хранитель, от тебя ожидаю жизни.

Ты сияешь лицом и веселишь улыбкою. Не хочу обладать миром; хочу твоего взора. От тебя ожидаю жизни.

Горная роза, освеженная росой! Избранная любимица природы! Тихое, потаенное сокровище! от тебя ожидаю жизни.

Грузины пьют — и не по-нашему, и удивительно крепки. Вины их не терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургонских. Вино держат в *маранах*, огромных кувшинах, зарытых в землю. Их открывают с торжественными обрядами. Недавно русский драгун, тайно отрыв таковой кувшин, упал в него и утонул в кахетинском вине, как несчастный Кларенс в бочке малаги.

Тифлис находится на берегах Куры в долине, окруженной каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров и, раскалясь на солнце, не нагревают, а кипятят недвижный воздух. Вот причина нестерпимых жаров, царствующих в Тифлисе, несмотря на то, что город находится только еще под 41 градусом широты. Самое его название (*Тбилис-калар*) значит Жаркий город.

Большая часть города выстроена по-азиатски: дома низкие, кровли плоские. В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них начинают образоваться правильные площади. Базар разделяется на несколько рядов; лавки полны турецких и персидских товаров, довольно дешевых, если принять в рассуждение всеобщую дороговизну. Оружие тифлисское дорого ценится на всем Востоке. Граф Самойлов и В., прославившиеся здесь богатырями, обыкновенно пробовали свои новые шашки, с одного маху перерубая надвое барана или отсекая голову быку.

В Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне: в 1825 году было их здесь до двух тысяч пятисот семейств. Во время нынешних войн число их еще умножилось. Грузинских семейств считается до тысячи пятисот. Русские не считают себя здешними жителями. Военные, повинувшись долгу, живут в Грузии, потому что так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином ассессорским, толико вождеденным. Те и другие смотрят на Грузию как на изгнание.

Климат тифлисский, сказывают, нездоров. Здешние горячки ужасны; их лечат ртутью, коего употребление безвредно по причине жаров. Лекаря кормят им своих больных безо всякой совести. Генерал Сипягин, говорят, умер оттого, что его домовый лекарь, приехавший с ним из Петербурга, испугался приема, предлагаемого тамошними докторами, и не дал одного больному. Здешние лихорадки похожи на крымские и молдавские и лечатся одинаково.

Жители пьют курскую воду, мутную, но приятную. Во всех источниках и колодцах вода сильно отзывается серой. Впрочем, вино здесь в таком общем употреблении, что недостаток в воде был бы незаметен.

В Тифлисе удивила меня дешевизна денег. Переехав на извозчике через две улицы и отпустив его через полчаса, я должен был заплатить два рубля серебром. Я сперва думал, что он хотел воспользоваться незнанием новоприезжего; но мне сказали, что цена точно такова. Все прочее дорого в соразмерности.

Мы ездили в немецкую колонию и там обедали. Пили там делаемое пиво, вкусу очень неприятного, и заплатили очень дорого за очень плохой обед. В моем трактире кормили меня так же дорого и дурно. Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал

однажды меня отобедать; по несчастию, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Черт побери тифлисского гастронома!

Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи. Наконец получил записку от Раевского. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти далее. Я выехал на другой же день.

Я ехал верхом, переменяя лошадей на казачьих постах. Вокруг меня земля была опалена зноем. Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами, но, подъезжая к ним, видел я несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями. Солнце село, но воздух все еще был душен:

Ночи знойные!
Звезды чуждые!..

Луна сияла; все было тихо; топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Я ехал долго, не встречая признаков жилья. Наконец увидел уединенную саклю. Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды сперва по-русски, а потом по-татарски. Он меня не понял. Удивительная беспечность! в тридцати верстах от Тифлиса и на дороге в Персию и Турцию он не знал ни слова ни по-русски, ни по-татарски.

Переночевав на казачьем посту, на рассвете отправился я далее. Дорога шла горами и лесом. Я встретил путешествующих татар; между ими было несколько женщин. Они сидели верхами, укутанные в чадры; видны были у них только глаза да каблуки.

Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. На вершине Безобдала я проехал сквозь малое ущелие, называемое, кажется, Волчьими Воротами, и очутился на естественной границе Грузии. Мне представились новые горы, новый горизонт; подо мною расстились злачные зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был другой.

Человек мой со вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей. Прошло более шести часов, и я начал удивляться пространству перехода. Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кров-

ле подземной сакли. Я изъяснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — «Грибоеда». — Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году, в Петербурге, пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить, он мне сказал: «Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux»¹. Он полагал, что причину кровопролития будет смерть шаха и междуусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игрищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею.

Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском телеграфе». Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностию, уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвраще-

¹ Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей (франц.).

ние его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом непрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна.

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...

В Гергерах встретил я Бутурлина, который, как и я, ехал в армию. Бутурлин путешествовал со всевозможными прихотями. Я отобедал у него, как бы в Петербурге. Мы положили путешествовать вместе; но демон нетерпения опять мною овладел. Человек мой просил у меня позволения отдохнуть. Я отправился один даже без проводника. Дорога все была одна и совершенно безопасна.

Переехав через гору и спустясь в долину, осененную деревьями, я увидел минеральный ключ, текущий поперек дороги. Здесь я встретил армянского попа, ехавшего в Ахалцык из Эривани. «Что нового в Эривани?» — спросил я его. «В Эривани чума, — отвечал он, — а что слышать об Ахалцыке?» — «В Ахалцыке чума», — отвечал я ему. Обменявшись сими приятными известиями, мы расстались.

Я ехал посреди плодоносных нив и цветущих лугов. Жатва струилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею, коей плодородие вошло на Востоке в пословицу. К вечеру прибыл я в Пернике. Здесь был казачий пост. Урядник предсказывал мне бурю и советовал остаться ночевать, но я хотел непременно в тот же день достигнуть Гумров.

Мне предстоял переход через невысокие горы, естественную границу Карского пашалыка. Небо покрыто было тучами; я надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит. Но дождь стал накрапывать и шел все крупнее и чаще. От Пернике до Гумров считается 27 верст. Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя providению.

Прошло более двух часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки и с башлыка, налитанного дождем. Наконец холодная струя начала пробираться мне за гал-

стук, и вскоре дождь меня промочил до последней нитки. Ночь была темная; казак ехал впереди, указывая дорогу. Мы стали подыматься на горы. Между тем дождь перестал и тучи рассеялись. До Гумров оставалось верст десять. Ветер, дуя на свободе, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец я достигнул Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда спешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул как убитый.

Казаки разбудили меня на заре. Первою моею мыслию было: не лежу ли я в лихорадке. Но почувствовал, что слава богу бодр, здоров; не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. «Что за гора?» — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: «Это Арарат». Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни, — и врана и голубицу излетающих, символы казни и примирения...

Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росой и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. «Вот и Арпачай», — сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимой мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван; я все еще находился в России.

До Карса оставалось мне еще 75 верст. К вечеру надеялся я увидеть наш лагерь. Я нигде не останавливался. На половине дороги, в армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый *чюрек*, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие пленники в Дариальском ущелии. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен. Меня провожал молодой турок, ужасный говорун. Он во всю дорогу болтал по-турецки, не заботясь о том, понимал ли я его или нет. Я напрягал внимание и старался угадать его. Казалось,

он побранивал русских и, привыкнув видеть всех их в мундирах, по платью принимал меня за иностранца. Навстречу нам попался русский офицер. Он ехал из нашего лагеря и объявил мне, что армия уже выступила из-под Карса. Не могу описать моего отчаяния: мысль, что мне должно будет возвратиться в Тифлис, измучась понапрасну в пустынной Армении, совершенно убивала меня. Офицер поехал в свою сторону; турок начал опять свой монолог; но уже мне было не до него. Я переменял иноходь на крупную рысь и вечером приехал в турецкую деревню, находящуюся в двадцати верстах от Карса.

Соскочив с лошади, я хотел войти в первую саклю, но в дверях показался хозяин и оттолкнул меня с бранию. Я отвечал на его приветствие нагайкою. Турок раскричался; народ собрался. Проводник мой, кажется, за меня заступился. Мне указали караван-сарай; я вошел в большую саклю, похожую на хлев; не было места, где бы я мог разостлать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: *вербана ат* (дай мне лошадь). Турки не соглашались. Наконец я догадался показать им деньги (с чего надлежало бы мне начать). Лошадь тотчас была приведена, и мне дали проводника.

Я поехал по широкой долине, окруженной горами. Вскоре увидел я Карс, белеющийся на одной из них. Турок мой указывал мне на него, повторяя: *Карс, Карс!* и пускал вскачь свою лошадь; я следовал за ним, мучась беспокойством: участь моя должна была решиться в Карсе. Здесь должен я был узнать, где находится наш лагерь и будет ли еще мне возможность догнать армию. Между тем небо покрылось тучами и пошел дождь опять; но я об нем уже не заботился.

Мы въехали в Карс. Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан: били зброю. Часовой принял от меня билет и отправился к коменданту. Я стоял под дождем около получаса. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в бани. Мы поехали по кривым и крутым улицам; лошади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома, довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей. Никто не отвечал. Дождь ливнем лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и, переговора с моим турком, позвал меня к себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранной низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет семнадцати. Оба брата бывали в Тифлисе и жилали в нем по несколько месяцев. Они

сказали мне, что войска наши выступили накануне и что лагерь наш находится в 25 верстах от Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показала мне верхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате; я разлегся противу угасающего камина и заснул в приятной надежде увидеть на другой день лагерь графа Паскевича.

Поутру пошел я осматривать город. Младший из моих хозяев взялся быть моим чичероном. Осматривая укрепления и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом. Мой армянин толковал мне как умел военные действия, коим сам он был свидетелем. Заметя в нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мною в армию. Он тотчас согласился. Я послал его за лошадьми. Он явился вместе с офицером, который потребовал от меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почел я за нужное рыться в моих бумагах и вынул из кармана первый попавшийся мне листок. Офицер, важно его рассмотрев, тотчас велел привести его благородию лошадей по предписанию и возвратил мне мою бумагу; это было послание к калмычке, намаранное мною на одной из кавказских станций. Через полчаса выехал я из Карса, и Артемий (так назывался мой армянин) уже скакал подле меня на турецком жеребце с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и бредя о турках и сражениях.

Я ехал по земле, везде засеянной хлебом; кругом видны были деревни, но они были пусты: жители разбежались. Дорога была прекрасна и в топких местах вымощена — через ручьи выстроены были каменные мосты. Земля приметно возвышалась — передовые холмы хребта Саган-лу, древнего Тавра, начинали появляться. Прошло около двух часов: я въехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Карс-чая; через несколько минут я был уже в палатке Раевского.

ГЛАВА ТРЕТИЯ

Переход через Саган-лу. Перестрелка. Лагерная жизнь. Язиды. Сражение с сераскиром арзрумским. Взорванная сакля.

Я приехал вовремя. В тот же день (13 июня) войско получило повеление идти вперед. Обедая у Раевского, слушал я молодых генералов, рассуждавших о движении, им предписанном. Генерал Бурцов отряжен был влево по большой Арзрумской дороге прямо противу турецкого лагеря, между тем как все прочее войско должно было идти правую стороною в обход неприятелю.

В пятом часу войско выступило. Я ехал с Нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским, с которым уж несколько лет не видался. Настала ночь; мы остановились в долине, где войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу Паскевичу.

Я нашел графа дома перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чуждый воинскому искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту. Здесь увидел я нашего Вольховского, запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненного в прошлом году. Он любим и уважаем как славный товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились! как быстро уходит время!

Heu! fugaces, Posthume, Posthume,
Labuntur anni...¹

Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке. Посреди ночи разбудили меня ужасные крики: можно было подумать, что неприятель сделал нечаянное нападение. Раевский послал узнать причину тревоги. Несколько татарских лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали по лагерю, и мусульмане (так зовутся татаре, служащие в нашем войске) их ловили.

На заре войско двинулось вперед. Мы подъехали к горам, поросшим лесом. Мы въехали в ущелие. Драгуны говорили между собою: «Смотри, брат, держись: как раз картечью хватят». В самом деле, местоположение благоприятствовало засадам; но турки, отвлеченные в другую сторону движением генерала Бурцова, не воспользовались своими выгодами. Мы благополучно прошли опасное ущелие и стали на высотах Саган-лу в десяти верстах от неприятельского лагеря.

Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами. Снег лежал в оврагах.

...nec Armeniis in oris,
Amice Valgi, stat glaciés iners
Menses per omnes...²

Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах.

¹ Увы, о Постум, Постум, быстротечные мчатся годы... (лат.).

² ...и армянская земля, друг Вальгий, не круглый год покрыта неподвижным льдом... (лат.).

Я поехал с Семичевым посмотреть новую для меня картину. Мы встретили раненого казака: он сидел, шатаясь на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его. «Много ли турков?» — спросил Семичев. «Свиньем валит, ваше благородие», — отвечал один из них. Проехав ущелие, вдруг увидели мы на склоне противоположной горы до двухсот казаков, выстроенных в лаву, и над ними около пятисот турков. Казаки отступали медленно; турки наезжали с большею дерзостью, прицеливались шагах в двадцати и, выстрелив, скакали назад. Их высокие чалмы, красивые долиمانы и блестящий убор коней составляли резкую противоположность с синими мундирами и простою сбруей казаков. Человек пятнадцать наших было уже ранено. Подполковник Басов послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки было смешались. Но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставя на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отсеченные головы отсылают в Константинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, отпечатлевают на своих знаменах. Выстрелы утихли. Орлы, спутники войск, поднялись над горою, с высоты высматривая себе добычу. В это время показалась толпа генералов и офицеров: граф Паскевич приехал и отправился на гору, за которою скрылись турки. Они были подкреплены четырьмя тысячами конницы, скрытой в лощине и в оврагах. С высоты горы открылся нам турецкий лагерь, отделенный от нас оврагами и высотами. Мы возвратились поздно. Проезжая нашим лагерем, я видел наших раненых, из коих человек пять умерло в ту же ночь и на другой день. Вечером навестил я молодого Остен-Сакена, раненного в тот же день в другом сражении.

Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков; и беседа шла через переводчика. В войске нашем находились и народы закавказских наших областей, и жители земель, недавно завоеванных. Между ими с любопытством смотрел я на язидов, слывущих на Востоке дьяволопоклонниками. Около трехсот семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владичество русского государя. Начальник их, высокий, уродливый мужчина в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от язидов правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая баснь; что они веруют в единого бога; что по

их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию Аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются; и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее.

Человек мой явился в лагерь через три дня после меня. Он приехал вместе с вагенбургом, который в виду неприятеля благополучно соединился с армией. **№.** Во все время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен.

17 июня утром услышали вновь мы перестрелку и через два часа увидели карабахский полк возвращающимся с осьюю турецкими знаменами: полковник Фридерикс имел дело с неприятелем, засевающим за каменными завалами, вытеснил его и прогнал; Осман-паша, начальствовавший конницей, едва успел спастись.

18 июня лагерь передвинулся на другое место. 19-го, едва пушка разбудила нас, все в лагере пришло в движение. Генералы поехали к своим постам. Полки строились; офицеры становились у своих взводов. Я остался один, не зная, в которую сторону ехать, и пустил лошадь на волю божию. Я встретил генерала Бурцова, который звал меня на левый фланг. Что такое левый фланг? — подумал я и поехал далее. Я увидел генерала Муравьева, расставившего пушки. Вскоре показались делибаши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы. Турки повалили в сторону и скрылись за возвышением. Я увидел графа Паскевича, окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал Пущина осмотреть овраг. Пущин поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по горе и по лощине. На левом фланге, куда звал меня Бурцов, происходило жаркое дело. Перед нами (противу центра) скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татары наши окружали их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский остановился на краю оврага. Два эскадрона, отделясь от полка, занеслись в своем преследовании; они были вручены полковником Симоничем.

Сражение утихло; турки у нас в глазах начали копать землю и таскать камни, укрепляясь по своему обыкновению. Их оставили в покое. Мы слезли с лошадей и стали обедать чем бог

послал. В это время к графу привели нескольких пленников. Один из них был жестоко ранен. Их расспросили. Около шестого часу войска опять получили приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами и вскоре зачали отступать. Конница наша была впереди; мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда Сводный уланский полк переехал бы через меня. Однако бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали; казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросались в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги; они уже не стреляли; по крайней мере ни одна пуля не просвистала мимо моих ушей. Первые в преследовании были наши татарские полки, коих лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закусив повод, от них не отставала; я насилу могу ее сдержать. Она остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему, казалось, было лет осьмнадцать, бледное девическое лицо не было обезображено. Чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом; вскоре нагнал меня Раевский. Он написал карандашом на клочке бумаги донесение графу Паскевичу о совершенном поражении неприятеля и поехал далее. Я следовал за ним издали. Настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждом шагу. Граф Паскевич повелел не прекращать преследования и сам им управлял. Меня обогнали конные наши отряды; я увидел полковника Полякова, начальника казацкой артиллерии, игравшей в тот день важную роль, и с ним вместе прибыл в оставленное селение, где остановился граф Паскевич, прекративший преследование по причине наступившей ночи.

Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных. Он их расспрашивал. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора-Розы, речка шумела во мраке. В это время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всею своею свитою. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в тридцати верстах от места, где мы ночевали. Дорога полна была конных отрядов. Только успели мы прибыть на место, как вдруг небо осветилось, как будто метеором, и мы услышали глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, взорвана была на воздух; в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили несколько казаков.

Вот все, что в то время успел я увидеть. Вечером я узнал, что в сем сражении разбит сераскир арзумский, шедший на присо-

единение к Гаки-паше с тридцатью тысячами войска. Сераскир бежал к Арзруму; войско его, переброшенное за Саган-лу, было рассеяно, артиллерия взята, и Гаки-паша один оставался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему время распорядиться.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сражение с Гаки-пашою. Смерть татарского бека. Гермафродит. Пленный паша. Аракс. Мост пастуха. Гассан-Кале. Горячий источник. Подход к Арзруму. Переговоры. Взятие Арзрума. Турецкие пленники. Дервиш.

На другой день в пятом часу лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки, встретил я графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня. «Etes vous fatigué de la journée d'hier?» — «Mais un peu, m. le Comte». — «J'en suis fâché pour vous, car nous allons faire encore une marche pour joindre le Pacha, et puis il faudra poursuivre l'ennemi encore une trentaine de verstes»¹.

Мы тронулись и к восьми часам пришли на возвышение, с которого лагерь Гаки-паши виден был как на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всех своих батарей. Между тем в лагере их заметно было большое движение. Усталость и утренний жар заставили многих из нас слезть с лошадей и лечь на свежую траву. Я опутал поводья около руки и сладко заснул, в ожидании приказа идти вперед. Через четверть часа меня разбудили. Все было в движении. С одной стороны колонны шли на турецкий лагерь; с другой — конница готовилась преследовать неприятеля. Я поехал было за Нижегородским полком, но лошадь моя хромала. Я отстал. Мимо меня пронесся Уланский полк. Потом Вольховский проскакал с тремя пушками. Я очутился один в лесистых горах. Мне попался навстречу драгун, который объявил, что лес наполнен неприятелем. Я воротился. Я встретил генерала Муравьева с пехотным полком. Он отрядил одну роту в лес, дабы его очистить. Подъезжая к лощине, увидел я необыкновенную картину. Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненный смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умиравший бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга. В лощине собрано было человек пятьсот пленных. Несколько раненых турков подзывали меня знаками, вероятно принимая меня за лекаря и требуя помощи, которую я не мог им подать. Из лесу вышел турок, зажимая свою рану окровавленную тряпкою. Солдаты подошли к

¹ Вы не устали после вчерашнего? — Немножко, г. граф. — Мне за вас досадно, потому что нам предстоит еще один переход, чтобы нагнать пашу, а затем придется преследовать неприятеля еще верст тридцать (*франц.*).

нему с намерением его приколоть, может быть из человеколюбия. Но это слишком меня возмутило; я заступился за бедного турку и насилию привел его, изнеможенного и истекающего кровию, к кучке его товарищей. При них был полковник Анреп. Он курил дружелюбно из их трубок, несмотря на то, что были слухи о чуме, будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели, спокойно разговаривая между собою. Почти все были молодые люди. Отдохнув, пустились мы далее. По всей дороге валялись тела. Верстах в пятнадцати нашел я Нижегородский полк, остановившийся на берегу речки посреди скал. Преследование продолжалось еще несколько часов. К вечеру пришли мы в долину, окруженную густым лесом, и наконец мог я выспаться вволю, проскакав в эти два дня более осьмидесяти верст.

На другой день войска, преследовавшие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь. Тут узнали мы, что между пленниками находился гермафродит. Раевский по просьбе моей велел его привести. Я увидел высокого, довольно толстого мужа с лицом старой курносы чухонки. Мы осмотрели его в присутствии лекаря. *Erat vir, mammosus ut femina, habebat t. non evolutos, p. que parvum et puerilem. Quaerebamus, sit ne exsectus? — Deus, respondit, castravit me*¹. Сия болезнь, известная Иппократу, по свидетельству путешественников, встречается часто у кочующих татар и у турков. *Хосс* есть турецкое название сим мнимым гермафродитам.

Войско наше стояло в турецком лагере, взятом накануне. Палатка графа Паскевича стояла близ зеленого шатра Гаки-паши, взятого в плен нашими казаками. Я пошел к нему и нашел его окруженного нашими офицерами. Он сидел, поджав под себя ноги и куря трубку. Он казался лет сорока. Важность и глубокое спокойствие изображалось на прекрасном лице его. Отдавшись в плен, он просил, чтоб ему дали чашку кофию и чтоб его избавили от вопросов.

Мы стояли в долине. Снежные и лесистые горы Саган-лу были уже за нами. Мы пошли вперед, не встречая нигде неприятеля. Селения были пусты. Окрестная сторона печальна. Мы увидели Аракс, быстро текущий в каменистых берегах своих. В пятнадцати верстах от Гассан-Кале находится мост, прекрасно и смело выстроенный на семи неравных сводах. Предание приписывает его построение разбогатевшему пастуху, умершему пустынным на высоте холма, где донныне показывают его могилу, осененную двумя пустынными соснами. Соседние поселяне стекаются к ней на поклонение. Мост называется *Чабан-Кэпри* (мост пастуха). Дорога в Тебриз лежит через него.

¹ Это был мужчина с женской грудью, зачаточными половыми железами и органом маленьким и детским. Мы спросили его, не был ли он оскоплен. — Бог, отвечал он, кастрировал меня (*лат.*).

В нескольких шагах от моста посетил я темные развалины караван-сарая. Я не нашел в нем никого, кроме большого осла, вероятно брошенного здесь бегущими поселянами.

24 июня утром пошли мы к Гассан-Кале, древней крепости, накануне занятой князем Бековичем. Она была в пятнадцати верстах от места нашего ночлега. Длинные переходы утомили меня. Я надеялся отдохнуть; но вышло иначе.

Перед выступлением конницы явились в наш лагерь армяне, живущие в горах, требуя защиты от турков, которые три дня тому назад отогнали их скот. Полковник Анреп, хорошо не разобрав, чего они хотели, вообразил, что турецкий отряд находился в горах, и с одним эскадроном Уланского полка поскакал в сторону, дав знать Раевскому, что три тысячи турков находятся в горах. Раевский отправился вслед за ним, дабы подкрепить его в случае опасности. Я почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку и с великою досадою поскакал на освобождение армян. Проехав верст двадцать, въехали мы в деревню и увидели несколько оставшихся уланов, которые, спешась, с обнаженными саблями, преследовали нескольких кур. Здесь один из поселян растолковал Раевскому, что дело шло о трех тысячах волов, три дня назад отогнанных турками и которых весьма легко будет догнать дня через два. Раевский приказал уланам прекратить преследование кур и послал полковнику Анрепу повеление воротиться. Мы поехали обратно и, выбравшись из гор, прибыли под Гассан-Кале. Но таким образом дали мы сорок верст крюку, дабы спасти жизнь нескольким армянским курицам, что вовсе не казалось мне забавным.

Гассан-Кале почитается ключом Арзрума. Город выстроен у подошвы скалы, увенчанной крепостью. В нем находилось до ста армянских семейств. Лагерь наш стоял в широкой равнине, расстилающейся перед крепостию. Тут посетил я круглое каменное строение, в коем находился горячий железо-серный источник.

Круглый бассейн имеет сажени три в диаметре. Я переплыл его два раза и вдруг, почувствовав головокружение и тошноту, едва имел силу выйти на каменный край источника. Эти воды славятся на востоке, но, не имея порядочных лекарей, жители пользуются ими наобум и, вероятно, без большого успеха.

Под стенами Гассан-Кале течет речка Мурц; берега ее покрыты железными источниками, которые бьют из-под камней и стекают в реку. Они не столь приятны вкусу, как кавказский нарзан, и отзываются медью.

25 июня, в день рождения государя императора, в лагере нашем под стенами крепости полки отслушали молебен. За обедом у графа Паскевича, когда пили здоровье государя, граф объявил поход к Арзруму. В пять часов вечера войско уже выступило.

26 июня мы стали в горах в пяти верстах от Арзрума. Горы эти называются *Ак-даг* (белые горы); они меловые; белая, язвительная пыль ела нам глаза; грустный вид их наводил тоску. Близость Арзрума и уверенность в окончании похода утешала нас.

Вечером граф Паскевич ездил осматривать местоположение. Турецкие наездники, целый день кружившиеся перед нашими пикетами, начали по нем стрелять. Граф несколько раз погрозил им нагайкою, не преставая рассуждать с генералом Муравьевым. На их выстрелы не отвечали.

Между тем в Арзруме происходило большое смятение. Сераскир, прибежавший в город после своего поражения, распустил слух о совершенном разбитии русских. Вслед за ним отпущенные пленники доставили жителям воззвание графа Паскевича. Беглецы уличили сераскира во лжи. Вскоре узнали о быстром приближении русских. Народ стал говорить о сдаче. Сераскир и войско думали защищаться. Произошел мятеж. Несколько франков были убиты озлобленной чернью.

В лагерь наш (26-го утром) явились депутаты от народа и сераскира; день прошел в переговорах; в пять часов вечера депутаты отправились в Арзрум, и с ними генерал князь Бекович, хорошо знающий азиатские языки и обычаи.

На другой день утром войско наше двинулось вперед. С восточной стороны Арзрума, на высоте Топ-дага, находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою. Турки бежали, и Топ-даг был занят. Я приехал туда с поэтом Юзефовичем. На оставленной батарее нашли мы графа Паскевича со всею его свитою. С высоты горы в лощине открывался взору Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую. Граф был верхом. Перед ним на земле сидели турецкие депутаты, приехавшие с ключами города. Но в Арзруме заметно было волнение. Вдруг на городском валу мелькнул огонь, закурился дым, и ядра полетели к Топ-дагу. Несколько их пронесли над головою графа Паскевича; «*Voyez les Turcs*, — сказал он мне, — *on ne peut jamais se fier à eux*»¹. В сию минуту прискакал на Топ-даг князь Бекович, со вчерашнего дня находившийся в Арзруме на переговорах. Он объявил, что сераскир и народ давно согласны на сдачу, но что несколько непослушных арнаутов под предводительством Топчи-паши овладели городскими батареями и бунтуют. Генералы подъехали к графу, прося позволения заставить молчать турецкие батареи. Арзрумские сановники, сидевшие под огнем своих же пушек, повторили ту же просьбу. Граф несколько времени медлил; наконец дал повеление, сказав: «*Полно им дурачить*

¹ Смотрите, каковы турки... никогда нельзя им доверяться (*франц.*).

ся». Тотчас подвезли пушки, стали стрелять, и неприятельская пальба мало-помалу утихла. Полки наши пошли в Арзрум, и 27 июня, в годовщину полтавского сражения, в шесть часов вечера русское знамя развилось над арзрумской цитаделию.

Раевский поехал в город — я отправился с ним; мы въехали в город, представлявший удивительную картину. Турки с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас. Армяне шумно толпились в тесных улицах. Их мальчишки бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя: «Християн! Християн!..» Мы подъехали к крепости, куда входила наша артиллерия; с крайним изумлением встретил я тут моего Артемия, уже разъезжающего по городу, несмотря на строгое предписание никому из лагеря не отлучаться без особенного позволения.

Улицы города тесны и кривы. Дома довольно высоки. Народу множество — лавки были заперты. Пробыв в городе часа с два, я возвратился в лагерь: сераскир и четверо пашей, взятые в плен, находились уже тут. Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостию говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит на равне с властелинами земли и ему поклоняются».

Восточное приветствие пащи всем нам очень полюбилось. Я пошел взглянуть на сераскира. При входе в его палатку встретил я его любимого пажа, черноглазого мальчика лет четырнадцати, в богатой арнаутской одежде. Сераскир, седой старик, наружности самой обыкновенной, сидел в глубоком унынии. Около него была толпа наших офицеров. Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (*outré*¹) за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилиу отогнали.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Арзрум. Азиатская роскошь. Климат. Кладбище. Сатирические стихи. Сераскирский дворец. Харем турецкого паши. Чума. Смерть Бурцова. Выезд из Арзрума. Обратный путь. Русский журнал.

Арзрум (неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 году, во время Феодосия Второго, и назван

¹ Бурдюком (*франц.*).

Феодосиополем. Никакого исторического воспоминания не соединяется с его именем. Я знал о нем только то, что здесь, по свидетельству Гаджи-Бабы, поднесены были персидскому послу, в удовлетворение какой-то обиды, телячьи уши вместо человеческих.

Арзрум почитается главным городом в Азиатской Турции. В нем считалось до ста тысяч жителей, но, кажется, число сие слишком увеличено. Дома в нем каменные, кровли покрыты дерном, что дает городу чрезвычайно странный вид, если смотришь на него с высоты.

Главная сухопутная торговля между Европою и Востоком производится через Арзрум. Но товаров в нем продается мало; их здесь не выкладывают, что заметил и Турнфор, пишущий, что в Арзруме больной может умереть за невозможности достать ложку ревеня, между тем как целые мешки оного находятся в городе.

Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов «азиатская роскошь». Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставя голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне можно сказать «азиатская бедность», «азиатское свинство» и проч., но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии.

Климат арзрумский суров. Город выстроен в долине, возвышающейся над морем на семь тысяч футов. Горы, окружающие его, покрыты снегом большую часть года. Земля безлесна, но плодоносна. Она орошена множеством источников и отовсюду пересечена водопроводами. Арзрум славится своею водою. Евфрат течет в трех верстах от города. Но фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалются. Лес доставляется из Саган-лу.

В Арзрумском арсенале нашли множество старинного оружия, шлемов, лат, сабель, ржавеющих, вероятно, еще со времен Годфреда. Мечети низки и темны. За городом находится кладбище. Памятники состоят обыкновенно в столбах, украшенных каменною чалмою. Гробницы двух или трех пашей отличаются большей затейливостию, но в них нет ничего изящного: никакого вкуса, никакой мысли... Один путешественник пишет, что из всех азиатских городов в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены.

Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войско носит еще свой живописный восточный наряд. Меж-

ду Арзрумом и Константинополем существует соперничество, как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу.

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут — и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.

Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил.
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.

В нем веры чистый жар потух,
В нем жены по кладбищам ходят,
На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят,
И спит подкупленный евнух.

Но не таков Арзрум нагорный;
Многодорожный наш Арзрум;
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черпем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.

Постимся мы: струею трезвой
Святые воды нас поят,
Толпой бестрепетной и резвой
Джигиты наши в бой летят.
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны,
И смирно жены там сидят.

Я жил в сераскировом дворце в комнатах, где находился харем. Целый день бродил я по бесчисленным переходам, из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, с лестницы на лестницу. Дворец казался разграбленным; сераскир, предполагая бежать, вывез из него что только мог. Диваны были ободраны, ковры сняты. Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря.) Это мне надоело, я готов был отвечать им тем же. Вечера проводил я с умным и любезным Сухоруковым; сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных предположениях, о своих исторических изысканиях, некогда начатых им с

такую ревностью и удачей. Ограниченность его желаний и требований поистине трогательна. Жаль, если они не будут исполнены.

Дворец сераскира представлял картину вечно оживленную: там, где угрюмый паша молчаливо курил среди своих жен и бесчестных отроков, там его победитель получал донесения о победах своих генералов, раздавал пашалыки, разговаривал о новых романах. Мушский паша приезжал к графу Паскевичу просить у него места своего племянника. Ходя по дворцу, важный турок остановился в одной из комнат, с живостью проговорил несколько слов и впал потом в задумчивость: в этой самой комнате обезглавлен был его отец по повелению сераскира. Вот впечатления настоящие восточные! Славный Бей-булат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений, возмутившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бей-булат, мужчина лет тридцати пяти, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит или притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду.

Осман-паша, взятый в плен под Арзрумом и отправленный в Тифлис вместе с сераскиром, просил графа Паскевича за безопасность харема, им оставляемого в Арзруме. В первые дни об нем было забыли. Однажды за обедом, разговаривая о тишине мусульманского города, занятого десятью тысячами войска и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата, граф вспомнил о хареме Османа-паши и приказал г. А. съездить в дом паши и спросить у его жен, довольны ли они и не было ли им какой-нибудь обиды. Я просил позволения сопровождать г. А. Мы отправились. Г-н А. взял с собою в переводчики русского офицера, коего история любопытна. Осьмнадцати лет попался он в плен к персиянам. Его скопили, и он более двадцати лет служил евнухом в хареме одного из сыновей шаха. Он рассказывал о своем несчастье, о пребывании в Персии с трогательным простодушием. В физиологическом отношении показания его были драгоценны.

Мы пришли к дому Османа-паши; нас ввели в открытую комнату, убранную очень порядочно, даже со вкусом, — на цветных окнах начертаны были надписи, взятые из Корана. Одна из них показалась мне очень замысловата для мусульманского гарема: *тебе подобает связывать и развязывать*. Нам поднесли кофию в чашечках, оправленных в серебре. Старик с белой почтенной бородою, отец Османа-паши, пришел от имени жен благодарить графа Паскевича, — но г. А. сказал наотрез, что он послан к женам Османа-паши и хочет их видеть, дабы от них самих удостовериться, что они в отсутствие супруга всем довольны. Едва

персидский пленник успел все это перевести, как старик, в знак негодования, защелкал языком и объявил, что никак не может согласиться на наше требование и что если паша, по своем возвращении, проведает, что чужие мужчины видели его жен, то и ему, старику, и всем служителям харема велит отрубить голову. Прислужники, между коими не было ни одного евнуха, подтвердили слова старика, но г. А. был непоколебим. «Вы боитесь своего паши, — сказал он им, — а я своего сераскира и не смею слушаться его приказаний». — Делать было нечего. Нас повели через сад, где били два тощие фонтана. Мы приблизились к маленькому каменному строению. Старик стал между нами и дверью, осторожно ее отпер, не выпуская из рук задвижки, и мы увидели женщину, с головы до желтых туфель покрытую белой чадрую. Наш переводчик повторил ей вопрос: мы услышали шамканье семидесятилетней старухи; г. А. прервал ее: «Это мать паши, — сказал он, — а я прислан к женам, приведите одну из них»; все изумились догадке гяуров: старуха ушла и через минуту возвратилась с женщиной, покрытой так же, как и она, — из-под покрывала раздался молодой приятный голосок. Она благодарила графа за его внимание к бедным вдовам и хвалила обхождение русских. Г-н А. имел искусство вступить с нею в дальнейший разговор. Я между тем, глядя около себя, увидел вдруг над самой дверью круглое окошко и в этом круглом окошке пять или шесть круглых голов с черными любопытными глазами. Я хотел было сообщить о своем открытии г. А., но головки закивали, замигали, и несколько пальчиков стали мне грозить, давая знать, чтоб я молчал. Я повиновался и не поделился моею находкою. Все они были приятны лицом, но не было ни одной красавицы; та, которая разговаривала у двери с г. А., была, вероятно, повелительницею харема, сокровищницею сердец, розою любви — по крайней мере, я так воображал.

Наконец г. А. прекратил свои расспросы. Дверь затворилась. Лица в окошке исчезли. Мы осмотрели сад и дом и возвратились очень довольные своим посольством.

Таким образом видел я харем: это удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного романа.

Война казалась кончена. Я собирался в обратный путь. 14 июля пошел я в народную баню и не рад был жизни. Я проклинал нечистоту простынь, дурную прислугу и проч. Как можно сравнить бани арзрумские с тифлискими!

Возвращаясь во дворец, узнал я от Коновницына, стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решил оставить армию.

Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару. Оставаясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой очень недовольный своею прогулкою.

Любопытство, однако ж, превозмогло; на другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город.

19 июля, пришед проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцова, но это происшествие могло быть губительно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак, война возобновлялась! Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствия вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении. В тот же день я оставил Арзрум.

Я ехал обратно в Тифлис по дороге уже мне знакомой. Места, еще недавно оживленные присутствием пятнадцати тысяч войска, были молчаливы и печальны. Я переехал Саган-лу и едва мог узнать место, где стоял наш лагерь. В Гумрах выдержал я трехдневный карантин. Опять увидел я Безобдал и оставил возвышенные равнины холодной Армении для знойной Грузии. В Тифлис я прибыл 1-го августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах при звуке музыки и песен грузинских. Я отправился далее. Переезд мой через горы замечателен был для меня тем, что близ Коби ночью застала меня буря. Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище: белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками. Бешеная

Балка также явилась мне во всем своем величии: овраг, наполнившийся дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый Терек, тут же грозно ревавший. Берега были растерзаны; огромные камни сдвинуты были с места и загромождали поток. Множество осетинцев разработывали дорогу. Я переправился благополучно. Наконец я выехал из тесного ущелия на раздолье широких равнин Большой Кабарды. Во Владикавказе нашел я Дорохова и Пущина. Оба ехали на воды лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У Пущина на столе нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух. Пущин остановил меня, требуя, чтоб я читал с большим мимическим искусством. Надобно знать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики: это был разговор между дьячком, просвирней и корректором типографии, Здравомыслом этой маленькой комедии. Требование Пущина показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца.

Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве.

ОТРЫВОК
ИЗ НЕИЗДАННЫХ ЗАПИСОК
ДАМЫ
(1811 год)

Читая «Рославлева», с изумлением увидела я, что завязка его основана на истинном происшествии, слишком для меня известном. некогда я была другом несчастной женщины, выбранной г. Загоскиным в героини его повести. Он вновь обратил внимание публики на происшествие забытое, разбудил чувства негодования, усыпленные временем, и возмущил спокойствие могилы. Я буду защитницею тени, — и читатель извинит слабость пера моего, уважив сердечные мои побуждения. Буду принуждена много говорить о самой себе, потому что судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги.

Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Не стану описывать первых моих впечатлений. Легко можно себе вообразить, что должна была чувствовать шестнадцатилетняя девушка, променяв антресоли и учителей на беспрерывные балы. Я предавалась вихрю веселия со всею живостию моих лет и еще не размышляла... Жаль: тогдашнее время стоило наблюдения.

Между девицами, выехавшими вместе со мною, отличалась княжна** (г. Загоскин назвал ее Полиною, оставлю ей это имя). Мы скоро подружились вот по какому случаю.

Брат мой, двадцатидвухлетний малый, принадлежал сословию тогдашних франтов; он считался в Иностранной коллегии и жил в Москве, танцуя и повесничая. Он влюбился в Полину и упросил меня сблизить наши дома. Брат был идолом всего нашего семейства, а из меня делал, что хотел.

Сблизясь с Полиною из угождения к нему, вскоре я искренно к ней привязалась. В ней было много странного и еще более привлекательного. Я еще не понимала ее, а уже любила. Нечувствительно я стала смотреть ее глазами и думать ее мыслями.

Отец Полины был заслуженный человек, т.е. ездил цугом и носил ключ и звезду, впрочем был ветрен и прост. Мать ее была, напротив, женщина степенная и отличалась важностию и здравым смыслом.

Полина являлась везде; она окружена была поклонниками; с нею любезничали — но она скучала, и скука придавала ей вид гордости и холодности. Это чрезвычайно шло к ее греческому

лицу и к черным бровям. Я торжествовала, когда мои сатирические замечания наводили улыбку на это правильное и скучающее лицо.

Полина чрезвычайно много читала и без всякого разбора. Ключ от библиотеки отца ее был у ней. Библиотека большею частью состояла из сочинений писателей XVIII века. Французская словесность, от Монтескье до романов Кребийлона, была ей знакома. Руссо знала она наизусть. В библиотеке не было ни одной русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мне, что с трудом разбирала русскую печать, и, вероятно, ничего по-русски не читала, не исключая и стихшков, поднесенных ей московскими стихотворцами.

Здесь позволю себе маленькое отступление. Вот уже, слава богу, лет тридцать, как бранят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем и не умеем (будто бы) изъясняться на отечественном языке (NB. Автору «Юрия Милославского» грех повторять пошлые обвинения. Мы все прочли его, и, кажется, одной из нас обязан он и переводом своего романа на французский язык.) Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски; но словесность наша, кажется, не старше Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же ото всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только «Историю» Карамзина; первые два или три романа появились два или три года назад, между тем как во Франции, Англии и Германии книги одна другой замечательнее следуют одна за другой. Мы не видим даже и переводов; а если и видим, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для наших литераторов. Мы принуждены всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных; таким образом и мыслим мы на языке иностранном (по крайней мере, все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода). В этом признавались мне самые известные наши литераторы. Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похожи на жалобы русских торговков, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся произведениями костромских модисток. Обращаясь к моему предмету.

Воспоминания светской жизни обыкновенно слабы и ничтожны даже в эпоху историческую. Однако ж появление в Москве одной путешественницы оставило во мне глубокое впечатление. Эта путешественница — m-me de Staël¹. Она приехала летом, когда

¹ Госпожа де Сталь (франц.).

большая часть московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуетилось; не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались поглазеть на нее и были по большей части недовольны ею. Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки. Отец Полины, знавший m-me de Staël еще в Париже, дал ей обед, на который скликал всех наших московских умников. Тут увидела я сочинительницу «Корины». Она сидела на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги. Она казалась не в духе, несколько раз принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ели и пили в свою меру и, казалось, были гораздо более довольны ухю князя, нежели беседою m-me de Staël. Дамы чинились. Те и другие только изредка прерывали молчание, убежденные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие при европейской знаменитости. Во все время обеда Полина сидела как на иголках. Внимание гостей разделено было между осетром и m-me de Staël. Ждали от нее поминутно *bon mot*¹; наконец вырвалось у ней двусмыслие, и даже довольно смелое. Все подхватили его, захохотали, поднялся шепот удивления; князь был вне себя от радости. Я взглянула на Полину. Лицо ее пылало, и слезы показались на ее глазах. Гости встали из-за стола, совершенно примиренные с m-me de Staël: она сказала каламбур, который они поскакали развозить по городу.

«Что с тобою сделалось, *ma chère*²? — спросила я Полину, — неужели шутка, немножко вольная, могла до такой степени тебя смутить?» — «Ах, милая, — отвечала Полина, — я в отчаянии! Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщине! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимают, для которых блестящее замечание, сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла к увлекательному разговору высшей образованности. А здесь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замечательного слова в течение трех часов! Тупые лица, тупая важность — и только! Как ей было скучно! Как она казалась утомленною! Она увидела, чего им было надобно, что могли понять эти обезьяны просвещения, и кинула им каламбур. А они так и бросились! Я сгорела со стыда и готова была заплакать... Но пускай, — с жаром продолжала Полина, — пускай она вывезет об этой светской мелочи мнение, которого они достойны. По крайней мере, она видела наш добрый простой народ и понимает его.

¹ Остроты (франц.).

² Моя дорогая (франц.).

Ты слышала, что сказала она этому старому, несносному шуту, который из угождения к иностранке вздумал было смеяться над русскими бородами: „Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову“. Как она мила! Как я люблю ее! Как ненавижу ее гонителя!»

Не я одна заметила смущение Полины. Другие пронзительные глаза остановились на ней в ту же самую минуту: черные глаза самой m-me de Staël. Не знаю, что подумала она, но только она подошла после обеда к моей подруге и с нею разговорилась. Через несколько дней m-me de Staël написала ей следующую записку:

Ma chère enfant, je suis toute malade. Il serait bien aimable à vous de venir me ranimer. Tâchez de l'obtenir de m-me votre mère et veuillez lui présenter les respects de votre amie de S.¹

Эта записка хранится у меня. Никогда Полина не объясняла мне своих сношений с m-me de Staël, несмотря на все мое любопытство. Она была без памяти от славной женщины, столь же добродушной, как и гениальной.

До чего доводит охота к злословию! Недавно рассказывала я все это в одном очень порядочном обществе. «Может быть, — заметили мне, — m-me de Staël была не что иное, как шпион Наполеонов, а княжна** доставляла ей нужные сведения». — «Помилуйте, — сказала я, — m-me de Staël, десять лет гонимая Наполеоном, благородная, добрая m-me de Staël, насилу убежавшая под покровительство русского императора, m-me de Staël, друг Шатобриана и Байрона, m-me de Staël будет шпионом у Наполеона!..» — «Очень, очень может статься, — возразила востроносая графиня Б. — Наполеон был такая бестия, а m-me de Staël претонкая штука!»

С французского.

¹ Дорогое дитя мое, я совсем больна. С вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы зашли ко мне оживить меня. Постарайтесь получить на то позволение вашей матери и будьте добры передать ей почтительный привет от любящей вас де С. (франц.).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЕЛОВОМ АВТОГРАФЕ:

Все говорили о близкой войне и, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастью, заступники отечества были немного простоваты; они были осмеяны довольно забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществах, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнецкого моста и тому подобным. Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко.

Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились простонародные листки графа Раstopчина; народ ожесточился. Светские балагуры при-смилели; дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх, и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюр, кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни.

Полина не могла скрыть свое презрение, как прежде не скрывала своего негодования. Такая проворная перемена и трусость выводили ее из терпения. На бульваре, на Пресненских прудах она нарочно говорила по-французски; за столом в присутствии слуг нарочно оспаривала патриотическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности Наполеоновых войск, о его военном гении. Присутствующие бледнели, опасаясь доноса, и спешили укорить ее в приверженности ко врагу отечества. Полина презри-

тельно улыбалась. «Дай бог, — говорила она, — чтобы все русские любили свое отечество, как я его люблю». Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда взялась у ней такая смелость. «Помилуй, — сказала я однажды, — охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике; женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта». — Глаза ее засверкали. — «Стыдись, — сказала она, — разве женщины не имеют отечества? разве нет у них отцов, братьев, мужьев? Разве кровь русская для нас чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтоб нас на бале вертели в экосезах, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет, я знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное или даже на сердце хоть одного человека. Я не признаю уничижения, к которому присуждают нас. Посмотри на *m-me de Staël*: Наполеон боролся с нею, как с неприятельскою силой... И дядюшка смеет еще насмехаться над ее робостью при приближении французской армии! „Будьте покойны, сударыня: Наполеон воюет против России, не противу вас...“ Да! если б дядюшка попался в руки французам, то его бы пустили гулять по Пале-Роялю; но *m-me de Staël* в таком случае умерла бы в государственной темнице. А Шарлот Кордэ? а наша Марфа Посадница? а княгиня Д<ашкова>? чем я ниже их? Уж, верно, не смелостию души и решительностию». Я слушала Полину с изумлением. Никогда не подозревала я в ней такого жара, такого честолюбия. Увы! К чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый писатель: *Il n'est de bonheur que dans les voies communes*^{1*}.

Приезд государя усугубил общее волнение. Восторг патриотизма овладел наконец и высшим обществом. Гостиные превратились в палаты прений. Везде толковали о патриотических жертвованиях. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уже не такой завидный жених, но мы все были от него в восхищении. Полина бредила им. «Вы чем жертвуете?» — спросила она раз у моего брата. «Я не владею еще моим имением, — отвечал мой повеса. — У меня всего-навсе тридцать тысяч долгу: приношу их в жертву на алтарь отечества». Полина рассердилась. «Для некоторых людей, — сказала она, — и честь и отечество, все безделица. Братья их умирают на поле сражения, а они дурачатся в гостиных. Не знаю, найдется ли женщина, довольно низкая, чтоб позволить таким фиглярам

¹ Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах (франц.).

* Кажется, слова Шатобриана. Примеч. Изд.

притворяться перед нею в любви». Брат мой вспыхнул. «Вы слишком взыскательны, княжна, — возразил он. — Вы требуете, чтобы все видели в вас *m-me de Staël* и говорили бы вам тирады из „Корины“. Знайте, что кто шутит с женщиною, тот может не шутить перед лицом отечества и его неприятелей». С этим словом он отвернулся. Я думала, что они навсегда поссорились, но ошиблась: Полине понравилась дерзость моего брата, она простила ему неуместную шутку за благородный порыв негодования и, узнав через неделю, что он вступил в Мамоновский полк, сама просила, чтоб я их помирила. Брат был в восторге. Он тут же предложил ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила свадьбу до конца войны. На другой день брат мой отправился в армию.

Наполеон шел на Москву; наши отступали; Москва тревожилась. Жители ее выбирались один за другим. Князь и княгиня уговорили матушку вместе ехать в их ***скую деревню.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В ЧЕРНОВОМ АВТОГРАФЕ:

Мы приехали в **, огромное село в двадцати верстах от губернского города. Около нас было множество соседей, большую часть приезжих из Москвы. Всякий день все бывали вместе; наша деревенская жизнь походила на городскую. Письма из армии приходили почти каждый день, старушки искали на карте местечка *бивака* и сердились, не находя его. Полина занималась одною политикою, ничего не читала, кроме газет, растопчинских афишек, и не открывала ни одной книги. Окруженная людьми, коих понятия были ограничены, слыша постоянно суждения нелепые и новости неосновательные, она впала в глубокое уныние; томность овладела ее душою. Она отчаивалась в спасении отечества, казалось ей, что Россия быстро приближается к своему падению, всякая реляция усугубляла ее безнадежность, полицейские объявления графа Растопчина выводили ее из терпения. Шутливый слог их казался ей верхом неприличия, а меры, им принимаемые, варварством нестерпимым. Она не постигала мысли тогдашнего времени, столь великой в своем ужасе, мысли, которой смелое исполнение спасло Россию и освободило Европу. Целые часы проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая версты, следуя за быстрыми движениями войск. Странные мысли приходили ей в голову. Однажды она мне объявила о своем намерении уйти из деревни, явиться в французский лагерь, [добраться до Наполеона] и там убить его из своих рук. Мне не трудно

было убедить ее в безумстве такого предприятия — но мысль о Шарлоте Кордэ долго ее не оставляла.

Отец ее, как уже вам известно, был человек довольно легкомысленный; он только и думал, чтоб жить в деревне как можно более по-московскому. Давал обеды, завел *théâtre de société*¹, где разыгрывал французские *proverbes*² и всячески старался разнообразить наши удовольствия. В город прибыло несколько пленных офицеров. Князь обрадовался новым лицам и выпросил у губернатора позволение поместить их у себя...

Их было четверо — трое довольно незначащие люди, фанатически преданные Наполеону, нестерпимые крикуны, правда, выкупающие свою хвастливость почтенными своими ранами. Но четвертый был человек чрезвычайно примечательный.

Ему было тогда 26 лет. Он принадлежал хорошему дому. Лицо его было приятно. Тон очень хороший. Мы тотчас отличили его. Ласки принимал он с благородной скромностью. Он говорил мало, но речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно ей истолковать военные действия и движения войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег и столько же беспокоило [французов], как ожесточало русских. «Но вы, — спросила его Полина, — разве вы не убеждены в непобедимости вашего императора?» Сеникур (назову же и его именем, данным ему г-м Загоскиным) — Сеникур, несколько помолчав, отвечал, что в его положении откровенность была бы затруднительна. Полина настоятельно требовала ответа. Сеникур признался, что устремление французских войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход 1812 года, кажется, кончен, но не представляет ничего решительного. «Кончен! — возразила Полина, — а Наполеон все еще идет вперед, а мы все еще отступаем!» — «Тем хуже для нас», — отвечал Сеникур и заговорил о другом предмете.

Полина, которой надоели и трусливые предсказания, и глупое хвастовство наших соседей, жадно слушала суждения, основанные на знании дела и беспристрастии. От брата получала я письма, в которых толку невозможно было добиться. Они были наполнены шутками, умными и плохими, вопросами о Полине, пошлыми уверениями в любви и проч. Полина, читая их, досадовала и пожимала плечами. «Признайся, — говорила она, — что твой Алексей препустой человек. Даже в нынешних обстоятельствах, с полей сражений находит он способ писать ничего не значащие письма, какова же будет мне его беседа в течении тихой семейственной жизни?» Она ошибалась. Пустота братниных писем про-

¹ Домашний любительский театр (франц.).

² Пословицы (франц.).

исходила не от его собственного ничтожества, но от предрассудка, впрочем самого оскорбительного для нас: он полагал, что с женщинами должно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются. Такое мнение везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо. Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, чем мужчины, занятые бог знает чем.

Разнеслась весть о Бородинском сражении. Все толковали о нем; у всякого было свое самое верное известие, всякий имел список убитым и раненым. Брат нам не писал. Мы чрезвычайно были встревожены. Наконец один из развозителей всякой всячины приехал нас известить о его взятии в плен, а между тем пошепту объявил Полине о его смерти. Полина глубоко огорчилась. Она не была влюблена в моего брата и часто на него досадовала, но в эту минуту она в нем видела мученика, героя, и оплакивала втайне от меня. Несколько раз я застала ее в слезах. Это меня не удивляло, я знала, какое болезненное участие принимала она в судьбе страждущего нашего отечества. Я не подозревала, что было еще причиною ее горести.

Однажды утром гуляла я в саду; подле меня шел Сеникур; мы разговаривали о Полине. Я заметила, что он глубоко чувствовал ее необыкновенные качества и что ее красота сделала на него сильное впечатление. Я, смеясь, дала ему заметить, что положение его самое романтическое. В плену у неприятеля раненый рыцарь влюбляется в благородную владелицу замка, трогает ее сердце и наконец получает ее руку. «Нет, — сказал мне Сеникур, — княжна видит во мне врага России и никогда не согласится оставить свое отечество». В эту минуту Полина показалась в конце аллеи, мы пошли к ней навстречу. Она приближалась скорыми шагами. Бледность ее меня поразила.

«Москва взята», — сказала она мне, не отвечая на поклон Сеникура; сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Сеникур молчал, потупя глаза. «Благородные, просвещенные французы, — продолжала она голосом, дрожащим от негодования, — ознаменовали свое торжество достойным образом. Они зажгли Москву — Москва горит уже два дни». — «Что вы говорите, — кричал Сеникур, — не может быть». — «Дождитесь ночи, — отвечала она сухо, — может быть, увидите зарево». — «Боже мой! Он погиб, — сказал Сеникур, — как, разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону негде, нечем будет держаться, что он принужден будет скорее отступить сквозь разоренную, опустелую сторону при приближении зимы с войском расстроенным и недовольным! И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад! нет, нет, русские, русские зажгли Москву. Ужасное, варварское великодушие! Те-

перь все решено: ваше отечество вышло из опасности; но что будет с нами, что будет с нашим императором...»

Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться. «Неужели, — сказала она, — Сеникур прав и пожар Москвы наших рук дело? Если так... О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу».

Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. Я обняла ее, мы смешали слезы благородного восторга и жаркие моления за отечество. «Ты не знаешь? — сказала мне Полина с видом вдохновенным, — твой брат... он счастлив, он не в плену — радуйся: он убит за спасение России».

Я вскрикнула и упала без чувств в ее объятия...

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СВОЙСТВЕННИКОВ ИОАННЫ Д'АРК

В Лондоне, в прошлом 1836 году, умер некто г. Дюлис (Jean-François-Philippe-Dulys), потомок родного брата Иоанны д'Арк, славной Орлеанской девственницы. Г. Дюлис переселился в Англию в начале французской революции; он был женат на англичанке и не оставил по себе детей. По своей духовной назначил он по себе наследником родственника жены своей, Джемса Белли, книгопродавца эдимбургского. Между его бумагами найдены подлинные грамоты королей Карла VII, Генриха III и Людовика XIII, подтверждающие дворянство роду господ д'Арк Дюлис (d'Arc Dulys). Все сии грамоты проданы были с публичного торгу, за весьма дорогую цену, так же как и любопытный автограф: письмо Вольтера к отцу покойного господина Дюлиса.

По-видимому, Дюлис-отец был добрый дворянин, мало занимавшийся литературою. Однако ж около 1767 году дошло до него, что некто Mr de Voltaire¹ издал какое-то сочинение об орлеанской героине. Книга продавалась очень дорого. Г. Дюлис решил, однако ж, ее купить, полагая найти в ней достоверную историю славной своей прабабки. Он был изумлен самым неприятным образом, когда получил маленькую книжку *in-18*, напечатанную в Голландии и украшенную удивительными картинками. В первом пылу негодования написал он Вольтеру следующее письмо, с коего копия найдена также между бумагами покойника. (Письмо сие так же, как и ответ Вольтера, напечатано в журнале *Morning Chronicle*².)

Милостивый государь,

Недавно имел я случай приобрести, за шесть луидоров, написанную вами историю осады Орлеана в 1429 году. Это сочинение преисполнено не только грубых ошибок, непростительных для человека, знающего сколько-нибудь историю Франции, но еще и нелепою клеветою касательно короля Карла VII, Иоанны д'Арк, по прозванию Орлеанской девственницы, Агнесы Сорель, господ Латримулья, Лагира, Бодрикура и других

¹ Господин де Вольтер (франц.).

² «Утренняя хроника» (англ.).

благородных и знатных особ. Из приложенных копий с достоверных грамот, которые хранятся у меня в замке моем (Tournebu, bailliage de Chaumont en Touraine)¹, вы ясно увидите, что Иоанна д'Арк была родная сестра Луке д'Арк дю Ферону (Lucas d'Arc, seigneur du Feron)², от коего происхожу по прямой линии. А посему не только я полагаю себя вправе, но даже и ставлю себе в непрременную обязанность требовать от вас удовлетворения за дерзкие, злостные и живые показания, которые вы себе дозволили напечатать касательно вышеупомянутой девственницы. Итак, прошу вас, милостивый государь, дать мне знать о месте и времени, также и об оружии вами избираемом для немедленного окончания сего дела.

Честь имею и проч.

Несмотря на смешную сторону этого дела, Вольтер принял его не в шутку. Он испугался шуму, который мог бы из того произойти, а может быть и шпаги щекотливого дворянина, и тотчас прислал следующий ответ:

22 мая 1767.

Милостивый государь,

Письмо, которым вы меня удостоили, застало меня в постели, с которой не схожу вот уже около восьми месяцев. Кажется, вы не изволите знать, что я бедный старик, удрученный болезнями и горестями, а не один из тех храбрых рыцарей, от которых вы произошли. Могу вас уверить, что я никаким образом не участвовал в составлении глупой рифмованной хроники (l'impertinente chronique rimée), о которой изволите мне писать. Европа наводнена печатными глупостями, которые публика великодушно мне приписывает. Лет сорок тому назад случилось мне напечатать поэму под заглавием «Генриада». Исчисляя в ней героев, прославивших Францию, взял я на себя смелость обратиться к знаменитой вашей родственнице (votre illustre cousine) с следующими словами:

Et toi, brave Amazone,
La honte des anglais et le soutien du trône³.

Вот единственное место в моих сочинениях, где упомянуто о бессмертной героине, которая спасла Францию. Жалею, что я не посвятил слабого своего таланта на прославления божих чудес, вместо того чтобы трудиться для удовольствия публики бессмысленной и неблагодарной.

Честь имею быть, милостивый государь,
вашим покорнейшим слугою
Voltaire, gentilhomme de la chambre du roy⁴.

¹ Турнебю, округ Шамон в Турени (франц.).

² Лука д'Арк, владетель Ферона (франц.).

³ А ты, храбрая амазонка,
Позор англичанам и опора трона (франц.).

⁴ Вольтер, королевский камергер (франц.).

Английский журналист по поводу напечатания сей переписки делает следующие замечания:

«Судьба Иоанны д'Арк в отношении <к> ее отечеству поистине достойна изумления. Мы, конечно, должны разделить с французами стыд ее суда и казни. Но варварство англичан может еще быть извинено предрассудками века, ожесточением оскорбленной народной гордости, которая искренно приписала действию нечистой силы подвиг юной пастушки. Спрашивается, чем извинить малодушную неблагодарность французов? Конечно, не страхом дьявола, которого исстари они не боялись. По крайней мере, мы хоть что-нибудь да сделали для памяти славной девы; наш лауреат посвятил ей первые девственные порывы своего (еще не купленного) вдохновения. Англия дала пристанище последнему из ее сродников. Как же Франция постаралась загладить кровавое пятно, замаравшее самую меланхолическую страницу ее хроники? Правда, дворянство дано было родственникам Иоанны д'Арк; но их потомство пресмыкалось в неизвестности. Ни одного д'Арка или Дюлиса не видно при дворе французских королей от Карла VII до самого Карла X. Новейшая история не представляет предмета более трогательного, более поэтического жизни и смерти орлеанской героини; что же сделал из того Вольтер, сей достойный представитель своего народа? Раз в жизни случилось ему быть истинно поэтом, и вот на что употребляет он вдохновение! Он сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра, и, как пьяный дикарь, пляшет около своего потешного огня. Он, как римский палач, присовокупляет поругание к смертным мучениям девы. Поэма лауреата не стоит, конечно, поэмы Вольтера в отношении силы вымысла, но творение Соуте есть подвиг честного человека и плод благородного восторга. Заметим, что Вольтер, окруженный во Франции врагами и завистниками, на каждом своем шагу подвергавшийся самым ядовитым порицаниям, почти не нашел обвинителей, когда явилась его преступная поэма. Самые ожесточенные враги его были обезоружены. Все с восторгом приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени кинизма. Никто не вздумал заступиться за честь своего отечества; и вызов доброго и честного Дюлиса, если бы стал тогда известен, возбудил бы неистощимый хохот не только в философических гостиных барона д'Ольбаха и M-me Jeoffrin, но и в старинных залах потомков Лагира и Латримулья. Жалкий век! жалкий народ!».

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

**АРАП
ПЕТРА ВЕЛИКОГО**

ГЛАВА I

< Я в Париже;
Я начал жить, а не дышать.
Д<митриев>.
Журнал путешественника. >

В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим. Он обучался в парижском Военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненый, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не престаивал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предложениями, то раною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здоровье, благодарил за ревность к учению и, крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления.

По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностью двора, важностью и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, а частью, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен. На ту пору явился Laws; алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей.

Между тем общества представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность, все, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностию. Литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени.

Temps fortuné, marqué par la licence,
Où la folie, agitant son grelot,
D'un pied léger parcourt toute la France,
Où nul mortel ne daigne être dévot,
Où l'on fait tout excepté pénitence¹.

Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le Nègre du czar² и ловили его наперехват; регент приглашал его не раз на свои веселые вечера; он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостию Аруэта и старостию Шолье, разговорами Монтеस्कьё и Фонтенеля; не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления и предавался общему вихрю со всею пылкостию своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту Петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.

Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. Семнадцати лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключеньи. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами.

¹ Счастливое время, отмеченное вольностью нравов,
Когда безумие, звеня своей погремушкой,
Легкими стопами обегает всю Францию,
Когда ни один из смертных не изволит быть богомольным,
Когда готовы на все, кроме покаяния (франц.).

² Царского негра (франц.).

Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания: это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием.

Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. Разговор его был прост и важен; он понравился графине D., которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудренных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову и вместо парика носил повязку.) Ему было двадцать семь лет от роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости.

Любовь не приходила ему на ум, а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостию неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения. В присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи; без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность. Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительное замечание постороннего. Любовь слепа и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору. Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой женщиной доселе не представлялась его воображению; надежда вдруг озарила его душу; он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная исступлению его страсти, хотела противопоставить ей увещания дружбы и советы благоразумия, она

сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро следовали одно за другим. И наконец, увлеченная силою страсти, ею же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она отдалась восхищенному Ибрагиму...

Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Новая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от подобных нападений; он выносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не могла хладнокровно видеть себя предметом сплетней и насмешек. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не погубить ее совершенно.

Новое обстоятельство еще более запутало ее положение. Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешения, советы, предложения — все было истощено и все отвергнуто. Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее.

Как скоро положение графини стало известно, толки начались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужаса; мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого ли или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не подозревал.

Роковая минута приближалась. Состояние графини было ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы, ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал. Дня два перед сим уговорили одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного своего младенца; за ним послали поверенного. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенанья, шепот служанки и приказанья доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирает его душу; каждый промежуток молчания обливает его ужасом... вдруг он услышал слабый крик ребенка и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини. Черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Ибрагим к нему приблизился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку... но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, оттащил Ибра-

гима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием.

Все вошло в обыкновенный порядок, но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться и что связь его рано или поздно могла дойти до сведения графа D. В таком случае, что бы ни произошло, гибель графини была неизбежна. Он любил страстно и так же был любим; но графиня была своенравна и легкомысленна. Она любила не в первый раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлаждения; доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал; он воображал, что страдания разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывали его и Петр и темное чувство собственного долга.

ГЛАВА II

Дни, месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им оболыщенную женщину. Графиня час от часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться большим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.

Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра Первого. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. «Подумайте о том, что делаете, — сказал ему герцог, — Россия не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долговременное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой

России. Вы не родились подданным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь его великодушным позволением. Оставайтесь во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения». Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении. «Жалею, — сказал ему регент, — но, впрочем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю.

Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он, по обыкновению, вечер у графини D. Она ничего не знала; Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались. Остались в гостинной графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный отдал бы все на свете, чтоб только остаться с нею наедине; но граф D., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молчали. «*Voilà nuit*»,¹ — сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «*Voilà nuit, messieurs*»,² — повторила графиня. Он все не двигался... наконец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо:

«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобою объясниться.

Частье мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченною нежностью... Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории: его холодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу, и ты наконец устыдилась бы своей страсти... что было б тогда со мною? Нет! лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты...

Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни все, что ты вытерпела, все оскорбления самолюбия, все мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай: должен ли я подвергать тебя долее тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрас-

¹ Доброй ночи (франц.).

² Доброй ночи, господа (франц.).

ного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?

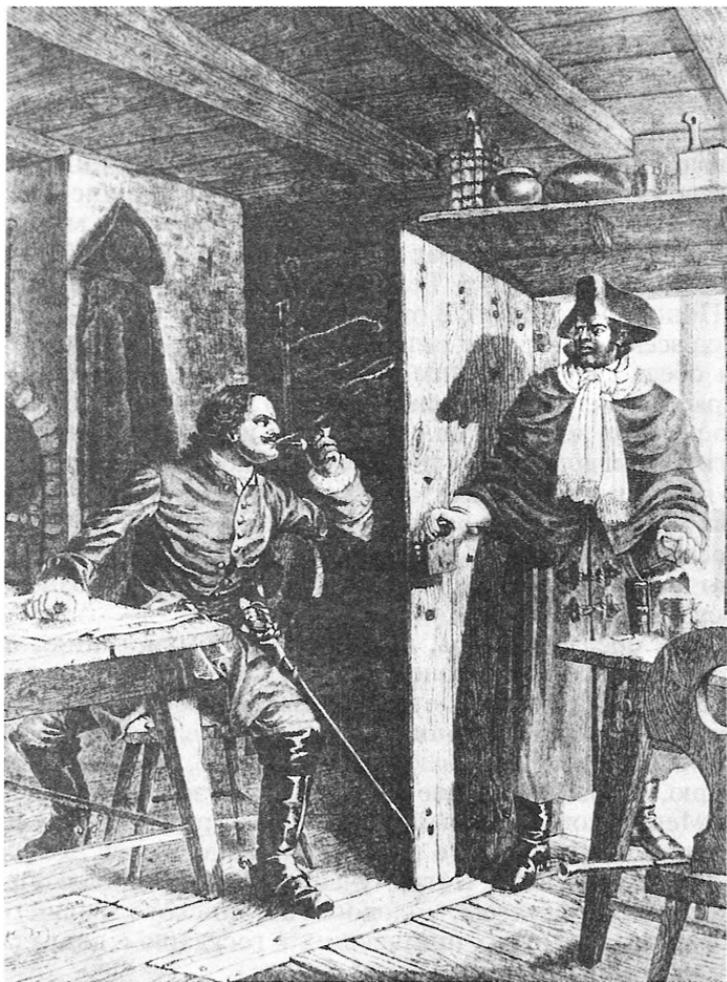
Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат, то по крайней мере будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства... Прости, Леонора, отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости, будь счастлива — и думай иногда о бедном негре, о твоём верном Ибрагиме».

В ту же ночь он отправился в Россию.

Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенно-стию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.

Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала. Но ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротою ветра, и в семнадцатый день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез которое шла тогдашняя большая дорога.

Оставалось двадцать восемь верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим! — закричал он, вставая с лавки. — Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоём приезде, — сказал Петр, — и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же, — продолжал государь, — твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали государеву коляску; он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Чрез полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над сопротивлением стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого Царицына сада. На крыльце встретила Петра жен-



40
Иллюстрация Р. Ф. Штейна
Ксилография
1899

щина лет тридцати пяти, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. Петр поцеловал ее в губы и, взяв Ибрагима за руку, сказал: «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника: прошу любить и жаловать его по-прежнему». Екатерина устремила на него черные, пронизательные глаза и благосклонно протянула ему свою ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие как розы, стояли за нею и почтительно приблизились к Петру. «Лиза, — сказал он одной из них, — помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? вот он: представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о Испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным; Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного преобразователя России.

После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своеобразные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных к государю, собрались во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра; ученого Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом; молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других пришедших к государю с докладами и за приказааниями.

Государь вышел часа через два. «Посмотрим, — сказал он Ибрагиму, — не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску да ступай за мною». Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончании трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, все ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбужу».

Ибрагим, оставшись наедине, мог едва опомниться. Он находился в Петербурге; он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня D., в первый раз после разлуки, не была во весь день единственной его мыслию. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностью и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сем расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж, в объятия милой графини.

ГЛАВА III

На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякий по-своему стараясь обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку. Шереметев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать. Сему последнему примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил приглашений по крайней мере на целый месяц.

Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные — следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видал Петра в Сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в Адмиралтейской коллегии утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о графине D., воображал ее

справедливое негодование, слезы и уныние... но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец — он содрогался; ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу.

Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке; Ибрагим с живостию оборотился, и молодой Корсаков, которого он оставил в Париже, в вихре большого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я сейчас только приехал, — сказал Корсаков, — и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жалеют о твоем отсутствии; графиня D. велела звать тебя непременно, и вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить своим глазам. «Как я рад, — продолжал Корсаков, — что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге! что здесь делают, чем занимаются? кто твой портной? заведеша ли у вас хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, государь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков засмеялся. «Вижу, — сказал он, — что тебе теперь не до меня; в другое время наговоримся досыта; еду представляться государю». С этим словом он перевернулся на одной ножке и выбежал из комнаты.

Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и неверности. «Ты говоришь, — писала она, — что мое спокойствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим! если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что считаешь ты своим долгом». Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь.

Ибрагим двадцать раз перечел это письмо, с восторгом целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь об графине и собрался ехать в адмиралтейство, надеясь там застать еще Корсакова, но дверь отворилась, и сам Корсаков явился опять; он уже представлялся государю — и по своему обыкновению казался очень собою доволен. «Entre nous¹, — сказал он Ибрагиму, — государь престранный человек; вообрази, что я застал его в какой-то холстяной фуфайке, на мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял

¹ Между нами (франц.).

на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтоб сделать приличный реверанс, и совершенно замешался, что отроду со мною не случалось. Однако ж государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно поражен вкусом и щегольством моего наряда; по крайней мере он улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенный чужестранец, во время шестилетнего отсутствия я вовсе позабыл здешние обыкновения, пожалуйста будь моим Ментором, заезжай за мной и представь меня». Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету, более для него занимательному. «Ну, что графиня D.?» — «Графиня? она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь кого? длинного маркиза R.; что же ты вытаращил свои арапские белки? или все это кажется тебе странным? разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской? подумай об этом хорошенько, а я пойду, отдохну с дороги, не забудь же за мною заехать».

Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бешенство? отчаяние? нет; но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: это я предвидел; это должно было случиться. Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым.

Корсаков сидел в шляфорке, читая французскую книгу. «Так рано?» — сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй, — отвечал тот, — уже половина шестого; мы опоздаем; скорей одевайся и поедем». Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи, люди сбежались; он стал поспешно одеваться. Француз камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый блестками; в передней наскоро пудрили парик, его принесли. Корсаков всунул в него стриженую головку, потребовал шпагу и перчатки, раз десять перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежьи шубы, и они поехали в зимний дворец.

Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая красавица? кто славится первым танцовщиком? какой танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымаг и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары,

пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ими общий шепот: арап, арап, царский арап! Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настичь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел... В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались взад и вперед при непрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошью моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимую стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием, присутствовали на сих нововведенных игрищах и с досадою косились на жен и дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и разговаривая как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. «Que diable est-ce que tout cela?»¹ — спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотой и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, насилу мог туда пробраться сквозь беспрепятственно движущуюся толпу. Там сидели большею частью иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубки и опорожняя глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахмагные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся. В это время толстый господин, с толстым букетом на груди, суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались, и тотчас ушел; за ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков.

¹ Что за чертовщина все это? (франц.).

Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо, и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, тарасил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть менуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостями одна в особенности ему понравилась. Ей было около шестнадцати лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на средину залы и важно сказал: «Государь мой, ты провинился: во-первых, подошед к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в менуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить *кубок большого орла*». Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услыша хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таких наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазией. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиноваться закону. «Ага, — сказал Петр, увидя Корсакова, — попался, брат! Изволь же, мосье, пить и не морщиться». Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Корсаков, — сказал ему Петр, — штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтоб я с тобой не побранился». Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из круга, но зашатался и чуть не упал, к неопisanному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками с большим усердием и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселии. Дама, им выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы

Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протанцевал с нею менуэт и отвел ее на прежнее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и повез домой. Дорогою Корсаков сначала невнятно лепетал: «Проклятая ассамблея!.. проклятый кубок большого орла!..», но вскоре заснул крепким сном, не чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили; и проснулся на другой день с головною болью, смутно помня шарканья, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок большого орла.

ГЛАВА IV

Нескоро ели предки наши,
Нескоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.

Руслан и Людмила.

Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту; дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин, по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины.

Дочери его было семнадцать лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, то есть окружена мамушками, нянюшками, подружками и сенными девушками, шила золотом и не знала грамоты; отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженный танцмейстер имел лет пятьдесят от роду, правая нога была у него прострелена под Нарвою и потому была не весьма способна к менуэтам и курантам, зато левая с удивительным искусством и легкостью выделывала самые трудные *па*. Ученица делала честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною проступку Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилою Афанасьевичем; но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно французской обезьяною.

День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего указами государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из обыкновения. Пошли за стол. На первом месте, подле хозяина, сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семидесятилетний боярин; прочие гости, наблюдая старшинство рода и тем поминая счастливые времена местничества, сели — мужчины по одной стороне, женщины по другой. На конце заняли свои привычные места: барская барыня в старинном шушуне и кичке; карлица, тридцатилетняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством блюд, был окружен светливой и многочисленной челядью, между которою отличался дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностью. Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведениям старинной нашей кухни; звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие. Наконец хозяин, видя, что время занять гостей приятною беседою, оборотился и спросил: «А где же Екимовна? Позвать ее сюда». Несколько слуг бросились было в разные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная и нарумяненная, убранная цветами и мишурою, в штофном робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие.

— Здравствуй, Екимовна, — сказал князь Лыков, — каково поживаешь?

— Подобру-поздорову, кум: поючи да пляшучи, женишков поджидаючи.

— Где ты была, дура? — спросил хозяин.

— Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру, по немецкому маниру.

При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на свое место, за стулом хозяина.

— А дура-то врет, врет, да и правду соврет, — сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважаемая. — Подлинно, нынешние наряды на смех всему миру. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего: а, право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц, и смех и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, наса-

лены, засыпаны французской мукою, животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы напялены на обручи: в колымагу садятся бочком; в двери входят — нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести — сущие мученицы, мои голубушки.

— Ох, матушка Татьяна Афанасьевна, — сказал Кирила Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе три тысячи душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам. — По мне жена как хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыханом; только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала новешенькие. Бывало, внучке в приданое доставался бабушкин сарафан, а нынешние робронды — поглядишь — сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? разорение русскому дворянству! беда, да и только. — При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностью молодой женщины.

— А кто виноват? — сказал Гаврила Афанасьевич, напняя кружку кислых щей. — Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся, а мы им потакаем.

— А что нам делать, коли не наша воля? — возразил Кирила Петрович. — Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею; муж за плетку, а жена за наряды. Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас ими господь за преступления наши.

Марья Ильинична сидела как на иголках; язык у нее так и свербел; наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кисленькой улыбкою, что находит он дурного в ассамблеях?

— А то в них дурно, — отвечал разгоряченный супруг, — что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены позабыли слово апостольское: *жена да убоится своего мужа*; хлопчут не о хозяйстве, а об обновах; не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам-вертопрахам. Да и прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышне находиться вместе с немцами-табачниками да с их работницами? Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? и добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми.

— Сказал бы словечко, да волк недалечко, — сказал, нахмурясь, Гаврила Афанасьевич, — а признаюсь — ассамблеи и мне не по нраву: того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль и самого на смех пьяным напойт. Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил чего с дочерью; а нынче молодежь так избалова-

лась, что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что привел меня в краску. На другой день, гляжу, катят ко мне прямо на двор; я думал, кого-то бог несет, уж не князя ли Александра Даниловича? Не тут-то было: Ивана Евграфовича! небось не мог остановиться у ворот да потрудиться пешком дойти до крыльца — куды! влетел! расшаркался, разболтался!.. Дура Екимовна уморительно его передразнивает; кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.

Дура Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла под мышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: «мусье... мамзель... ассамблея... пардон». Общий и продолжительный хохот снова изъяснил удовольствие гостей.

— Ни дать ни взять — Корсаков, — сказал старый князь Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие мало-помалу восстановилось. — А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из неметчины на святую Русь скomorом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать бог весть на каком наречии, не почитать старших да волочиться за чужими женами. Изю всех молодых людей, воспитанных в чужих краях (прости господи), царский арап всех более на человека походит.

— Конечно, — заметил Гаврила Афанасьевич, — человек он степенный и порядочный, не чета ветрогону... Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы что зеваете, скоты? — продолжал он, обращаясь к слугам, — бегите, отказать ему; да чтоб и впредь...

— Старая борода, не бредишь ли? — прервала дура Екимовна. — Али ты слеп: сани-то государевы, царь приехал.

Гаврила Афанасьевич встал поспешно из-за стола; все бросились к окнам; и в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра; слуги разбегались, как одурелые, гости перетрусились, иные даже думали, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался громозвучный голос Петра, все утихло, и царь вошел в сопровождении хозяина, оторопелого от радости. «Здорово, господа», — сказал Петр с веселым лицом. Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскивали в толпе молодую хозяйскую дочь; он подозревал ее. Наталья Гавриловна приблизилась довольно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плеча. «Ты час от часу хорошеешь», — сказал ей государь и по своему обыкновению поцеловал ее в голову; потом обратясь к гостям: — Что же? Я вам помешал. Вы обедали; прошу садиться опять, а мне, Гаврила Афанасьевич,

дай-ка анисовой водки». Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел подле хозяина и спросил себе щей. Государев денщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновою костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед, за минуту пред сим шумно оживленный веселием и говорливостию, продолжался в тишине и принужденности. Хозяин, из почтения и радости, ничего не ел, гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура Екимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какою-то робкой холодностию, что (замечу мимоходом) вовсе не доказывало природной ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и все гости. «Гаврила Афанасьевич! — сказал он хозяину. — Мне нужно с тобою поговорить наедине» — и, взяв его под руку, увел в гостиную и запер за собою дверь. Гости остались в столовой, шепотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали их тихонько до порогу и остались одни в столовой, ожидая выхода государева.

ГЛАВА V

Чрез полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклоением головы ответствовал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал.

Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич казался очень озабочен. Серdito приказал он слугам скорее собирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на старинные штофные кресла, придвинув под ноги скамеечку; Гаврила Афанасьевич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова и начал вполголоса следующий разговор:

— Недаром государь ко мне пожаловал; угадайте, о чем он изволил со мною беседовать?

— Как нам знать, батюшка-братец, — сказала Татьяна Афанасьевна.

— Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство? — сказал тесть. — Давно пора. Али предложил быть в посольстве? что же? ведь и знатных людей, не одних дьяков посылают к чужим государям.

— Нет, — отвечал зять, нахмураясь. — Я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна, хоть, может быть, православный русский дворянин сто́ит нынешних новичков, блинников да басурманов, — но это статья особая.

— Так о чем же, братец, — сказала Татьяна Афанасьевна, — изволил он так долго с тобою толковать? Уж не беда ли какая с тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!

— Беда не беда, а признаюсь, я было призадумался.

— Что же такое, братец? о чем дело?

— Дело о Наташе: царь приезжал ее сватать.

— Слава богу, — сказала Татьяна Афанасьевна, перекрестясь. — Девушка на выданье, а каков сват, таков и жених, — дай бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?

— Гм, — крикнул Гаврила Афанасьевич, — за кого? то-то, за кого.

— А за кого же? — повторил князь Лыков, начинавший уже дремать.

— Отгадайте, — сказал Гаврила Афанасьевич.

— Батюшка-братец, — отвечала старушка, — как нам угадать? мало ли женихов при дворе: всякий рад взять за себя твою Наташу. Долгорукий, что ли?

— Нет, не Долгорукий.

— Да и бог с ним: больно спесив. Шеин, Троекуров?

— Нет, ни тот ни другой.

— Да и мне они не по сердцу: ветрогоны, слишком понабрались немецкого духу. Ну так Милославский?

— Нет, не он.

— И бог с ним: богат да глуп. Что же? Елецкий? Львов? нет? Неужто Рагузинский? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого ж царь сватает Наташу?

— За арапа Ибрагима.

Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил: «За арапа Ибрагима!»

— Батюшка-братец, — сказала старушка слезливым голосом, — не погуби ты своего родимого дитя, не дай ты Наташеньки в когти черному диаволу.

— Но как же, — возразил Гаврила Афанасьевич, — отказать государю, который за то обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?

— Как, — воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел, — Наташу, внучку мою выдать за купленного арапа!

— Он роду не простого, — сказал Гаврила Афанасьевич, — он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и...

— Батюшка, Гаврила Афанасьевич, — перервала старушка, — слышали мы сказки про Бову-королевича да Еруслана Лазаревича. Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватанье.

— Я сказал, что власть его с нами, а наше холопые дело повиноваться ему во всем.

В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврила Афанасьевич пошел отворить ее, но, почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, дверь отворилась — и увидели Наташу, в обмороке простертую на окровавленном полу.

Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее, и когда Гаврила Афанасьевич отослал ее, объявив, что должен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться влечению женского любопытства, тихо через внутренние покои подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора; когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову о кованный сундук, где хранилось ее приданое.

Люди сбежались; Наташу подняли, понесли в ее светлицу и положили на кровать. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился, она твердила в бреду о царском арапе, о свадьбе — и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом: «Валериан, милый Валериан, жизнь моя! спаси меня: вот они, вот они!..» Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не могши взойти на лестницу, оставался внизу.

— Что Наташа? — спросил он.

— Худо, — отвечал огорченный отец. — хуже, чем я думал: она в беспмятстве бредит Валерианом.

— Кто это Валериан? — спросил встревоженный старик. — Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме?

— Он сам, — отвечал Гаврила Афанасьевич, — на беду мою, отец его во время бунта спас мне жизнь, и черт меня догадал принять в свой дом проклятого волчонка. Когда, тому два году, по

его просьбе, записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял как окаменелый. Мне показалось это подзрительным, и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не упоминала, а про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его забыла; ан, видно, нет. Решено: она выйдет за арапа.

Князь Лыков не противуречил: это было бы напрасно. Он поехал домой; Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной постели; Гаврила Афанасьевич, послав за лекарем, заперся в своей комнате, и в его доме все стало тихо и печально.

Неожиданное сватовство удивило Ибрагима по крайней мере столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случилось: Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему:

— Я замечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: чего тебе недостает? — Ибрагим уверил государя, что он доволен своей участию и лучшей не желает.

— Добро, — сказал государь, — если ты скучаешь безо всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить.

По окончанию работы Петр спросил Ибрагима:

— Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал минавет на прошедшей ассамблее?

— Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная и добрая.

— Так я ж тебя с нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?

— Я, государь?

— Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе пристроиться, пока есть еще время; найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством.

— Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай мне бог не пережить своего царя и благодетеля, более ничего не желаю; но если б и имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? моя наружность...

— Твоя наружность! какой вздор! чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей, а посмотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду твоим сватом? — При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления.

«Жениться! — думал африканец, — зачем же нет? ужели суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека потому только, что я родился под < ** > градусом? Мне нельзя надеяться быть любимым: детское возражение! разве можно верить любви? разве существует она в женском, легкомысленном сердце? Отка-

завшись навек от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения — более существенные. Государь прав: мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодою Ржевскою присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностию, а дружбу приобрету постоянной нежностию, доверенностию и снисхождением».

Ибрагим по своему обыкновению хотел заняться делом, но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бумаги и пошел бродить по невской набережной. Вдруг услышал он голос Петра; оглянулся и увидел государя, который, отпустив сани, шел за ним с веселым лицом. «Все, брат, кончено, — сказал Петр, взяв его под руку. — Я тебя сосватал. Завтра поезжай к своему тестю; но смотри, потешь его боярскую спесь; оставь сани у ворот; пройди через двор пешком; поговори с ним о его заслугах, о знатности — и он будет от тебя без памяти. А теперь, — продолжал он, потряхивая дубинкою, — заведи меня к плуту Данилычу, с которым надо мне перевестись за его новые проказы».

Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Меншикова и возвратился домой.

ГЛАВА VI

Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал один тишину светлицы.

— Кто здесь? — произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог. — Скоро ли рассветет? — спросила Наталья.

— Теперь уже полдень, — отвечала служанка.

— Ах боже мой, отчего же так темно?

— Окна закрыты, барышня.

— Дай же мне поскорее одеваться.

— Нельзя, барышня, дохтур не приказал.

— Разве я больна? давно ли?

— Вот уж две недели.

— Неужто? а мне казалось, будто я вчера только легла...

Наташа умолкла; она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с нею случилось, но что именно? не могла вспомнить.

Служанка все стояла перед нею, ожидая приказанья. В это время раздался снизу глухой шум.

— Что такое? — спросила больная.

— Господа откушали, — отвечала служанка, — встают из-за стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна.

Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула слабою рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрятку.

Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце с темными лентами, и спросили вполголоса:

— Что Наташа?

— Здравствуй, тетушка, — сказала тихо больная; и Татьяна Афанасьевна к ней поспешила.

— Барышня в памяти, — сказала служанка, осторожно при-двига я кресла.

Старушка со слезами поцеловала бледное, томное лицо племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец-лекарь, в черном кафтане и в ученом парике, вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по-латыни, а потом и по-русски, что опасность миновалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и уехал, а старушка встала, и, снова поцеловав Наталью, с доброю вестью тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу.

В гостиной, в мундире при шпаге, с шляпою в руках, сидел царский арап, почтительно разговаривая с Гаврилою Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку; наскуча сим занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки.

— Вас зовут, Гаврила Афанасьевич, — сказал Корсаков, обратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврила Афанасьевич тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь.

— Дивлюсь твоему терпению, — сказал Корсаков Ибрагиму. — Битый час слушаешь ты бредни о древности рода Лыковых и Ржевских и еще присовокупляешь к тому свои нравоучительные примечания! На твоём месте j'aurais planté là¹ старого враля и весь его род, включая тут же и Наталью Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, une petite santé...² Скажи по совести, ужели ты влюблен в эту маленькую mijaugée³? Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету; право, я благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажнюю мысль. Не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения.

¹ Я бы плюнул на (франц.).

² Слабенькой (франц.).

³ Жеманницу (франц.).

Мало ли что случается на свете? Например: я, конечно, собою не дурен, но случалось, однако ж, мне обманывать мужей, которые были, ей-богу, ничем не хуже моего. Ты сам... помнишь нашего парижского приятеля, графа D.? — Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто смотрит на это равнодушно! но ты!.. С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплюсненным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..

— Благодарю за дружеский совет, — перервал холодно Ибрагим, — но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей качать...

— Смотри, Ибрагим, — отвечал, смеясь, Корсаков, — чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле, в буквальном смысле.

Но разговор в другой комнате становился горяч.

— Ты уворишь ее, — говорила старушка. — Она не вынесет его виду.

— Но посуди ты сама, — возражал упрямый брат. — Вот уже две недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он наконец может подумать, что ее болезнь пустая выдумка, что мы ищем только как бы время продлить, чтоб как-нибудь от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так три раза присылал спросить о здоровье Натальи. Воля твоя — а я ссориться с ним не намерен.

— Господи боже мой, — сказала Татьяна Афанасьевна, — что с нею, бедною, будет? По крайней мере, пусти меня приготовить ее к такому посещению. — Гаврила Афанасьевич согласился и возвратился в гостиную.

— Слава богу, — сказал он Ибрагиму, — опасность миновалась. Наталье гораздо лучше; если б не совестно было оставить здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфовича, то я повел бы тебя вверх взглянуть на свою невесту.

Корсаков поздравил Гаврилу Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побегал в переднюю, не допуская хозяйина проводить себя.

Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошел в светлицу, она села, задыхаясь, у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слова, как дверь отворилась. Наташа спросила: кто пришел. — Старушка обмерла и онемела. Гаврила Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она? Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила все, весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа

не получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза... сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку.

Несчастливая красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицею. Но в ту же минуту круглая, старая крошка как шарик подкатилась к ее кровати. Ласточка (так прозывалась карлица) во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилою Афанасьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любопытству, сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку.

Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во все, знала все, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым управляла самовластно. Гаврила Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы и мелочные просьбы; Татьяна Афанасьевна поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами; а Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения шестнадцатилетнего своего сердца.

— Знаешь, Ласточка? — сказала она, — батюшка выдает меня за арапа.

Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более.

— Разве нет надежды, — продолжала Наташа, — разве батюшка не сжалится надо мною?

Карлица тряхнула чепчиком.

— Не заступятся ли за меня дедушка али тетушка?

— Нет, барышня. Арап во время твоей болезни всех успел заморозить. Барин от него без ума, князь только им и бредит, а Татьяна Афанасьевна говорит: жаль, что арап, а лучшего жениха грех нам и желать.

— Боже мой, боже мой! — простонала бедная Наташа.

— Не печалься, красавица наша, — сказала карлица, целуя ее слабую руку. — Если уж и быть тебе за арапом, то все же будешь на своей воле. Нынче не то, что в старину; мужья жен не запирают; арап, слышно, богат; дом у вас будет как полная чаша, заживешь припеваючи...

— Бедный Валериан, — сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.

— То-то, барышня, — сказала она, таинственно понизив голос, — кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б.

— Что? — сказала испуганная Наташа, — я бредила Валерианом, батюшка слышал, батюшка гневается!

— То-то и беда, — отвечала карлица. — Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает, что Валериан тому причиною. Делать нечего: уж покорись воле родительской, а что будет, то будет.

Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась: умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной душой покори-лась она своему жребию.

ГЛАВА VII

В доме Гаврилы Афанасьевича из сеней направо находилась тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница, треугольная шляпа; над нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картинка, изображающая Карла XII верхом. Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафорке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его юности. Посвятив целые два часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться.

В это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек высокого роста, в мундире, вошел в комнату.

Удивленный швед встал перед нечаянным гостем.

— Ты не узнал меня, Густав Адамыч, — сказал молодой посетитель тронутым голосом, — ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть <не> наделал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушечки.

Густав Адамыч пристально всматривался...

— Э-э-э, — вскричал он наконец, обнимая его, — сдарофо, тофно ли твой сдесь. Садись, твой тобрий повес, погофорим.

.

**РОМАН
В ПИСЬМАХ**

1. Лиза — Саше

Ты, конечно, милая Сашенька, удивилась нечаянному моему отъезду в деревню. Спешу объяснить во всем откровенно. Зависимость моего положения была всегда мне тягостна. Конечно, Авдотья Андреевна воспитывала меня на равне с своею племянницею. Но в ее доме я все же была воспитанница, а ты не можешь вообразить, как много мелочных горестей неразлучны с этим званием. Многого должна была я сносить, во многом уступать, многого не видеть, между тем как мое самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжною было мне в тягость. Когда являлись мы на бале, одетые одинаково, я досадовала, не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не носила их для того только, чтоб не отличаться от меня, и эта внимательность уж оскорбляла меня. Неужто предполагают во мне, думала я, зависть или что-нибудь похожее на такое детское малодушие? Поведение со мною мужчин, как бы оно ни было учтиво, поминутно задевало мое самолюбие. Холодность их или приветливость, все казалось мне неуважением. Словом, я была создание пренесчастное, и сердце мое, от природы нежное, час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц, дальних родственниц, *demoiselles de compagnie*¹ и тому подобное, обыкновенно бывают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца.

Тому ровно три недели получила я письмо от бедной моей бабушки. Она жаловалась на свое одиночество и звала меня к себе в деревню. Я решилась воспользоваться этим случаем. Насилу могла выпросить у Авдотьи Андреевны позволения ехать, и должна была обещать зимою возвратиться в Петербург, но я не намерена сдержать свое слово. Бабушка мне чрезвычайно обрадовалась; она никак меня не ожидала. Слезы ее меня тронули несказанно. Я сердечно ее полюбила. Она была некогда в большом свете и сохранила много тогдашней любезности.

¹ Компаньонка (франц.).

Теперь я живу *дома*, я хозяйка, и ты не поверишь, какое это мне истинное наслаждение. Я тотчас привыкла к деревенской жизни, и мне вовсе не странно отсутствие роскоши. Деревня наша очень мила. Старинный дом на горе, сад, озеро, кругом сосновые леса, все это осенью и зимою немного печально, но зато весной и летом должно казаться земным раем. Соседей у нас мало, и я еще ни с кем не видалась. Уединение мне нравится на самом деле, как в элегиях твоего Ламартина.

Пиши ко мне, мой ангел, письма твои будут мне большим утешением. Что ваши балы, что наши общие знакомые? Хоть я и сделалась затворницей, однако ж я не вовсе отказалась от суеты мира — вести об нем для меня занимательны.

Село Павловское.

2. Ответ Саши

Милая Лиза.

Вообрази мое изумление, когда узнала я про твой отъезд в деревню. Увидев княжну Ольгу одну, я думала, что ты нездорова, и не хотела верить ее словам. На другой день получаю твое письмо. Поздравляю тебя, мой ангел, с новым образом жизни. Радуюсь, что он тебе понравился. Твои жалобы о прежнем твоём положении меня тронули до слез, но показались мне слишком горькими. Как можешь ты сравнивать себя с воспитанницами и *demoiselles de compagnie*? Все знают, что Ольгин отец был всем обязан твоему и что дружба их была столь же священна, как самое близкое родство. Ты, казалось, была довольна своей судьбою. Никогда не предполагала я в тебе столько раздражительности. Признайся: нет ли другой, тайной причины твоему поспешному отъезду. Я подозреваю... но ты со мною скромничаешь, и я боюсь рассердить тебя заочно своими догадками.

Что сказать тебе про Петербург? Мы еще на даче, но почти все уже разъехались. Балы начнутся недели через две. Погода прекрасная. Я гуляю очень много. На днях обедали у нас гости; один из них спрашивал, имею ли о тебе известия. Он сказал, что твое отсутствие на балах заметно, как порванная струна в фортепьяно, и я совершенно с ним согласна. Я все надеюсь, что этот припадок мизантропии будет не продолжителен. Возвратись, мой ангел; а то нынешней зимою мне не с кем будет разделять моих невинных наблюдений и некому будет передавать эпиграмм моего сердца. Прости, моя милая, подумай и одумайся.

Крестовский остров.

3. Лиза — Саиш

Письмо твое меня чрезвычайно утешило. Оно так живо напомнило мне Петербург, мне казалось, я тебя слышу. Как смешны твои вечные предположения! Ты подозреваешь во мне какие-то глубокие, тайные чувства, какую-то несчастную любовь — не правда ли? успокойся, милая; ты ошибаешься: я похожа на героиню только тем, что живу в глухой деревне и разливаю чай, как Кларисса Гарлов.

Ты говоришь, что тебе некому будет нынешней зимою передавать своих сатирических наблюдений, — а на что же переписка наша? Пиши ко мне все, что ты заметишь; повторяю тебе, что я вовсе не отказалась от света, что все, касающееся до него, для меня занимательно. В доказательство того прошу тебя написать, кому отсутствие мое кажется так заметным? Не любезному ли нашему говоруну Алексею Р — ? — Я уверена, что угадала... Уши мои были всегда к его услугам, а ему только и надобно.

Я познакомилась с семейством ***. Отец балагур и хлебосол; мать толстая, веселая баба, большая охотница до виста; дочка стройная меланхолическая девушка лет семнадцати, воспитанная на романах и на чистом воздухе. Она целый день в саду или в поле с книгой в руках, окружена дворными собаками, говорит о погоде нараспев и с чувством потчует варением. У нее нашла я целый шкаф, наполненный старинными романами. Я намерена все это прочесть и начала Ричардсоном. Надобно жить в деревне, чтоб иметь возможность прочесть хваленую «Клариссу». Я благословясь начала с предисловия переводчика и, увидя в нем уверение, что хотя первые шесть частей скучненьки, зато последние шесть в полной мере вознаградят терпение читателя, храбро принялась за дело. Читаю том, другой, третий, — наконец добралась до шестого, — скучно, мочи нет. Ну, думала я, теперь буду я награждена за труд. Что же? Читаю смерть Клариссы, смерть Ловласа, и конец. Каждый том заключал в себе две части, и я не заметила перехода от шести скучных к шести занимательным.

Чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек! Что есть общего между Ловласом и Адольфом? между тем роль женщин не изменяется. Кларисса, за исключением церемонных приседаний, все же походит на героиню новейших романов. Потому ли, что способы нравиться в мужчине зависят от моды, от минутного мнения... а в женщинах они основаны на чувстве и природе, которые вечны.

Ты видишь: я с тобою болтлива по обыкновенному. Не будь же и ты скупа на заочные разговоры. Пиши ко мне как можно

чаще и как можно более — ты не можешь вообразить, что значит ожидание почтового дня в деревне. Ожидание бала не может с ним равняться.

4. Ответ Саши

Ты ошиблась, милая Лиза. Чтобы смирить твоё самолюбие, объявляю, что Р — вовсе не замечает твоего отсутствия. Он привязался к леди Пелам, приезжей англичанке, и от нее не отходит. На его речи отвечает она видом невинного удивления и маленьким восклицанием *oho!*.. а он в восхищении. Знай: спрашивал меня о тебе, всем сердцем жалеет о тебе твой постоянный *admirateur*¹ Владимир**. Довольна ли ты? думаю, очень довольна, и по своему обыкновенью осмеливаюсь предполагать, что и без меня ты догадалась. Шутки в сторону, ** очень занят тобою. На твоём месте я бы завела его далеко. Что ж, он прекрасный жених... Зачем не выйти за него, — ты жила бы на Аглинской набережной, по субботам имела бы вечера и всякое утро заезжала бы за мною. Полно тебе дурачиться, мой ангел, приезжай к нам и выходи за **.

Третьего дня был бал у К**. Народу было пропасть. Танцевали до пяти часов. К.В. была одета очень просто; белое креповое платьице, даже без гирлянды, а на голове и шее на полмиллиона бриллиантов: только! Z по своему обыкновению была одета уморительно. Откуда берет она свои наряды? На платье ее были нашиты не цветы, а какие-то сушеные грибы. Не ты ли ей, мой ангел, прислала их из деревни? Владимир** не танцевал. Он едет в отпуск. С. приехали (вероятно, первые), просидели всю ночь не танцуя и уехали последние. Старшая, кажется, была нарумянена — пора... Бал очень удался. Мужчины были недовольны ужином, но ведь они вечно должны быть чем-нибудь да недовольны. Мне было очень весело, хоть я и танцевала *котильон* с несносным дипломатом Ст —, который к природной своей глупости присоединил еще рассеянность, вывезенную им из Мадрита.

Благодарю тебя, душа моя, за отчет об Ричардсоне. Теперь я имею об нем понятие. Прочитать его не надеюсь с моим нетерпением; я и в Вальтер Скотте нахожу лишние страницы.

Кстати: кажется, роман Елены Н. и графа Л. кончается — по крайней мере он так приуныл, а она так важничает, что, вероятно, свадьба решена. Прости, моя прелесть, довольна ли ты моею сегодняшней болтовнею?

¹ Поклонник (*франц.*).

5. Лиза — Саше

Нет, милая моя сваха, я не думаю оставить деревню и приехать к вам на свою свадьбу. Откровенно признаюсь, что Владимир** мне нравился, но никогда я не предполагала выйти за него. Он аристократ, а я смиренная демократка. Спешу объяснить и заметить гордо, как истинная героиня романа, что родом принадлежу я к самому старинному русскому дворянству, а что мой рыцарь внук бородатого миллионера. Но ты знаешь, что значит наша аристократия. Как бы то ни было, ** человек светский; я могла ему понравиться, но он для меня не пожертвует богатой невестой и выгодным родством. Если когда-нибудь и выйду замуж, то выберу здесь какого-нибудь сорокалетнего помещика. Он станет заниматься своим сахарным заводом, я хозяйством — и буду счастлива, не танцуя на бале у гр. К** и не имея суббот у себя на Английской набережной.

У нас зима: в деревне c'est un événement¹. Это вовсе переменяет образ жизни. Уединенные гуляния прекращаются, раздаются колокольчики, охотники выезжают с собаками, — все делается светлее, веселее от первого снега. Я никак этого не ожидала. Зима в деревне пугала меня. Но все на свете имеет свою хорошую сторону.

Я короче познакомилась с Машенькой*** и полюбила ее; у ней много хорошего, много оригинального. Нечаянно узнала я, что ** их близкий родня. Машенька не видала его семь лет, но от него в восхищении. Он провел у них одно лето, и Машенька беспрестанно рассказывает все подробности тогдашней его жизни. Читая ее романы, я нахожу на полях его замечания, бледно писанные карандашом, — видно, что он был тогда ребенок. Его поражали мысли и чувства, над которыми, конечно, стал бы он теперь смеяться; по крайней мере видна душа свежая, чувствительная. Я читаю очень много. Ты не можешь вообразить, как странно читать в 1829 году роман, писанный в 775-м. Кажется, будто вдруг из своей гостиной входим мы в старинную залу, обитую штофом, садимся в атласные пуховые кресла, видим около себя странные платья, однако ж знакомые лица, и узнаем в них наших дядюшек, бабушек, но помолodeвшими. Большую частью эти романы не имеют другого достоинства. Происшествие занимательно, положение хорошо запутано, но Белькур говорит косо, но Шарлотта отвечает криво. Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки — и вышел бы прекрасный, оригинальный роман. Скажи это от меня моему

¹ Это целое событие (франц.).

неблагодарному Р*. Полно ему тратить ум в разговорах с англичанками! Пусть он по старой канве вышьет новые узоры и представит нам в маленькой раме картину света и людей, которых он так хорошо знает.

Маша хорошо знает русскую литературу — вообще здесь более занимаются словесностью, чем в Петербурге. Здесь получают журналы, принимают живое участие в их перебранке, попеременно верят обеим сторонам, сердятся за любимого писателя, если он раскритикован. Теперь я понимаю, за что В* и П* так любят уездных барышень. Они их истинная публика. Я было заглянула в журналы и принялась за критики «Вестника Европы», но их плоскость и лакейство показались мне отвратительны — смешно видеть, как семинарист важно упрекает в безнравственности и неблагопристойности сочинения, которые прочли мы все, мы — санктпетербургские недоτροги!..

6. Лиза — Саше

Милая! мне невозможно долее притворяться, мне нужны помощь и советы дружбы. Тот, от которого убежала, кого боюсь я как несчастья, ** здесь. Что мне делать? голова моя кружится, я теряюсь, ради бога реши, что мне делать. Расскажу тебе все...

Ты заметила прошедшею зиму, что он от меня не отходил. Он к нам не ездил, но мы виделись везде. Напрасно вооружалась я холодностию, даже видом пренебрежения, — ничем не могла я от его избавиться. На балах он вечно умел найти место возле меня, на гулянье он вечно с нами встречался, в театре лорнет его был устремлен на нашу ложу.

Сначала это льстило моему самолюбию. Я, может быть, слишком это ему дала заметить. По крайней мере он, присвоивая себе новые права, говорил мне каждый час о своих чувствах и то ревновал, то жаловался... С ужасом думала я: к чему все это ведет! и с отчаянием признавала власть его над моей душою. Я уехала из Петербурга, думала тем прекратить зло в его начале. Моя решимость, уверенность в том, что исполнила я свой долг, успокоили было мое сердце, я начинала думать о нем равнодушнее, с меньшею горестию. Вдруг я его вижу.

Я его вижу: вчера были именины ***. Я приехала к обеду, вхожу в гостиную, нахожу толпу гостей, уланские мундиры, дамы меня окружают, я со всеми ими перецеловалась. Не замечая никого, сажусь подле хозяйки, гляжу: ** передо мной. Я остолбенела... Он сказал мне несколько слов с видом такой нежной,

искренней радости, что и я не имела силы скрыть ни замешательства своего, ни удовольствия.

Пошли за стол. Он сел против меня; я не смела на него взглянуть, но заметила, что все глаза были устремлены на него. Он был молчалив и рассеян. В другое время меня бы очень занимало общее желание привлечь внимание приезжего гвардейского офицера, беспокойство барышень, неловкость мужчин, хохот их при собственных шутках, и между тем учитывая холодность и совершенное невнимание гостя... После обеда он ко мне подошел. Чувствуя, что мне было надобно что-нибудь сказать, я спросила довольно некстати, по делам ли заехал он в нашу сторону. «Я приехал по одному делу, от которого зависит счастье моей жизни», — отвечал он вполголоса и тотчас отошел; он сел играть в бостон с тремя старушками (в том числе с бабушкой), а я ушла наверх к Машеньке, где пролежала до вечера под предлогом головной боли. В самом деле, я была хуже чем нездорова. Машенька от меня не отходила. Она в восторге от **. Он пробудет у них месяц или более. Она целый день будет с ним. Право, она влюблена в него — дай бог, что и он влюбится. Она стройна и странна — мужчинам только того и надобно.

Что мне делать, милая, здесь не будет мне возможности избежать его преследований. Он уж успел обворожить бабушку. Он будет ездить к нам — опять пойдут признания, жалобы, клятвы — *и к чему?* Он добьется моей любви, моего признания, — потом размыслит о невыгодах женитьбы, уедет под каким-нибудь предлогом, оставит меня, — а я... Какая ужасная будущность! Ради бога, дай мне руку: я тону.

7. Ответ Саши

То ли дело облегчить сердце полной исповедью! Давно бы так, ангел мой! Охота же тебе было со мною не сознаваться в том, что я давно знала: ** и ты — вы влюблены друг в друга — что за беда? На здоровье. Ты имеешь дар смотреть на вещи бог знает с какой стороны. Ты напрашиваешься на несчастье — берегись накликать его. Почему тебе не выйти за **. Где тут неодолимые препятствия? Он богат, а ты бедна — пустое. Он богат за двух — чего ж вам более. Он аристократ; а ты именем, воспитанием разве не аристократка?

Недавно спор зашел о дамах высшего круга. Я узнала, что Р объявил однажды себя на стороне аристократии, потому что она лучше обуаается. Итак, не явно ль, что ты с головы до ног аристократка?

Извини меня, мой ангел, но твое патетическое письмо рас- смешило меня. ** приехал в деревню для того, чтоб тебя видеть. Какой ужас! Ты гибнешь, ты требуешь моего совета. Уж не сдела- лась ли ты уездной героиней! Мой совет: обвенчаться как можно скорее в вашей деревянной церкви и приезжать к нам, чтоб явиться Форнариной в картинах, которые затеваются у С**. По- ступок твоего рыцаря меня тронул, кроме шуток. Конечно, в старину любовник для благосклонного взгляда уезжал на три года сражаться в Палестину; но в наши времена уехать за пятьсот верст от Петербурга, для того чтоб увидеться со владычицею своего сердца, — право много значит. ** достоин награды.

8. Владимир ** — своему другу

Сделай одолжение, распусти слух, что я при смерти болен, я намерен просрочить и хочу соблюсти всевозможную благопри- стойность. Вот уж две недели как я живу в деревне и не вижу, как время летит. Отдыхаю от петербургской жизни, которая мне ужасно надоела. Не любить деревни простительно монастырке, только что выпущенной из клетки, да 18-летнему камер-юнкеру. Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через перед- нюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете. Тем и я кончу. Выйду в отставку, женюсь и уеду в свою саратовскую деревню. Звание помещика есть та же служба. Зани- маться управлением трех тысяч душ, коих все благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши...

Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, не- простительно. Чем более имеем мы над ними прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении. Мы оставляем их на произвол плута приказчика, который их притесняет, а нас обкра- дывает. Мы проживаем в долг свои будущие доходы, разоряемся, старость нас застает в нужде и в хлопотах.

Вот причина быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук идет по миру. Древние фамилии приходят в ничтожество; новые поднимаются и в третьем поколе- нии исчезают опять. Состояния сливаются, и ни одна фамилия не знает своих предков. К чему ведет такой политический мате- риализм? Не знаю. Но пора положить ему преграды.

Я без прискорбья никогда не мог видеть уничтожения наших исторических родов; никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат. Да какой гордости воспоминаний ожидать

от народа, у которого пишут на памятнике: «Гражданину Минину и князю Пожарскому». Какой князь Пожарский? Что такое гражданин Минин? Был окольный князь Дмитрий Михайлович Пожарский и мещанин Козьма Минич Сухорукий, выборный человек от всего государства. Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!

Аристократия чиновная не заменит аристократии родовой. Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа. Но каковы семейственные воспоминания у детей коллежского асессора?

Говоря в пользу аристократии, я не корчу английского лорда, как дипломат Северин, внук портного и повара; мое происхождение, хоть я им и не стыжусь, не дает мне на то никакого права. Но я согласен с Лабрюером: *Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans le gentilhomme*¹.

Все это надумал я, живучи в чужой деревне, глядя на управление мелкопоместных дворян. Эти господа не служат и сами занимаются управлением своих деревушек, но признаюсь, дай бог им промотаться, как нашему брату. Какая дикость! для них не прошли еще времена Фонвизина. Между ими процветают еще Простаковы и Скотинины!

Это, впрочем, не относится к родственнику, у которого я в гостях. Он очень добрый человек, жена его очень добрая баба, дочь очень добрая девочка. Ты видишь, что я стал очень добр. В самом деле, с тех пор как я в деревне, я стал отменно благосклонен и снисходителен — действие моей патриархальной жизни и присутствия Лизы***. Мне было скучно без нее не на шутку. Я приехал уговорить ее возвратиться в Петербург. Наше первое свидание было великолепно. Тетка моя была именинница. Все соседство съехалось. Явилась и Лиза — и едва поверила самой себе, увидев меня... Она не могла же не признаться, что я приехал сюда только для нее. По крайней мере я постарался дать ей это почувствовать. Здесь мой успех превзошел мои ожидания (что много значит). Старушки от меня в восхищении, барыни ко мне так и льнут, «А потому, что патриотки». Мужчины отменно недовольны моею *fatuité indolente*², которая здесь еще новость. Они бесятся тем более, что я чрезвычайно учтив и благопристоен, и они никак не понимают, в чем именно состоит мое нахальство, хотя и чувствуют, что я нахал. Прощай. Что делают наши? *Servitor di tutti quanti*³. Пиши ко мне в село**.

¹ Подчеркивать пренебрежение к своему происхождению — черта смешная в выскочке и низкая в дворянине (*франц.*).

² Томным фатовством (*франц.*).

³ Покорный слуга всех их, вместе взятых (*итал.*).

9. Ответ друга

Поручение твое мною исполнено. Вчера в театре объявил я, что ты занемог нервическою горячкою и что, вероятно, тебя уже нет на свете, — итак, пользуйся жизнью, покамест еще ты не воскрес.

Твои нравственные размышления насчет управления имений радуют меня за тебя. То ли дело

Un homme sans peur et sans reproche,
Qui n'est ni roi, ni duc, ni comte aussi¹.

Состояние русского помещика, по-моему, самое завидное.

Чины в России необходимость хотя бы для одних станций, где без них не добьешься лошадей.

Пустившись в важные рассуждения, я совсем забыл, что теперь тебе не до того — ты занят своею Лизою. Охота тебе корчить г. Фобласа и вечно возиться с женщинами. Это не достойно тебя. В этом отношении ты отстал от своего века и сбиваешься на *si-devant*³ гвардии хрипуна 1807 г. Покамест это недостаток, скоро ты будешь смешнее генерала Г***. Не лучше ли заранее привыкнуть ко строгости зрелого возраста и добровольно отказаться от увядающей молодости? Знаю, что проповедую втуне, но таково мое назначение.

Все твои друзья тебе кланяются и очень жалеют о преждевременной твоей кончине — между прочим и прежняя твоя приятельница, которая возвратилась из Рима, влюбленная в папу. Как это на нее похоже и как это должно тебя восхитить! Не приедешь ли для соперничества *cum servo servorum dei*?⁴ Это было б похоже на тебя. Я всякий день стану тебя ожидать.

10. Владимир** — своему другу.

Выговоры твои совершенно несправедливы. Не я, но ты отстал от своего века — и целым десятилетием. Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время

¹ Муж без страха и упрека,

Хоть он и не король, не герцог и даже не граф (*франц.*).

² Здесь в рукописи явный пропуск. По-видимому, часть 9-го письма утрачена.

³ Бывшего (*франц.*).

⁴ С рабом рабов божьих (*лат.*).

строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг, нам было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, теперь это все переменялось. Французский кадрили заменил Адама Смита, всякий волочится и веселится как умеет. Я следую духу времени; но ты неподвижен, ты *si-devant, un homme*¹ стереотип. Охота тебе сиднем сидеть одному на скамеечке оппозиционной стороны. Надеюсь, что Z— обратит тебя на истинный путь: поручаю тебя ее ватиканскому кокетству. Что касается до меня, я совершенно предался патриаршеской жизни: ложусь спать в 10 часов вечера, езжу на порошу с здешними помещиками, играю с старухами в бостон по копейке и сержусь, когда проигрываюсь. С Лизой вижу каждый день и час от часу более в нее влюбляюсь. В ней много увлекательного. Эта тихая благородная стройность в обращении, прелесть высшего петербургского общества, а между тем что-то живое, снисходительное, добродородное (как говорит ее бабушка), ничего резкого, жестокого в ее суждениях, она не морщится перед принятием впечатлений, как ребенок перед ревенем. Она слушает и понимает — редкое достоинство в наших женщинах. Часто удивлялся я тупости понятия или нечистоте воображения дам, впрочем очень любезных. Часто самую тонкую шутку, самое поэтическое приветствие они принимают или за нахальную эпиграмму, или неблагопристойную плоскость. В таком случае холодный вид, ими принимаемый, так убийственно отвратителен, что самая пылкая любовь против него не устоит.

Это испытал я с Еленой***, в которую был я влюблен без памяти. Я сказал ей какую-то нежность; она приняла ее за грубость и пожаловалась на меня своей приятельнице. Это меня вовсе разочаровало. Кроме Лизы, есть у меня для развлечения Машенька***. Она мила. Эти девушки, выросшие под яблонями и между скирдами, воспитанные нянюшками и природою, гораздо милее наших однообразных красавиц, которые до свадьбы придерживаются мнения своих матерей, а там — мнения своих мужьев.

Прощай, мой милый; что нового в свете? Объяви всдем, что наконец и я пустился в поэзию. Намедни сочинил я надпись к портрету княжны Ольги (за это Лиза очень мило бранила меня):

Глупа как истина, скучна как совершенство.

Не лучше ли:

Скучна как истина, глупа как совершенство.

То и другое похоже на мысль. Попроси В* приискать первый стих и отныне считать меня поэтом.

.

¹ Бывший, человек (франц.).

ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА

Если бог пошлет мне читателей, то, может быть, для них будет любопытно узнать, каким образом решил я написать Историю села Горюхина. Для того должен я войти в некоторые предварительные подробности.

Я родился от честных и благородных родителей в селе Горюхине 1801 года апреля 1 числа и первоначальное образование получил от нашего дьячка. Сему-то почтенному мужу обязан я впоследствии развившейся во мне охотой к чтению и вообще к занятиям литературным. Успехи мои хотя были медленны, но благонадежны, ибо на десятом году от роду я знал уже почти все то, что поныне осталось у меня в памяти, от природы слабой и которую по причине столь же слабого здоровья не дозволяли мне излишне отягощать.

Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали, и во всем доме, кроме Азбуки, купленной для меня, календарей и Новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть и, несмотря на то, каждый день находил в нем новые незамеченные красоты. После генерала Племянникова, у которого батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству, никто не знал его лично, на все мои вопросы отвечали только, что Курганов сочинил Новейший письмовник, что твердо знал я и прежде. Мрак неизвестности окружал его как некоего древнего полубога; иногда я даже сомневался в истине его существования. Имя его казалось мне вымышленным и предание о нем пустою мифою, ожидавшею изыскания нового Нибура. Однако же он все преследовал мое воображение, я старался придать какой-нибудь образ сему таинственному лицу и наконец решил, что должен он был походить на земского заседателя Корючкина, маленького старичка с красным носом и сверкающими глазами.

В 1812 году повезли меня в Москву и отдали в пансион Карла Ивановича Мейера — где пробыл я не более трех месяцев, ибо нас распустили перед вступлением неприятеля — я возвратился в деревню. По изгнании двухнадесяти языков хотелъ меня снова везти в Москву посмотреть, не возвратился ли Карл Иванович на прежнее пепелище или, в противном случае, отдать меня в другое училище, но я упросил матушку оставить меня в деревне, ибо здоровье мое не позволяло мне вставать с постели в семь часов, как обыкновенно заведено во всех пансионах. Таким образом достиг я шестнадцатилетнего возраста, оставаясь при первоначальном моем образовании и играя в лапту с моими потешными, единственная наука, в коей приобрел я достаточное познание во время пребывания моего в пансионе.

В сие время определился я юнкером в** пехотный полк, в коем и находился до прошлого 18** года. Пребывание мое в полку оставило мне мало приятных впечатлений, кроме производства в офицеры и выигрыща 245 рублей в то время, как у меня в кармане всего оставалось рубль 6 гривен. Смерть дражайших моих родителей принудила меня подать в отставку и приехать в мою вотчину.

Сия эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намерен о ней распространиться, заранее прося извинения у благосклонного читателя, если во зло употреблю снисходительное его внимание.

День был осенний и пасмурный. Прибыв на станцию, с которой должно было мне своротить на Горюхино, нанял я вольных и поехал проселочною дорогой. Хотя я нрава от природы тихого, но нетерпение вновь увидеть места, где провел я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я поминутно погонял моего ямщика, то обещая ему на водку, то угрожая побоями, и как удобнее было мне толкать его в спину, нежели вынимать и развязывать кошелек, то, признаюсь, раза три и ударил его, что отроду со мною не случалось, ибо сословие ямщиков, сам не знаю почему, для меня в особенности любезно. Ямщик погонял свою тройку, но мне казалось, что он, по обыкновению ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутом, все-таки затягивал гужи. Наконец завидел Горюхинскую рощу; и через десять минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно билось — я смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Восемь лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший некогда украшен тремя правильными цветниками, меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком, теперь обращен был в некошенный луг, на котором паслась бурая корова. Бричка моя остановилась у переднего крыльца. Человек мой пошел было отворить двери, но они были заколочены, хотя ставни были от-

крыты и дом казался обитаемым. Баба вышла из людской избы и спросила, кого мне надобно. Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу, и вскоре дворня меня окружила. Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые и незнакомые лица и дружески со всеми ими целуясь; мои потешные мальчишки были уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки замужними бабами. Мужчины плакали. Женщинам говорил я без церемонии: «Как ты постарела» — и мне отвечали с чувством: «Как вы-то, батюшка, подурнели». Повели меня на заднее крыльцо, навстречу мне вышла моя кормилица и обняла меня с плачем и рыданием, как многострадального Одиссея. Побежали топить баню. Повар, ныне в бездействии отрастивший себе бороду, вызвался приготовить мне обед или ужин — ибо уже смеркалось. Тотчас очистили мне комнаты, в коих жила кормилица с девушками покойной матушки, и я очутился в смиренной отеческой обители и заснул в той самой комнате, в которой за 23 года тому родился.

Около трех недель прошло для меня в хлопотах всякого рода — я возился с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками. Наконец принял я наследство и был введен во владение отчиной; я успокоился, но скоро скука бездействия стала меня мучить. Я не был еще знаком с добрым и почтенным соседом моим**. Занятия хозяйственные были вовсе для меня чужды. Разговоры кормилицы моей, произведенной мною в ключницы и управительницы, состояли счетом из пятнадцати домашних анекдотов, весьма для меня любопытных, но рассказываемых ею всегда одинаково, так что она сделалась для меня другим *новейшим письмовником*, в котором я знал, на какой странице какую найду строчку. Настоящий же заслуженный письмовник был мною найден в кладовой, между всякой рухлядью, в жалком состоянии. Я вынес его на свет и принялся было за него, но Курганов потерял для меня прежнюю свою прелесть, я прочел его еще раз и больше уже не открывал.

В сей крайности пришло мне на мысль, не попробовать ли самому что-нибудь сочинить? Благосклонный читатель знает уже, что воспитан я был на медные деньги и что не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз упущено, до шестнадцати лет играя с дворовыми мальчишками, а потом переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, проводя время с жидами да с маркитантами, играя на ободранных биллиардах и маршируя в грязи.

К тому же быть сочинителем казалось мне так мудрено, так недостижимо нам непосвященным, что мысль взяться за перо сначала испугала меня. Смел ли я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже пламенное желание мое встретиться с одним из них никогда не было исполнено? Но это напоминает

мне случай, который намерен я рассказать в доказательство всегдашней страсти моей к отечественной словесности.

В 1820 году еще юнкером случилось мне быть по казенной надобности в Петербурге. Я прожил в нем неделю и, несмотря на то, что не было там у меня ни одного знакомого человека, провел время чрезвычайно весело: каждый день тихонько ходил я в театр, в галерею четвертого яруса. Всех актеров узнал по имени и страстно влюбился в **, игравшую с большим искусством в одно воскресенье роль Амалии в драме «Ненависть к людям и раскаяние». Утром, возвращаясь из Главного штаба, заходил я обыкновенно в низенькую конфетную лавку и за чашкой шоколаду читал литературные журналы. Однажды сидел я углубленный в критическую статью «Благонамеренного»; некто в гороховой шинели ко мне подошел и из-под моей книжки тихонько потянул листок «Гамбургской газеты». Я так был занят, что не поднял и глаз. Незнакомый спросил себе бифштексу и сел передо мною; я все читал, не обращая на него внимания; он между тем позавтракал, сердито побранил мальчика за неисправность, выпил полбутылки вина и вышел. Двое молодых людей тут же завтракали. «Знаешь ли, кто это был? — сказал один другому. — Это Б., сочинитель». — «Сочинитель!» — воскликнул я невольно — и, оставя журнал недочитанным и чашку недопитую, побежал расплачиваться и, не дождавшись сдачи, выбежал на улицу. Смотря во все стороны, увидел я издали гороховую шинель и пустился за нею по Невскому проспекту только что не бегом. Сделав несколько шагов, чувствую вдруг, что меня останавливают, — оглядываюсь, гвардейский офицер заметил мне, что-де мне следовало б не толкнуть его с тротуара, но скорее остановиться и вытянуться. После сего выговора я стал осторожнее; на беду мою поминутно встречались мне офицеры, я поминутно останавливался, а сочинитель все уходил от меня вперед. Отроду моя солдатская шинель не была мне столь тягостною, отроду эпюлеты не казались мне столь завидными. Наконец у самого Аничкина моста догнал я гороховую шинель. «Позвольте спросить, — сказал я, приставя ко лбу руку, — вы г. Б., коего прекрасные статьи имел я счастье читать в „Соревнователе просвещения“?» — «Никак нет-с, — отвечал он мне, — я не сочинитель, а стряпчий, но ** мне очень знаком; четверть часа тому я встретил его у Полицейского мосту». — Таким образом уважение мое к русской литературе стоило мне тридцати копеек потерянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть не ареста — а все даром.

Несмотря на все возражения моего рассудка, дерзкая мысль сделаться писателем поминутно приходила мне в голову. Наконец, не будучи более в состоянии противиться влечению природы, я сшил себе толстую тетрадь с твердым намерением наполнить ее

чем бы то ни было. Все роды поэзии (ибо о смиренной прозе я еще и не помышлял) были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на эпическую поэму, почерпнутую из отечественной истории. Недолго искал я себе героя. Я выбрал Рюрика — и принялся за работу.

К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашими офицерами, именно: «Опасного соседа», «Критику на Московский бульвар», «на Пресненские пруды» и т.п. Несмотря на то, поэма моя подвигалась медленно, и я бросил ее на третьем стихе. Я думал, что эпический род не мой род, и начал трагедию «Рюрик». Трагедия не пошла. Я попробовал обратить ее в балладу — но и баллада как-то мне не давалась. Наконец вдохновение озарило меня, я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика.

Несмотря на то, что надпись моя была не вовсе недостойна внимания, особенно как первое произведение молодого стихотворца, однако ж я почувствовал, что я не рожден поэтом, и довольствовался сим первым опытом. Но творческие мои попытки так привязали меня к литературным занятиям, что уже не мог я расстаться с тетрадью и чернильницей. Я хотел низойти к прозе. На первый случай, не желая заняться предварительным изучением, расположением плана, скреплением частей и т.п., я вознамерился писать отдельные мысли, без связи, без всякого порядка, в том виде, как они мне станут представляться. К несчастью, мысли не приходили мне в голову, и в целые два дня надумал я только следующее замечание:

Человек, не повинующийся законам рассудка и привыкший следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию.

Мысль, конечно, справедливая, но уже не новая. Оставя мысли, принялся я за повести, но, не умея с непривычки расположить вымышленное происшествие, я избрал замечательные анекдоты, некогда мною слышанные от разных особ, и старался украсить истину живостью рассказа, а иногда и цветами собственного воображения. Составляя сии повести, мало-помалу образовал я свой слог и приучился выражаться правильно, приятно и свободно. Но скоро запас мой истощился, и я стал опять искать предмета для литературной моей деятельности.

Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования истинных и великих происшествий давно тревожила мое воображение. Быть судьей, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшею степенью, доступной для писателя. Но какую историю мог я написать с моей жалкой образованностью, где бы не предупредили меня многоученые, добросовестные мужи? Какой род истории не истощен уже ими?

Стану ль писать историю всемирную — но разве не существует уже бессмертный труд аббата Милога? Обращусь ли к истории отечественной? что скажу я после Татищева, Болтина и Голикова? и мне ли рыться в летописях и добираться до сокровенного смысла обветшалого языка, когда не мог я выучиться славянским цифрам? Я думал об истории меньшего объема, например об истории губернского нашего города; но и тут сколько препятствий, для меня неодолимых! Поездка в город, визиты к губернатору и к архиерею, просьба о допущении в архивы и монастырские кладовые и проч. История уездного нашего города была бы для меня удобнее, но она не была занимательна ни для философа, ни для прагматика и представляла мало пищи красноречию. *** был переименован в города в 17** году, и единственное замечательное происшествие, сохранившееся в его летописях, есть ужасный пожар, случившийся десять лет тому назад и истребивший базар и присутственные места.

Нечаянный случай разрешил мои недоумения. Баба, развешивая белье на чердаке, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами. Весь дом знал охоту мою к чтению. Ключница моя, в то самое время как я, сидя за моей тетрадью, грыз перо и думал об опыте сельских проповедей, с торжеством втащила корзинку в мою комнату, радостно восклицая: «книги! книги!» — «Книги!» — повторил я с восторгом и бросился к корзинке. В самом деле, я увидел целую грудку книг в зеленом и синем бумажном переплете. Это было собрание старых календарей. Сие открытие охладило мой восторг, но всё я был рад нечаянной находке, всё же это были книги, и я щедро наградил усердие прачки полтиною серебром. Оставшись наедине, я стал рассматривать свои календари, и скоро мое внимание было сильно ими привлечено. Они составляли непрерывную цепь годов от 1744 до 1799, т.е. ровно 55 лет. Синие листы бумаги, обыкновенно вплетаемые в календари, были все исписаны старинным почерком. Брося взор на сии строки, с изумлением увидел я, что они заключали не только замечания о погоде и хозяйственные счета, но также и известия краткие исторические касательно села Горюхина. Немедленно занялся я разбором драгоценных сих записок и вскоре нашел, что они представляли полную историю моей отчизны в течение почти целого столетия в самом строгом хронологическом порядке. Сверх сего заключали они неистощимый запас экономических, статистических, метеорологических и других ученых наблюдений. С тех пор изучение сих записок заняло меня исключительно, ибо увидел я возможность извлечь из них повествование стройное, любопытное и поучительное. Ознакомясь довольно с драгоценными сими памятниками, я стал искать новых источников Истории села Горюхина. И вскоре обилие оных

изумило меня. Посвятив целые шесть месяцев на предварительное изучение, наконец приступил я к давно желанному труду и с помощью божиею совершил оный сего ноября 3 дня 1827-го года.

Ныне, как некоторый мне подобный историк, коего имени я не запомню, оконча свой трудный подвиг, кладу перо и с грустью иду в мой сад размышлять о том, что мною совершено. Кажется и мне, что, написав Историю Горюхина, я уже не нужен миру, что долг мой исполнен и что пора мне опочить!

Здесь прилагаю список источников, послуживших мне к составлению Истории Горюхина:

1. Собрание старинных календарей. *54 части*. Первые 20 частей исписано старинным почерком с титлами. Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Белкиным. Она отличается ясностью и краткостью слога, например: 4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 — корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 — погода ясная. 9 — дождь и снег. Тришка бит по погоде. 11 — погода ясная. Пороша. Затравил 3 зайцев, и тому подобное, безо всяких размышлений... Остальные 35 частей писаны разными почерками, большею частию так называемым *лавочничьим* с титлами и без титлов, вообще плодовито, несвязно и без соблюдения правописания. Кой-где заметна женская рука. В сие отделение входят записки деда моего Ивана Андреевича Белкина и бабки моей, а его супруги, Евпраксии Алексеевны, также и записки приказчика Гарбовицкого.

2. Летопись горюхинского дьячка. Сия любопытная рукопись отыскана мною у моего попа, женатого на дочери летописца. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи. Один из таковых упал посреди моего двора. Я поднял его и хотел было возвратить детям, как заметил, что он был исписан. С первых строк увидел я, что змей составлен был из летописи; к счастью, успел спасти остальное. Летопись сия, приобретенная мною за четверть овса, отличается глубокомыслием и велеречием необыкновенным.

3. Изустные предания. Я не пренебрегал никакими известиями. Но в особенности обязан Аграфене Трифоновой, матери Авдея старосты, бывшей, говорят, любовницею приказчика Гарбовицкого.

4. Ревижские сказки, с замечаниями прежних старост (счетные и расходные книги) касательно нравственности и состояния крестьян.

Страна, по имени столицы своей Горюхином называемая, занимает на земном шаре более 240 десятин. Число жителей простирается до 63 душ. К северу граничит она с деревнями Дериуховом и Перкуховом, коего обитатели бедны, тощи и малорослы, а гордые владельцы преданы воинственному упражнению заячьей охоты. К югу река Сивка отделяет ее от владений карачевских вольных хлебопашцев — соседей беспокойных, известных буйной жестокостию нравов. К западу облегают ее цветущие поля захарьинские, благоденствующие под властью мудрых и просвещенных помещиков. К востоку примыкает она к диким, необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразное кваkanie лягушек и где суеверное предание предполагает быть обиталищу некоего беса.

NB. Сие болото и называется *Бесовским*. Рассказывают, будто одна полумудрая пастушка стерегла стадо свиней недалеко от сего уединенного места. Она сделалась беременною и никак не могла удовлетворительно объяснить сего случая. Глас народный обвинил болотного беса; но сия сказка недостойна внимания историка, и после Нибура непростительно было бы тому верить.

Издревле Горюхино славилось своим плодородием и благо-растворенным климатом. Рожь, овес, ячмень и гречиха рождаются на тучных его нивах. Березовая роща и еловый лес снабжают обитателей деревьями и валежником на построение и отопку жилищ. Нет недостатка в орехах, клюкве, бруснике и чернике. Грибы произрастают в необыкновенном количестве; сжаренные в сметане представляют приятную, хотя и нездоровую пищу. Пруд наполнен карасями, а в реке Сивке водятся щуки и налимы.

Обитатели Горюхина большею частию росту среднего, сложения крепкого и мужественного, глаза их серы, волосы русые или рыжие. Женщины отличаются носами, поднятыми несколько вверх, выпуклыми скулами и дородностию. **NB.** *Баба здоровенная*, сие выражение встречается часто в примечаниях старосты к Ревижским сказкам. Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей пашне), храбры, воинственны; многие из них ходят одни на медведя и славятся в околотке кулачными бойцами; все вообще склонны к чувственному наслаждению пьянства. Женщины сверх домашних работ разделяют с мужчинами большую часть их трудов; и не уступят им в отважности, редкая из них боится старосты. Они составляют мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барском дворе, и называются *копейщицами* (от словенского слова *копье*). Главная обязанность копейщиц как можно чаще бить камнем в чугунную доску и тем

устрашать злоумышление. Они столь же целомудренны, как и прекрасны; на покушения дерзновенного отвечают сурово и выразительно.

Жители Горюхина издавна производят обильный торг лыками, лукошками и лаптями. Сему способствует река Сивка, через которую весною переправляются они на челноках, подобно древним скандинавам, а прочие времена года переходят вброд, предвительно засучив портки до колен.

Язык горюхинский есть решительно отрасль славянского, но столь же разнится от него, как и русский. Он исполнен сокращениями и усечениями, некоторые буквы вовсе в нем уничтожены или заменены другими. Однако ж великороссиянину легко понять горюхинца, и обратно.

Мужчины женивались обыкновенно на тринадцатом году на девицах двадцатилетних. Жены били своих мужей в течение четырех или пяти лет. После чего мужья уже начинали бить жен; и таким образом оба пола имели свое время власти, и равновесие было соблюдено.

Обряд похорон происходил следующим образом. В самый день смерти покойника относили на кладбище, дабы мертвый в избе не занимал напрасно лишнего места. От сего случалось, что к неописанной радости родственников мертвец чихал или зевал в ту самую минуту, как его выносили в гробе за околицу. Жены оплакивали мужьев, воя и приговаривая: «Свет-моя удалая головушка! на кого ты меня покинул? чем-то мне тебя поминати?» При возвращении с кладбища начиналася тризна в честь покойника, и родственники и друзья бывали пьяны два-три дня или даже целую неделю, смотря по усердию и привязанности к его памяти. Сии древние обряды сохранились и поныне.

Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отличительный признак их славянского происхождения. Зимой носили они овчинный тулуп, но более для красоты, нежели из настоящей нужды, ибо тулуп обыкновенно накидывали они на одно плечо и сбрасывали при малейшем труде, требующем движения.

Науки, искусства и поэзия издревле находились в Горюхине в довольно цветущем состоянии. Сверх священника и церковных причетников, всегда водились в нем грамотеи. Летописи упоминают о земском Терентии, жившем около 1767 году, умевшем писать не только правой, но и левою рукою. Сей необыкновенный человек прославился в околотке сочинением всякого роду писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и т.п. Неоднократно пострадал за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер уже в глубокой старости, в то самое время как приучался писать правую ногу, ибо почерка

обеих рук его были уже слишком известны. Он играет, как читатель увидит ниже, важную роль и в истории Горюхина.

Музыка была всегда любимое искусство образованных горюхинцев; балалайка и волынка, услаждая чувствительные сердца, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою и изображением двуглавого орла.

Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине. Довольно стихотворения Архипа-Лысого сохранились в памяти потомства.

В нежности не уступят они эклогам известного Вергилия, в красоте воображения далеко превосходят они идиллии г-на Сумарокова. И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз, но равняются с ними затейливостию и остроумием.

Приведем в пример сие сатирическое стихотворение:

Ко боярскому двору
Антон староста идет, (2)
Бирки в пазухе несет, (2)
Боярину подает,
А боярин смотрит,
Ничего не смыслит.
Ах ты, староста Антон,
Обокрал бояр кругом,
Село по миру пустил,
Старостиху надарил.

Познакомя таким образом моего читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхина и со нравами и обычаями его обитателей, приступим теперь к самому повествованию.

БАСНОСЛОВНЫЕ ВРЕМЕНА

СТАРОСТА ТРИФОН

Образ правления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно попеременно находилось под властью старшин, выбранных миром, приказчиков, назначенных помещиком, и наконец, непосредственно под рукою самих помещиков. Выгоды и невыгоды сих различных образов правления будут развиты мною в течение моего повествования.

Основание Горюхина и первоначальное население оногo покрыто мраком неизвестности. Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители оногo были зажиточны, что оброк собирали единожды в год и отсылали неведомо кому на нескольких возах. В то время всё

покупали дешево, а дорого продавали. Приказчиков не существовало, старосты никого не обижали, обитатели работали мало, а жили припеваючи, и пастухи стерегли стадо в сапогах. Мы не должны обольщаться сею очаровательною картиною. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Вот что достоверно:

Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных. Но предки мои, владея многими другими отчинами, не обращали внимания на сию отдаленную страну. Горюхино платило малую дань и управлялось старшинами, избираемыми народом на вече, мирскою сходкою называемом.

Но в течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек и требовали прежнего полного дохода от имения, в десять крат уже уменьшившегося. Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал их на вече; старшины витийствовали, мир волновался, а господа, вместо двойного оброку, получали лукавые отговорки и смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом.

Мрачная туча висела над Горюхином, а никто об ней и не помышлял. В последний год властвования Трифона, последнего старосты, народом избранного, в самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружал увеселительное здание (кабаком в просторечии именуемое) или бродил по улицам, обнявшись между собою и громко воспевая песни Архипа-Лысого, въехала в село плетеная крытая бричка, заложенная парюю кляч едва живых; на козлах сидел оборванный жид, а из брички высунулась голова в картузе и, казалось, с любопытством смотрела на веселящийся народ. Жители встретили повозку смехом и грубыми насмешками. (NB. Свернув трубкою воскраия одежд, безумцы глумились над еврейским возницею и восклицали смехотворно: «Жид, жид, ешь свиное ухо!») *Летопись горюхинского дьячка.*) Но сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села и когда приезжий, выпрыгнув из нее, повелительным голосом потребовал старосты Трифона. Сей сановник находился в увеселительном здании, откуда двое старшин почтительно вывели его под руки. Незнакомец, посмотрев на него грозно, подал ему письмо и велел читать оное немедленно. Старосты горюхинские имели обыкновение никогда ничего сами не читать. Староста был неграмотен. Послали за земским Авдеем. Его нашли неподалеку, спящего в переулке под забором, и привели незнакомцу. Но по приводе или от внезапного испуга, или от горестного предчувствия, буквы

письма, четко написанного, показались ему отуманенными, и он не был в состоянии их разобрать. Незнакомец, с ужасными проклятиями отослав спать старосту Трифона и земского Авдея, отложил чтение письма до завтрашнего дня и пошел в приказную избу, куда жид понес за ним и его маленький чемодан.

Горюхинцы с безмолвным изумлением смотрели на сие необыкновенное происшествие, но вскоре брочка, жид и незнакомец были забыты. День кончился шумно и весело, и Горюхино заснуло, не предвидя, что ожидало его.

С восходом утреннего солнца жители были пробуждены стуком в окошки и призыванием на мирскую сходку. Граждане один за другим явились на двор приказной избы, служившей вечевою площадью. Глаза их были мутны и красны, лица опухлы; они, зевая и потчываясь, смотрели на человека в картузе, в старом голубом кафтане, важно стоявшего на крыльце приказной избы, и старались припомнить себе черты его, когда-то ими виденные. Староста Трифон и земский Авдей стояли подле него без шапки с видом подобострастия и глубокой горести. «Все ли здесь?» — спросил незнакомец. «Все ли-ста здесь?» — повторил староста. «Все-ста», — отвечали граждане. Тогда староста объявил, что от барина получена грамота, и приказал земскому прочесть ее во услышание мира. Авдей выступил и громогласно прочел следующее. (NB. «Грамоту грозноветую сию списах я у Трифона-старосты, у него же хранилася она в кивоте вместе с другими памятниками владычества его над Горюхином». Я не мог отыскать сего любопытного письма.)

Трифон Иванов!

Вручитель письма сего, поверенный мой **, едет в отчину мою село Горюхино для поступления в управление оною. Немедленно по его прибытию собрать мужиков и объявить им мою барскую волю, а именно: Приказаний поверенного моего ** им, мужикам, слушаться, как моих собственных. А все, чего он ни потребует, исполнять беспрекословно, в противном случае имеет он ** поступать с ними со всевозможною строгостию. К сему понудило меня их бессовестное непослушание и твое, Трифон Иванов, плутовское потворство.

Подписано NN.

Тогда **, растопыря ноги наподобие буквы хера и подбочась наподобие ферта, произнес следующую краткую и выразительную речь: «Смотрите ж вы у меня, не очень умничайте; вы, я знаю, народ избалованный, да я выбью дурь из ваших голов небось скорее вчерашнего хмеля». Хмеля ни в одной голове уже не было. Горюхинцы, как громом пораженные, повесили носы и с ужасом разошлись по домам.

** принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы; она заслуживает особенного рассмотрения.

Главным основанием оной была следующая аксиома: Чем мужик богаче, тем он избалованнее, чем беднее, тем смирнее. Вследствие сего ** старался о смиренности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. Он потребовал описать крестьянам, разделил их на богачей и бедняков. 1) Недоимки были разложены меж зажиточных мужиков и взыскаемы с них со всевозможною строгостию. 2) Недостаточные и празднolibивые гуляки были немедленно посажены на пашню; если же по его расчету труд их оказывался недостаточным, то он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что сии платили ему добровольную дань, а отдаваемые в холопство имели полное право откупаться, заплатя сверх недоимок двойной годовой оброк. Всякая общественная повинность падала на зажиточных мужиков. Рекрутство же было торжеством корыстолюбивому правителю; ибо от оногo по очереди откупались все богатые мужики, пока наконец выбор не падал на негодя или разоренного*. Мирские сходки были уничтожены. Оброк собирал он понемногу и круглый год сряду. Сверх того завел он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более противу прежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В три года Горюхино совершенно обнищало.

Горюхино приуныло, базар запустел, песни Архипа-Лысого умолкли. Ребятишки пошли по миру. Половина мужиков была на пашне, а другая служила в батраках; и день храмового праздника сделался, по выражению летописца, не днем радости и ликования, но годовщиною печали и поминания горестного.

.

* Посадил окаянный приказчик Антона Тимофеева в железы, а старик Тимофей сына откупил за 100 р., а приказчик заковал Петрушку Еремеева, и того откупил отец за 68 р., и хотел окаянный сковать Леху Тарасова, но тот бежал в лес, и приказчик о том вельми крушился и свирепствовал во словесах, а отвезли в город и отдали в рекруты Ваньку пьяницу (Донесение горюхинских мужиков).

ДУБРОВСКИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ГЛАВА I

Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. В одном из флигелей его дома жили шестнадцать горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окна во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирила Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирила Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно; но они тщеславились богатством и славою своего господина и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство.

Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хотя и старинные приятели не всегда их избегали за исключением одного Андрея



41, 42
Иллюстрации Б. М. Кустодиева
Тушь, перо
1919

Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел семидесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместье, они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовались отчасти и в характерах и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирила Петровича росла в глазах родителя, и Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоём Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол». Андрей Гаврилович качал головою и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирила Петрович: мой Володька не жених Марии Кириловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки».

Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирила Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменял.

Раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъезд в поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к пяти часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирила Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак, под присмотром штаб-лекаря Тимошки, и

отделение, где благородные суки оценивались и кормили своих щенят. Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осматривал его по крайней мере уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями; останавливался пред некоторыми конурами, то спрашивая о здравии больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирила Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых; он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. «Что же ты хмуришься, брат,— спросил его Кирила Петрович,— или псарня моя тебе не нравится?» — «Нет,— отвечал он сурово,— псарня чудная, вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье,— сказал он,— благодаря бога и барина не жалуемся, а что правда, то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее и теплее». Кирила Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошке Кирилу Петровичу новорожденных щенят; он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил.

Возвратясь с гостями со псарного двора, Кирила Петрович сел ужинать и тогда только, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирила Петрович, по обыкновению своему разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал, Кирила Петрович, встав из-за стола, отпустил гостей и отправился спать.

На другой день первый вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, сложенное тре-

угольником; Кирила Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее:

«Государь мой премилостивый,

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопов не намерен, да и от Вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. За сим остаюсь покорным ко услугам

Андрей Дубровский.

По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рассердило Кирила Петровича не странным слогом и расположением, но только своею сущностью: «Как,— загремел Троекуров, вскочив с постели босой,— высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его... Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!»

Кирила Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своею пышностью, но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца и того протравили. Обед в поле под палаткою также не удался, или по крайней мере был не по вкусу Кирила Петровича, который прибил повара, разбил гостей и на обратном пути со всею своею охотою нарочно поехал полями Дубровского.

Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское — Кирила Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение.

Дубровский объезжал однажды малое свое владение; приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит, прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, и решил, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту.

Слух о сем происшествии в тот же день дошел до Кирила Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку (так называлась деревня его соседа), разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковинку. Но мысли его вскоре приняли другое направление.

Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку; маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику; Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвечивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний.

— Здорово, как бишь тебя зовут,— сказал ему Троекуров,— зачем пожаловал?

— Я ехал в город, ваше превосходительство,— отвечал Шабашкин, — и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства.

— Очень кстати заехал, как бишь тебя зовут; мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай.

Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирила Петровича со всевозможным вниманием.

— У меня сосед есть,— сказал Троекуров,— мелкопоместный грубиян; я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь?

— Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или...

— Врешь, братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постою однако ж. Это имение принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придаться?

— Мудрено, ваше высокопревосходительство; вероятно, сия продажа совершена законным порядком.

— Подумай, братец, поищи хорошенько.

— Если бы, например, ваше превосходительство могли каким ни есть образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то конечно...

— Понимаю, да вот беда — у него все бумаги сгорели во время пожара.

— Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели! чего ж вам лучше? — в таком случае извольте действовать по законам, и безо всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие.

— Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.

Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и, благодаря его проворству, ровно через две недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащие объяснения насчет его владения сельцом Кистеневкою.

Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурову до него дела никакого нет и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество.

Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение.

Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но в последствии времени оказавшуюся недостаточной.

Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился, не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль соделаться жертвой ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела. Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, стращая и подкупая судей и толкуя вкрив и впрям всевозможные указы.

Как бы то ни было, 18... года, февраля 9 дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к ** земскому судье для выслушания решения одного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город; на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника.

ГЛАВА II

Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствии уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирила Петрович. Писаря встали и заложили

перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресла из уважения к его чину, летам и дородности; он сел при открытых дверях. Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке. Настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда. Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидеть один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право.

18... года октября 27 дня ** уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кирилу Петрову сыну Троекурову, состоящим ** губернии в сельце Кистеневке, мужеска пола ** душами, да земли с лугами и угодьями ** десятин. Из коего дела видно: означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 18... года июня 9 дня вошел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский ассессор и кавалер Петр Ефимов сын Троекуров в 17... году августа 14 дня, служивший в то время в ** наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицына имение, состоящее ** округи в помянутом сельце Кистеневке (которое селение тогда по ** ревизии называлось Кистеневскими выселками), всего значащихся по 4-й ревизии мужеска пола ** душ со всем их крестьянским имуществом, усадьбою, с пашенною и непашенною землею, лесами, санными покосы, рыбными ловли по речке, называемой Кистеневке, и со всеми принадлежащими к оному имению угодьями и господским деревянным домом, и словом всё без остатка, что ему после отца его, из дворян урядника Егора Терентьева сына Спицына по наследству досталось и во владении его было, не оставляя из людей ни единыя души, а из земли ни единого четверика, ценою за 2 500 р., на что и купчая в тот же день в ** палате суда и расправы совершена, и отец его тогда же августа в 26-й день ** земским судом введен был во владение и учинен за него отказ. А наконец 17... года сентября 6-го дня отец его волею божиею помер, а между тем он, проситель генерал-аншеф Троекуров, с 17... года почти с малолетства находился в военной службе и по большей части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имения отца его, состоящие ** и ** губерниях, ** и ** уездах, в разных селениях, всего до 3000 душ, находит, что из числа таковых имений вышеписанными ** душами (коих по нынешней ** ревизии значится в том сельце всего ** душ) с землею и со всеми угодьями владеет без всяких укреплений вышеписанный гвардии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобраз помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его, Троекурова, распоряжение. А за несправедливое оного присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинении об оных надлежащего дознания, положить с него, Дубровского, следующее по законам взыскание и оным его, Троекурова, удовлетворить.

По учинении ж ** земским судом по сему прошению исследований открылось: что помянутый нынешний владелец спорного имени гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце Кистеневке, ** душ с землею и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии подпоручика Гаврила Евграфова сына Дубровского, а ему дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова, по доверенности, данной от него в 17... году августа 30 дня, засвидетельствованной в ** уездном суде, титулярному советнику Григорью Васильеву сыну Соболеву, по которой должна быть от него на имение сие отцу его купчая, потому что во оной именно сказано, что он, Троекуров, всё доставшееся ему по купчей от канцеляриста Спицына имение, ** душ с землею, продал отцу его, Дубровского, и следующие по договору деньги, 3200 рублей, все сполна с отца его без возврата получил и просил оного доверенного Соболева выдать отцу его указную крепость. А между тем отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения оной крепости, как настоящему владельцу, и ему, продавцу Троекурову, впредь и никому в то имение уже не вступаться. Но когда именно и в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу, — ему, Андрею Дубровскому, неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве, и после смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сторела ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 17... году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения. А что оным имением со дня продажи Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, то есть с 17... года, а по смерти отца его с 17... года и поныне, они, Дубровские, бесспорно владели, в том свидетельствуется на окольных жителей, которые, всего 52 человека, на опрос под присягою показали, что действительно, как они могут запомнить, означенным спорным имением начали владеть помянутые г.г. Дубровские назад сему лет с 70 без всякого от кого-либо спора, но по какому именно акту или крепости, им неизвестно. Упомянутый же по сему делу прежний покупатель сего имения, бывший провинциальный секретарь Петр Троекуров, владел ли сим имением, они не запомнят. Дом же г.г. Дубровских назад сему лет 30 от случившегося в их селении в ночное время пожара сторел, причем сторонние люди допускали, что доходу означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2000 р.

Напротив же сего генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров 3-го генваря сего года взошел в сей суд с прошением, что хотя помянутый гвардии поручик Андрей Дубровский и представил при учиненном следствии к делу сему выданную покойным его отцом Гаврилом Дубровским титулярному советнику Соболеву доверенность на запроданное ему имение, но по оной не только подлинной купчей, но даже и на совершение когда-либо оной никаких ясных доказательств по сле генерального регламента 19 главы и указа 1752 года ноября 29 дня не представил. Следовательно, самая доверенность ныне, за смертью самого дателя оной, отца его, по указу 1818 года мая... дня, совершенно уничтожается. — А сверх сего —

велено спорные имения отдавать во владения — крепостные по крепостям, а некрепостные по розыску.

На какое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого Дубровского отобрав, отдать ему по праву наследства. А как означенные помещики, имея во владении не принадлежащего им имения и без всякого укрепления, и пользовались с оного неправильно и им не принадлежащими доходами, то по исчислении, сколько таковых будет причитаться по силе... взysкать с помещика Дубровского и его, Троекурова, оными удовлетворить. — По рассмотрении какого дела и учиненной из оного и из законов выписки в ** уездном суде о п р е д е л е н о :

Как из дела сего видно, что генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров на означенное спорное имение, находящееся ныне во владении у гвардии поручика Андрея Гаврилова сына Дубровского, состоящее в сельце Кистеневке, по нынешней ... ревизии всего мужеска пола ** душ, с землею и угодьями, представил подлинную купчую на продажу оного покойному отцу его, провинциальному секретарю, который потом был коллежским ассесором, в 17... году из дворян канцеляристом Фадеем Спицыным, и что сверх сего сей покупатель, Троекуров, как из учиненной на той купчей надписи видно, был в том же году ** земским судом введен во владение, которое имение уже и за него отказано, и хотя напротив сего со стороны гвардии поручика Андрея Дубровского и представлена доверенность, данная тем умершим покупщиком Троекуровым титулярному советнику Соболеву для совершения купчей на имя отца его, Дубровского, но по таковом сделкам не только утверждать крепостные недвижимые имения, но даже и временно владеть по указу ... воспрещено, к тому ж и самая доверенность смертью дателя оной совершенно уничтожается. Но чтоб сверх сего действительно была по оной доверенности совершена где и когда на означенное спорное имение купчая, со стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства, то есть с 18... года и по сие время не представлено. А потому сей суд и полагает: означенное имение, ** душ с землею и угодьями, в каком ныне положении тое окажется, утвердить по представленной на оное купчей за генерал-аншефа Троекурова; о удалении от распоряжения оным гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него, г. Троекурова, и об отказе за него, как дошедшего ему по наследству, предписать ** земскому суду. А хотя сверх сего генерал-аншеф Троекуров и просит о взysкании с гвардии поручика Дубровского за неправо владение наследственным его имением воспользовавшихся с оного доходов. Но как оное имение, по показанию старожилых людей, было у г.г. Дубровских несколько лет в бесспорном владении, из дела сего не видно, чтоб со стороны г. Троекурова были какие-либо до сего времени прошения о таковом неправильном владении Дубровскими оного имения, к тому по уложению

велено, ежели кто чужую землю засеет или усадьбу загородит, и на того о неправильном завладении станут бити челом, и про то сыщется допрямо, тогда правому отдавать тую землю и с посеянным хлебом, и городьбою, и строением.

а посему генерал-аншефу Троекурову в изъявленном на гвардии поручика иске отказать, ибо принадлежащее ему имение возвращается в

его владение, не изъемя из оногo ничегo. А что при вводе за него оказаться может всё без остатка, предоставляя между тем генерал-аншефу Троекурову, буде он имеет о таковой своей претензии какие-либо ясные и законные доказательства, может просить где следует особо. Каковое решение наперед объявить, как истцу, равно и ответчику, на законном основании, апелляционным порядком, коих и вызвать в сей суд для выслушания сего решения и подписки удовольствия или неудовольствия чрез полицию.

Каковое решение подписали все присутствующие того суда.

Секретарь умолкнул, заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу, и торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под *решением* суда совершенное свое удовольствие.

Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову.

Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если паче чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое, и намерен в положенное законами время просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал... Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою, что тот упал и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как! не почитать церковь божию! прочь, хамово племя!» Потом, обратясь к Кирилу Петровичу: «Слыхано дело, ваше превосходительство, — продолжал он, — псаря вводят собак в божию церковь! собаки бегают по церкви. Я вас уже проучу...» Сторожа сбежались на шум и насилию им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество.

Судии, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский между тем лежал в постеле; уездный лекарь, по счастью не совершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.

ГЛАВА III

Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского все еще было плохо. Правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал

свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним, как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей и, кроме ее, не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту.

Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести.

Владимир Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости.

Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и курия из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее:

«Государь ты наш, Владимир Андреевич, — я, твоя старая нянька, решила тебе доложить о здоровье папенькином! Он очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит как дитя глупое, а в животе и смерти бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу Петровичу Троекурову, потому что мы-дескать ихние, а мы искони ваши, и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька

Орина Егоровна Бузырева.

Посылаю мое материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит? У нас дожди идут вот уже друга неделя и пастух Родя помер около Миколина дня».

Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно bestолковые строки с необыкновенным волнением. Он

лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста; со всем тем он романически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями.

Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах.

Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске, закурил трубку и погрузился в глубокие размышления.

Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через три дня был уж на большой дороге.

Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий, он боялся уже не застать отца в живых, он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже четвертые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за его маленькой лошадкой. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до земли, сказал ему, что старый его барин еще жив, и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повез его проселочными дорогами, и между ими завязался разговор.

— Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым?

— А бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич... Барин, слышь, не поладил с Кирилом Петровичем, а тот и подал в суд, хотя почасту он сам себе судия. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирила Петровича, плетью обуха не перешибешь.

— Так, видно, этот Кирила Петрович у вас делает что хочет?

— И вестимо, барин: заседателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник у него на посылках. Господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут.

— Правда ли, что отымают он у нас имение?

— Ох, барин, слышали так и мы. На днях покровский пономарь сказал на крестинах у нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо приберет вас к рукам Кирила Петрович. Микита кузнец и сказал ему: и, полно, Савельич, не печаль кума, не муги гостей. Кирила Петрович сам по себе, а все мы божи да государевы; да ведь на чужой рот пуговицы не нашешь.

— Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?

— Во владение Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави: у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет. Нет, дай бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдавай ты нас, а мы уж за тебя станем. — При сих словах Антон размахнул кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью.

Тронутый преданностью старого кучера, Дубровский замолчал и предался снова размышлениям. Прошло более часа, вдруг Гриша пробудил его восклицанием: «Вот Покровское!» Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома, на другом пятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезьями. Дубровский узнал сии места; он вспомнил, что на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его.

Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадам и, повинувшись честолюбию, общему и деревенским кучерам, как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею; сердце в нем забилося; перед собою видел он Кистеневку и бедный дом своего отца.

Через десять минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными

ми цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошенный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб и окружила молодого барина с шумными изъяснениями радости. Насилу мог он прорваться сквозь их усердную толпу и взбежал на ветхое крыльцо; в сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника. «Здорово, здорово, няня, — повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху, — что батюшка, где он? каков он?»

В эту минуту в залу вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке.

— Здравствуй, Володька! — сказал он слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его.

— Зачем ты встал с постели, — говорила ему Егоровна, — на ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди.

Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Грише и повели в людскую, где и угостили по-деревенскому, со всевозможным радушием, измучив его вопросами и приветствиями.

ГЛАВА IV

Где стол был яств, там гроб стоит.

Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения; у Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное; из того не мог он получить ясное понятие о тяжбе и решил ожидать последствий, надеясь на правоту самого дела.

Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство.

Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбою назначить, когда угодно будет его высокопревосходительству вступить во

владение новоприобретенным имением — самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирила Петрович смутился. От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтоб его выбранить, но не нашел достаточного к тому предлога, сказал ему сердито: «Пошел вон, не до тебя».

Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирила Петрович, оставшись наедине, стал рассказывать взад и вперед, насвистывая: «Гром победы раздавайся», что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей.

Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее (это было уже в конце сентября) и, сам правя, выехал со двора.

Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противуположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирила Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор.

В это время больной сидел в спальней у окна. Он узнал Кирила Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его, багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся... и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания, параличь его ударила. «Скорей, скорей в город за лекарем!» — кричал Владимир. «Кирила Петрович спрашивает вас», — сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд.

— Скажи Кирилу Петровичу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора... пошел! — Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина; Егоровна всплеснула руками. «Батюшка ты наш, — сказала она пискливым голосом, — погубишь ты свою головушку! Кирила Петрович съест нас». — «Молчи, няня, — сказал с сердцем Владимир, — сейчас пошли Антона в город за лекарем». — Егоровна вышла.

В передней никого не было, все люди сбежались на двор смотреть на Кирила Петровича. Она вышла на крыльцо и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирила

Петрович выслушал его сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня шумно толковала о сем происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал: «Не надобно лекаря, батюшка скончался».

Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир; правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь, не было уж и признака жизни в сем теле, еще не охладелом, но уже обезображенном кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружили труп, оставленный на их попечение, вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину.

ГЛАВА V

Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с дерев.

При выходе из рощи увидели кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери; там подле могилы ее накануне вырыта была свежая яма.

Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клироса; он не плакал и не молился, но лицо его было сграшно. Печальный обряд кончился. Владимир первый пошел прощаться с телом, за ним и все дворовые. Принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли; мужики изредка утирали слезы кулаком. Владимир и тех же трое слуг понесли его на кладбище в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу, все присутствующие бросили в нее по горсти песку, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу.

Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед, объявив, что молодой барин не

намерен на оном присутствовать, и таким образом отец Антон, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, по-видимому, ожидало его наследника. (Приезд Троекурова и прием, ему оказанный, были уже известны всему околотку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия.)

— Что будет, то будет, — сказала попадья, — а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать.

— А кому же как не ему и быть у нас господином, — прервала Егоровна. — Напрасно Кирила Петрович и горячится. Не на робкого напал: мой соколик и сам за себя постоит, да и, бог даст, благодетели его не оставят. Больно спесив Кирила Петрович! а небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: Вон, старый пес! долой со двора!

— Ахти, Егоровна, — сказал дьячок, — да как у Григорья-то язык повернулся; я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирила Петровича. Как увидишь его, страх и трепет и клонят ниц, а спина-то сама так и гнется, так и гнется...

— Суета сует, — сказал священник, — и Кирилу Петровичу отпоют вечную память, всё как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче да гостей созовут побольше, а богу не все ли равно!

— Ах, батька! и мы хотели зазвать весь околоток, да Владимир Андреевич не захотел. Небось у нас всего довольно, есть чем угостить, да что прикажешь делать. По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас употчую, дорогие гости наши.

Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пирог ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана.

Между тем Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостию стараясь заглушать душевную скорбь. Он шел не разбирая дороги; сучья поминутно задевали и царапали его, ноги его поминутно вязли в болоте, он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом; ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его... Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастья. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки; в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представлявшего ему верное подобие жизни — подобие столь обыкновенное. Наконец заметил

он, что начало смеркаться; он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома.

Навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошел стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его.

— Удались от зла и сотвори благо, — говорил поп попадье, — нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось. — Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог ее слышать.

Приближаясь, увидел он множество народа — крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках, казалось, о чем-то толковали.

— Что это значит? — спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. — Это кто такие, и что им надобно?

— Ах, батюшка Владимир Андреевич, — отвечал старик задыхаясь. — Суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости!..

Владимир потупил голову, люди его окружили несчастного своего господина. «Отец ты наш, — кричали они, целуя ему руки, — не хотим другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим». Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно, — сказал он им, — а я с приказными переговорю». — «Переговори, батюшка, — закричали ему из толпы, — да усовести окаянных».

Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крикнул и произнес охриплым голосом: «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал: по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь г. Шабашкин. Слушайте его во всем, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник». При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать, что это значит», — спросил он с притворным холонокровием у веселого исправника. — «А это то значит, — отвечал замысловатый чиновник, — что мы приехали вводить во владение сего Кирила Петровича Троекурова и просить *иных прочих* убираться подобру-поздорову». — «Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение

от власти...» — «А ты кто такой, — сказал Шабашкин с дерзким взором. — Бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дубровский волею божиею помре, мы вас не знаем, да и знать не хотим».

— Владимир Андреевич наш молодой барин, — сказал голос из толпы.

— Кто там смел рот разинуть, — сказал грозно исправник, — какой барин, какой Владимир Андреевич? барин ваш Кирила Петрович Троекуров, слышите ли, олухи?

— Как не так, — сказал тот же голос.

— Да это бунт! — закричал исправник. — Гей, староста, сюда! Староста выступил вперед.

— Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его!

Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил? но все молчали; вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать. «Да что на него посмотреть, — закричали дворовые, — ребята! долой их!» — и вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собой дверь.

«Ребята, вязать», — закричал тот же голос, — и толпа стала напирать... «Стойте, — крикнул Дубровский. — Дураки! что вы это? вы губите и себя и меня. Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать».

Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся, двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. «Мы решили, — продолжал заседатель, — с вашего дозволения остаться здесь ночевать; а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость: прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет, мы отправимся восвояси».

— Делайте что хотите, — отвечал им сухо Дубровский, — я здесь уже не хозяин. — С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь.

ГЛАВА VI

«Итак, все кончено, — сказал он сам себе, — еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей

нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченную на перила в белом утреннем платье с алой розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства, — подумал Владимир, — он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей, а в ее спальней, в комнате... где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет! нет! пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец все утихло.

Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большею частию состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью: письмо моеї жены. С сильным движением чувства Владимир принял за них: они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия доброй подруги; в одном из них она изъясляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастья, и не заметил, как прошло время, стенные часы пробили одиннадцать. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. Двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу, — ключ лежал на столе, Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол; топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца. «Зачем ты здесь?» — спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы, — отвечал Архип пошепту, — господь помилуй и спаси! хорошо, что вы шли со свечою!» Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» — спросил он кузнеца.

— Я хотел... я пришел... было проведать, всё ли дома, — тихо отвечал Архип запинаясь.

— А зачем с тобою топор?

— Топор-то зачем? Да как же без топора нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники — того и гляди...

— Ты пьян, брось топор, поди выпись.

— Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свидетель, ни единой капли во рту не было... да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело, подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора... Эх они храпят, окаянные; всех бы разом, так и концы в воду.

Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип, — сказал он, немного помолчав, — не дело ты затеял. Не приказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною».

Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» — спросил Дубровский. «Мы, батюшка, — отвечал тонкий голос, — Василиса да Лукерья». — «Подите по дворам, — сказал им Дубровский, — вас не нужно». — «Шабаш», — промолвил Архип. «Спасибо, кормилец», — отвечали бабы и тотчас отправились домой.

Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему; они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» — спросил он их. «До сна ли нам, — отвечал Антон. — До чего мы дожили, кто бы подумал...»

— Тише! — перервал Дубровский, — где Егоровна?

— В барском доме, в своей светелке, — отвечал Гриша.

— Поди, приведи ее сюда да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных, а ты, Антон, запряги телегу.

Гриша ушел и через минуту явился с своею матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных, никто в доме не смыкал глаза.

— Все ли здесь? — спросил Дубровский, — не осталось ли никого в доме?

— Никого, кроме подьячих, — отвечал Гриша.

— Давайте сюда сена или соломы, — сказал Дубровский.

Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.

— Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!

Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину.

— Постой, — сказал он Архипу, — кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их.

Архип побежал в сени — двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвля вполголоса: «Как не так, отопри!» — и возвратился к Дубровскому.

Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось и осветило весь двор.

— Ахти, — жалобно закричала Егоровна, — Владимир Андреевич, что ты делаешь?

— Молчи, — сказал Дубровский. — Ну, дети, прощайте, иду куда бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином.

— Отец наш, кормилец, — отвечали люди, — умрем, не оставим тебя, идем с тобою.

Лошади были поданы; Дубровский сел с Гришею в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора.

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла трещали, сыпались, пылающие бревна стали падать, раздался жалобный вопль и крики: «Горим, помогите, помогите». — «Как не так», — сказал Архип, с злобой улыбкой взирающий на пожар. «Архипушка, — говорила ему Егоровна, — спаси их, окаянных, бог тебя наградит».

— Как не так, — отвечал кузнец.

В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли.

Скоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной метелью, избы загорелись.

— Теперь все ладно, — сказал Архип, — каково горит, а? чай, из Покровского славно смотреть.

В сию минуту новое явление привлекло его внимание; кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть; со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. «Чему смеетесь, бесенята, — сказал им сердито кузнец. — Бога вы не боитесь: божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь», — и, поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец со своей добычей полез вниз. «Ну, ребята, прощайте, — сказал он смущенной дворне, — мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом».

Кузнец ушел; пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистеневки.

ГЛАВА VII

На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из неосторожности, другие обвиняли при-



43

Иллюстрация Б. М. Кустодиева
Тушь, перо. 1919

44

Иллюстрация А. Ф. Пахомова
Карандаш. 1936

казных, подгулявших на новоселии, многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником сего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий и писарь, так же как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля; обгорелые кости их были отрыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа-кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип, по всеобщему показанию, был жив и, вероятно, главный, если не единственный, виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирила Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось.

Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. В ** появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые противу них правительством, оказались недостаточными. Грабительства, одно другого замечательнее, следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в села, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса; имя Дубровского было во всех устах, все были уверены, что он, а не кто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному: поместья Троекурова были пощажены; разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностью Троекуров приписывал сие исключение страху, который умел он внушить всей губернии, также и отменно хорошей полиции, им заведенной в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собою над высокомерием Троекурова и каждый день ожидали, чтоб незваные гости посетили Покровское, где было им чем поживиться, но наконец принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение... Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо.

Между тем наступило 1-е октября — день храмового праздника в селе Троекурова. Но прежде чем приступим к описанию сего торжества и дальнейших происшествий, мы должны позна-

комить читателя с лицами для него новыми, или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести.

ГЛАВА VIII

Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирилы Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было семнадцать лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать наверно, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседней редко езжали к Кириле Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирилы Петровича. Огромная библиотека, составленная большею частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме «Совершенной поварахи», не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирилы Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность и которую принужден он был наконец выслатить тихонько в другое поместье, когда следствия сего дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияния, которое видимо имела над Кирилом Петровичем, в чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирилы Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет девяти, напоминающий полуденные черты m-ше Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном, несмотря на то, что множество босых ребятешек, как две капли воды похожих на Кирилы Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирилы Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саша француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых.

Сей учитель понравился Кириле Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. Он представил Кирилу

Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из родственников Троёкурова, у которого четыре года жил он гувернером. Кирила Петрович все это пересмотрел и был недоволен одною молодостью своего француза — не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместным с терпением и опытностью, столь нужными в несчастном звании учителя, но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу (Кирила Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком).

— Подойди сюда, Маша; скажи ты этому мусье, что так и быть, принимаю его; только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмелился волочиться, не то я его, собачьего сына... переведи это ему, Маша.

Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение.

Француз ей поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности.

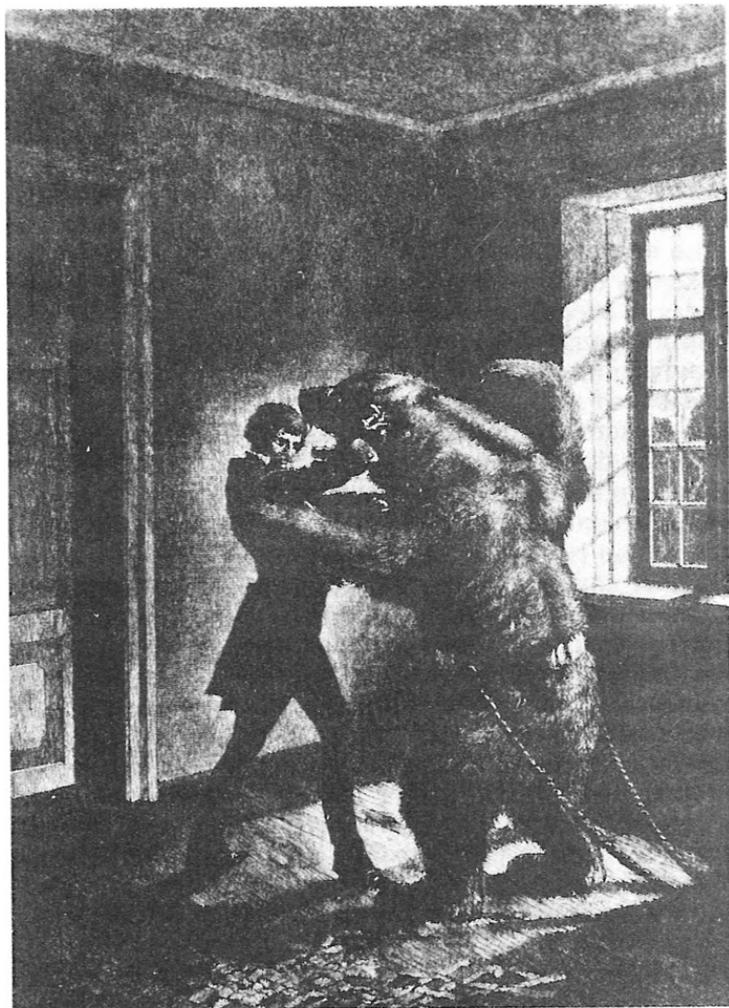
Маша слово в слово перевела его ответ.

— Хорошо, хорошо, — сказал Кирила Петрович, — не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматике да географии, переведи это ему.

Марья Кириловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирила Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната.

Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впечатления, ею произведенного на m-г Дефоржа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие.

На дворе у Кирила Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирила Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь, в ожидании настоящей травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрогивался, колот себе лапы, осердясь толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, покамест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его



45
Иллюстрация Р. Ф. Штейна
Ксилография. 1887

ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю божию. Но лучшею шуткою почиталась у Кирила Петровича следующая.

Прогладавшегося медведя запрут, бывало, в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынноиком. Бедный гость, с оборванной полою и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых три часа стоять прижавшись к стене и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина! Несколько дней спустя после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате: для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собою темными коридорами; вдруг боковая дверь открылась, двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него... Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приблизился, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Всё сбжалось, двери отворились, Кирила Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки. Кирила Петрович хотел непременно объяснения всему делу: кто предварил Дефоржа о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет. Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.

— Я не слыхивал о медведе, — отвечал Дефорж, — но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званью, не могу требовать удовлетворения.

Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кирилу Петровичу. Кирила Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру; потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! не струсил, ей-богу, не струсил». С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уж его пробовать.

Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марию Кириловну. Воображение ее было поражено: она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор

стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ими основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности; Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже не трудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.

ТОМ ВТОРОЙ

ГЛАВА IX

Накануне праздника гости начали съезжаться, иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В девять часов утра заблаговестили к обедне, и всё потянулось к новой каменной церкви, построенной Кирилом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась, ждали Кирила Петровича. Он приехал в коляске шестернею и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Мариею Кириловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее; первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе, Кирила Петрович сам подтягивал, молился, не смотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул *и о зиждителе храма сего*.

Обедня кончилась. Кирила Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирила Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и насилу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах, мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собой. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляли бутылки и графины и прилаживали скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «кушание поставлено», — и Кирила Петрович первый пошел садиться за стол, за ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство, барышни стеснились между

собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши.

Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей, Кирила Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная шестью лошадьми. «Это кто?» — спросил хозяин. «Антон Пафнутьич», — отвечали несколько голосов. Двери открылись, и Антон Пафнутьич Спицын, толстый мужчина лет пятидесяти с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться... «Прибор сюда, — закричал Кирила Петрович, — милости просим, Антон Пафнутьич, садись, да скажи нам, что это значит: не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже, ты и богомолен и покушать любишь». — «Виноват, — отвечал Антон Пафнутьич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана, — виноват, батюшка Кирила Петрович, я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и десяти верст, вдруг шина у переднего колеса пополам — что прикажешь? К счастью, недалеко было от деревни; пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да всё кое-как уладили, прошли ровно три часа, делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, а пустился в объезд...»

— Эге! — прервал Кирила Петрович, — да ты, знать, не из храброго десятка; чего ты боишься?

— Как чего боюсь, батюшка Кирила Петрович? а Дубровского-то; того и гляди попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерет.

— За что же, братец, такое отличие?

— Как за что, батюшка Кирила Петрович? а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли в удовольствие ваше, т.е. по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник (царство ему небесное) обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкино. Доселе бог миловал. Всего-навсе разграбили у меня один анбар, да того и гляди до усадьбы доберутся.

— А в усадьбе-то будет им раздолье, — заметил Кирила Петрович, — я чай, красная шкатулочка полным полна...

— Куда, батюшка Кирила Петрович. Была полна, а нынче совсем опустела!

— Полно врать, Антон Пафнутьич. Знаем мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь свинья свиной, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь да и только.

— Вы всё изволите шутить, батюшка Кирила Петрович, — пробормотал с улыбкою Антон Пафнутьич, — а мы, ей-богу, разорились, — и Антон Пафнутьич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирила Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.

— А что, господин исправник, поймаете хоть вы Дубровского?

Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец:

— Постараемся, ваше превосходительство.

— Гм, постараемся. Давно, давно стараются, а проку все-таки нет. Да правда, зачем и ловить его. Разбой Дубровского благодать для исправников: разъезды, следствия, подводы, а деньга в карман. Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?

— Суцая правда, ваше превосходительство, — отвечал совершенно смутившийся исправник.

Гости захохотали.

— Люблю молодца за искренность, — сказал Кирила Петрович, — а жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича; кабы не сожгли его, так в околотке было бы тише. А что слышно про Дубровского? где его видели в последний раз?

— У меня, Кирила Петрович, — пропищал толстый дамский голос, — в прошлый вторник обедал он у меня...

Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.

— Надобно знать, что тому три недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела; однако сами изволите знать: офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю: город близко, всего семь верст, авось бог пронесет. Смотрю: вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш — я так и ахнула. — «Что такое? что с тобою сделалось?» Он мне: «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили; самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился и отпустил, зато всего обобрал, отнял и лошадь и телегу». Я обмерла; царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего: написала я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег.

Прошла неделя, другая — вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидаться: милости просим; входит ко мне человек лет тридцати пяти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, суший портрет Кульнева, рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича; он-де ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его чем бог послал, разговорились о том о сем, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно, — сказал он, — я слышал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет; нет ли тут плутни, прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком, он явился; только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват — грех попутал — солгал». — «Коли так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, — продолжал генерал, — рассказывай: где ты встретился с Дубровским?» — «У двух сосен, батюшка, у двух сосен». — «Что же сказал он тебе?» — «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем?» — «Ну, а после?» — «А после потребовал он письмо и деньги». — «Ну». — «Я отдал ему письмо и деньги». — «А он?.. Ну — а он?» — «Батюшка, виноват». — «Ну, что ж он сделал?..» — «Он возвратил мне деньги и письмо да сказал: ступай себе с богом, отдай это на почту». — «Ну, а ты?» — «Батюшка, виноват». — «Я с тобою, голубчик, управлюсь, — сказал грозно генерал, — а вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство, нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли; генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.

Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклиф.

— И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский? — спросил Кирила Петрович. — Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.

— Как, батюшка, не Дубровский, да кто же, как не он, выедет на дорогу и станет останавливать прохожих да их осматривать.

— Не знаю, а уж верно не Дубровский. Я помню его ребенком; не знаю, почернели ль у него волосы, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик, но знаю наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши и что, следовательно, ему не тридцать пять, а около двадцати трех.

— Точно так, ваше превосходительство, — провозгласил исправник, — у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду двадцать третий год.

— А! — сказал Кирила Петрович, — кстати: прочти-ка, а мы послушаем; не худо нам знать его приметы, авось в глаза попадется, так не вывернется.

Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностию и стал читать нараспев:

— «Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей.

От роду 23 года, *роста* среднего, *лицом* чист, *бороду* бреет, *глаза* имеет карие, *волосы* русые, *нос* прямой. *Приметы особые*: таковых не оказалось».

— И только, — сказал Кирила Петрович.

— Только, — отвечал исправник, складывая бумагу.

— Поздравляю, г-н исправник. Ай да бумага! по этим приметам немудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза! Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные.

Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уж несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цимлянского громко были откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского, лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.

— Нет, — продолжал Кирила Петрович, — уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич! Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил: таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступить в это дело да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отряжу человек двадцать, так они очистят воровскую рошу; народ не трусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятятся.

— Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирила Петрович? — сказал Антон Пафнутьич, вспомня при сих словах о своем косма-

том знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.

— Миша приказал долго жить, — отвечал Кирила Петрович. — Умер славною смертью, от руки неприятеля. Вон его победитель, — Кирила Петрович указывал на Дефоржа, — вымеченный образ моего француза. Он отомстил за твою... с позволения сказать... Помнишь?

— Как не помнить, — сказал Антон Пафнутьич почесываясь, — очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?

Кирила Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только ни окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением поглядывали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.

Обед, продолжавшийся около трех часов, кончился; хозяин положил салфетку на стол, все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофей, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой.

ГЛАВА X

Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостию молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам, все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался, он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Нескольким раз кружился он с Марьей Кириловною, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать.

Отсутствие Кирила Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девушки смеялись и перешептывались со своими соседями; дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и

хохотали, — словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний.

Один только человек не участвовал в общей радости: Антон Пафнютыч сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться.

Антон Пафнютыч, призывая господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал: красная шкатулка точно была пуста, деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную суму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностью успокоивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры, он искал глазами надежного товарища и выбрал наконец Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнютыч не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнютыч стал вертеться около молодого француза, побрякивая и откашливаясь, и наконец обратился к нему с изъяснением.

— Гм, гм, нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конуре, потому что извольте видеть...

— *Que désire monsieur?*¹ — спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.

— Эх беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Же ве, муа, ше ву куше², понимаешь ли?

— *Monsieur, très volontiers,* — отвечал Дефорж, — *veuillez donner des ordres en conséquence*³.

Антон Пафнютыч, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться.

Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату, ему назначенную. А Антон Пафнютыч пошел с учителем во флигель. Ночь была темная. Дефорж освещал дорогу фонарем, Антон Пафнютыч шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную суму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем.

Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться; между тем Антон Пафнютыч похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головою при сем неутешитель-

¹ Чего изволите? (франц.).

² Я хочу спать у вас (франц.).

³ Сделайте одолжение, сударь... извольте соответственно распорядиться (франц.).

ном смотре. Двери запирались одною задвижкой, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения; француз его не понял, и Антон Пафнутьич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.

— Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше?¹ — закричал Антон Пафнутьич, спрягая с грехом пополам русский глагол *тушу* на французский лад. — Я не могу, дормир², в потемках. — Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи.

— Проклятый басурман, — проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. — Нужно ему было свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня. — Мусье, мусье, — продолжал он, — же ве авек ву парле³. — Но француз не отвечал и вскоре захрапел.

«Храпит bestия француз, — подумал Антон Пафнутьич, — а мне так сон и в ум нейдет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его, bestию, и пушками не добудишься».

— Мусье! а мусье! дьявол тебя поberi.

Антон Пафнутьич замолчал, усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его боязливость, он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно.

Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутьич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа: француз в одной руке держал карманный пистолет, а другою отстегивал заветную суму. Антон Пафнутьич обмер.

— Кесь ке се, мусье, кесь ке се?⁴ — произнес он трепещущим голосом.

— Тише, молчать, — отвечал учитель чистым русским языком, — молчать или вы пропали. Я Дубровский.

ГЛАВА XI

Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы еще рассказать.

На станции ** в доме смотрителя, о коем уже мы упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обли-

¹ Зачем вы *тушите*, зачем вы *тушите*? (франц.).

² Спать (франц.).

³ Я хочу с вами говорить (франц.).

⁴ Что это, сударь, что это? (франц.).

чающим разночинца или иностранца, т.е. человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал в окно и посвистывал, к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкою.

— Вот бог послал свистуна, — говорила она вполголоса, — эк посвистывает, чтоб он лопнул, окаянный басурман.

— А что? — сказал смотритель, — что за беда, пускай себе свищет.

— Что за беда? — возразила сердитая супруга. — А разве не знаешь приметы?

— Какой приметы? что свист деньгу выживает? И! Пахомовна, у нас, что свисти, что нет: а денег все нет как нет.

— Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту.

— Подождет, Пахомовна; на конюшне всего три тройки, четвертая отдыхает. Того и гляди подоспеют хорошие проезжие; не хочу своею шеей отвечать за француза. Чу! так и есть! вон скажут. Э-ге-ге, да как шибко; уж не генерал ли?

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю; вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.

— Лошадей, — сказал офицер повелительным голосом.

— Сейчас, — отвечал смотритель. — Пожалуйста подорожную.

— Нет у меня подорожной. Я еду в сторону... Разве ты меня не узнаешь?

Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши: кто такой проезжий.

— Бог его ведает, — отвечала смотрительша, — какой-то француз. Вот уж пять часов как дожидается лошадей да свищет. Надоел, проклятый.

Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.

— Куда изволите вы ехать? — спросил он его.

— В ближний город, — отвечал француз, — оттуда отправлюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учителя. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, г-н офицер.

— А к кому из здешних помещиков определились вы? — спросил офицер.

— К г-ну Троекурову, — отвечал француз.

— К Троекурову? кто такой этот Троекуров?

— Ma foi, mon officier...¹ я слышал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями (avec les outchitels) он не церемонится и уже двух засек до смерти.

— Помилуйте! и вы решились определиться к такому чудовищу.

— Что же делать, г-н офицер. Он предлагает мне хорошее жалование, три тысячи рублей в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости, и тогда bonsoir², еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.

Офицер задумался.

— Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? — спросил он.

— Никто, — отвечал учитель. — Меня он выписал из Москвы чрез одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондиторы, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее...

— Послушайте, — прервал <офицер> француза, — что если бы вместо этой будущности предложили вам десять тысяч чистыми деньгами с тем, чтобы сей же час отправились обратно в Париж?

Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.

— Лошади готовы, — сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое.

— Сейчас, — отвечал офицер, — выдьте вон на минуту. — Смотритель и слуга вышли. — Я не шучу, — продолжал он по-французски, — десять тысяч могу я вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги. — При этих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.

Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.

— Мое отсутствие... мои бумаги... — повторял он с изумлением. — Вот мои бумаги... Но вы шутите: зачем вам мои бумаги?

— Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?

Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.

— Ваш паспорт... хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении, прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Прощайте.

¹ Право, господин офицер... (франц.).

² Прощайте (франц.).

Француз стоял как вкопанный.

Офицер воротился.

— Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами, честное ваше слово.

— Честное мое слово, — отвечал француз. — Но мои бумаги, что мне делать без них?

— В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здравье.

Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал.

Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием: «Пахомовна, знаешь ли ты что? ведь это был Дубровский».

Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно: Дубровский был уж далеко. Она принялась бранить мужа:

— Бога ты не боишься, Сидорыч, зачем ты не сказал мне того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтоб он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!

Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги, все казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут, у него в кармане, и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия.

Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города.

Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился восвояси — без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами.

Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения (мы их узнаем после), но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы, зато с большим прилежанием следовал за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Все любили молодого учи-

теля, Кирила Петрович — за его смелое проворство на охоте, Марья Кириловна — за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша — за снисходительность к его шалостям, домашние — за доброту и за щедрость, по-видимому несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оногo.

Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного праздника, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло стать и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствие начальника.

Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнutyча неожиданным своим превращением из учителей в разбойники.

В девять часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кириловна, а Кирила Петрович в байковом сертуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнutyч; он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил и что Кирила Петрович осведомился о его здравии. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова; Антон Пафнutyч спешил откланяться и, несмотря на увещания хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирила Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровское опустело, и все вошло в обыкновенный порядок.

ГЛАВА XII

Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирила Петрович ежедневно выезжал на охоту; чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кириловну, особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце

и признавалась, с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он с своей стороны не выходил из пределов почтения и строгой пристойности и тем успокоивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостию предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или незапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце.

Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кириловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепьяно, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкою записку. Марья Кириловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кириловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее:

«Будьте сегоднѣ в 7 часов в бесѣдке у ручья. Мне необходимо с вами говорить».

Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объяснение от человека, который по состоянiю своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном: каким образом примет она признание учителя, с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смерклось, подали свечи, Кирилла Петрович сел играть в бостон с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад.

Ночь была темна, небо покрыто тучами, в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кириловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у бесѣдки; тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед нею.

— Благодарю вас, — сказал он ей тихим и печальным голосом, — что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы на то не согласились.

Марья Кириловна отвечала заготовленную фразой:

— Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности.

Он молчал и, казалось, собирался с духом.

— Обстоятельства требуют... я должен Вас оставить... — сказал он наконец. — Вы скоро, может быть, услышите... Но перед разлукой я должен с вами сам объясниться...

Марья Кириловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.

— Я не то, что вы предполагаете, — продолжал он, потупя голову, — я не француз Дефорж, я Дубровский.

Марья Кириловна вскрикнула.

— Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться — ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству, в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни... Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня... сей же час... Но прежде я должен был вам открыться, чтоб вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском, знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда...

Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился.

— Простите, — сказал Дубровский, — меня зовут, минута может погубить меня. — Он отошел, Марья Кириловна стояла неподвижно, Дубровский воротился и снова взял ее руку.

— Если когда-нибудь, — сказал он ей нежным и трогательным голосом, — если когда-нибудь несчастье вас постигнет и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня

всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?

Марья Кириловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.

— Вы меня губите! — закричал Дубровский. — Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа. Обещаетесь ли вы или нет?

— Обещаю, — прошептала бедная красавица.

Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кириловна возвращалась из сада. Ей показалось, что все люди разбежались, дом был в движении, на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка, издали услышала она голос Кирила Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирила Петрович, гости окружали исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым.

— Где ты была, Маша, — спросил Кирила Петрович, — не встретила ли ты т-г Дефоржа? — Маша насилу могла отвечать отрицательно.

— Вообрази, — продолжал Кирила Петрович, — исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский.

— Все приметы, ваше превосходительство, — сказал почти-тельно исправник.

— Эх, братец, — прервал Кирила Петрович, — убирайся, знаешь куда, со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, покамест сам не разберу дела. Как можно верить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и лгуну: ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?

— Француз застрашал его, ваше превосходительство, — отвечал исправник, — и взял с него клятву молчать...

— Вранье, — решил Кирила Петрович, — сейчас я все выведу на чистую воду. Где же учитель? — спросил он у вошедшего слуги.

— Нигде не найдут-с, — отвечал слуга.

— Так сыскать его, — закричал Троекуров, начинающий сомневаться. — Покажи мне твои хваленые приметы, — сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу. — Гм, гм, двадцать три года, роста середнего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой... Оно так, да это еще ничего не доказывает. Что же учитель?

— Не найдут-с, — был опять ответ. Кирила Петрович начинал беспокоиться, Марья Кириловна была ни жива ни мертва.

— Ты бледна, Маша, — заметил ей отец, — тебя перепугали.

— Нет, папенька, — отвечала Маша, — у меня голова болит.

— Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся. — Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату, там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Слу-



46

Иллюстрация Е. Ф. Капустина
Акварель. 1979

47

Иллюстрация Б. М. Кустодиева
Тушь, перо. 1919

жанки сбежались, раздели ее, насилу-насилу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами, ее уложили, и она впала в усыпление.

Между тем француза не находили. Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая «Гром победы раздавайся». Гости шептались между собою, исправник казался в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как? это оставалось тайною.

Било одиннадцать, и никто не думал о сне. Наконец Кирила Петрович сказал сердито исправнику:

— Ну что? ведь не до свету же тебе здесь оставаться, дом мой не харчевня, не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка восвояси да вперед будь расторопнее. Да и вам пора домой, — продолжал он, обратясь к гостям. — Велите закладывать, а я хочу спать.

Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями!

ГЛАВА XIII

Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирила Петровича.

В тридцати верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях, всем имением его управлял отставной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовом. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой отроду еще не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком.

Князю было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старше. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал. Кирила Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет; он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стриженными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился; он любил английские сады и так называемую природу, но

хвалил и восхищался; слуга пришел доложить, что кушание поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки и уже раскаиваясь в своем посещении.

Но в зале встретила их Марья Кириловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле ее. Князь был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирила Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своею подагрой; он предпочел прогулку в линейке, с тем чтоб не разлучаться с милою своею соседкою. Линейку заложили. Старики и красавица сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит?.. Кирила Петрович нахмурился; воспоминания, возбуждаемые в нем погорелой усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому.

— Дубровскому, — повторил Верейский, — как, этому славному разбойнику?

— Отцу его, — отвечал Троекуров, — да и отец-то был порядочный разбойник.

— Куда же девался наш Ринальдо? жив ли он, схвачен ли он?

— И жив и на воле, и покамест у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман; кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове?

— Да, прошлого году он, кажется, что-то сжег или разграбил... Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?

— Чего любопытно! — сказал Троекуров, — она знакома с ним: он целые три недели учил ее музыке, да слава богу не взял ничего за уроки. — Тут Кирила Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кириловна сидела как на иголках, Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменял разговор. Возвратясь, он велел подавать свою карету и, несмотря на усиленные просьбы Кирила Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирила Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кириловной, и гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и три тысячи душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным.

Два дня спустя после сего посещения Кирила Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к

Арбатову, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом расстилался густо-зеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Просторный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку молодой красавице. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт на три прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбацьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галереи картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кириловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кириловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего Амфитриона и искусству его повара, а Марья Кириловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофей в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов, посещали некоторые из них, на одном находили мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кириловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя; время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой; самовар их ожидал. Князь просил Марью Кириловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые рассказы любезного говоруна; вдруг раздался выстрел, и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кириловне шаль и позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кириловна веселилась как дитя. Князь Верецкий радовался ее восхищению, а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал *tous les frais*¹ князя, как знаки уважения и желанья ему угодить.

¹ Все старания (франц.).

Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.

ГЛАВА XIV

Марья Кириловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах, перед открытым окошком. Она не пугалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника, несмотря на то ее мысли не следовали за работой, они были далеко.

Вдруг в окошко тихонько протянулась рука, кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кириловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кирилу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет.

Кирила Петрович был не один. Князь Вережский сидел у него. При появлении Марьи Кириловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.

— Подойди сюда, Маша, — сказал Кирила Петрович, — скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает.

Маша остолбенела, смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастье. Маша молчала.

— Согласна, конечно, согласна, — сказал Кирила Петрович, — но знаешь, князь: девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы.

Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал ее руку, вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился.

— Пошла, пошла, пошла, — сказал Кирила Петрович, — осуши свои слезы и воротись к нам веселешенька. Они все плачут при помолвке, — продолжал он, обратясь к Вережскому, — это у них уж так заведено... Теперь, князь, поговорим о деле, т. е. о приданом.

Марья Кириловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя; он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным... брак пугал ее, как плаха, как могила... «Нет, нет, — повторяла она в отчаянии, —

лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме и с жадностью бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им и заключало только следующие слова:

«Вечером в 10 час. на прежнем месте».

ГЛАВА XV

Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду.

Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею.

— Я все знаю, — сказал он ей тихим и печальным голосом. — Вспомните ваше обещание.

— Вы предлагаете мне свое покровительство, — отвечала Маша, — но не сердитесь, оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помощь?

— Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.

— Ради бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите. Я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса...

— Я не трону его, воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнию. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца?

— Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит.

— Не надейтесь по-пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета; что, если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтоб навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа?..

— Тогда, тогда делать нечего, явитесь за мною, я буду вашей женою.

Дубровский затрепетал, бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову.

— Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам, представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика, решитесь на жестокое объяснение: скажите, что если он останется неумолим, то... то вы найдете ужасную защиту... скажите, что богатство не

доставит вам и одной минуты счастья; роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение; не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Если ж не будет уже другого средства...

Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался. Маша плакала...

— Бедная, бедная моя участь, — сказал он, горько вздохнув. — За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать: ангел, умрем! бедный, я должен остерегаться от блаженства, я должен отдалять его всеми силами. Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную незаслуженную награду. О, как должен я ненавидеть того... но чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти.

Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали.

Время летело. «Пора», — сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо.

— Если решитесь прибегнуть ко мне, — сказал он, — то принесите кольцо сюда, опустите его в душло этого дуба. Я буду знать, что делать.

Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями.

ГЛАВА XVI

Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства. Кирила Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием.

Но время шло. Маша наконец решилась действовать и написала письмо князю Верейскому; она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому, тот прочел его наедине и нимало не был тронут откровенностию своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю.

Кирила Петрович взбесился; насилу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирила Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность, что мысль ее лишиться слишком для него тяжела и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. За сим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирила Петровича.

Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кириловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца.

— Папенька, — закричала она жалобным голосом, — папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женою...

— Это что значит, — сказал грозно Кирила Петрович, — до сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отречься. Не изволь дурачиться; этим со мною ты ничего не выиграешь.

— Не губите меня, — повторяла бедная Маша, — за что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому? разве я вам надоела? я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно, еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива, папенька: не принуждайте меня, не хочу идти замуж...

Кирила Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и, оттолкнув ее, сказал сурово:

— Все это вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба.

— Послезавтра! — вскрикнула Маша, — боже мой! Нет, нет, невозможно, этому не быть. Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете, вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели.

— Что? что? — сказал Троекуров, — угрозы! мне угрозы, дерзкая девчонка! Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня страшить защитником. Посмотрим, кто будет этот защитник.

— Владимир Дубровский, — отвечала Маша в отчаянии.

Кирила Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением.

— Добро, — сказал он ей, после некоторого молчания. — Жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате, ты из нее не выйдешь до самой свадьбы. — С этим словом Кирила Петрович вышел и запер за собою двери.

Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ожидало ее, но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее: избавиться от ненавистного брака; участь супруги разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду близ беседки; она решилась пойти ожидать его там, как только станет смеркаться. Смерклось. Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирила Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная, она села под окошко и до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На расвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.

ГЛАВА XVII

Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирила Петрович вечером ездил в Арбатове и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтоб никто с нею не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кириловну и снова заперла двери.

Ее слова ожесточили молодую затворницу, голова ее кипела, кровь волновалась, она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в душло заветного дуба; в это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело, и Марья Кириловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.

— Здравствуй, Саша, — сказала она, — зачем ты меня зовешь?

— Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас все сделаю.

— Спасибо, милый мой Сашенька, слушай: ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?

— Знаю, сестрица.

— Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтоб никто тебя не видал.

С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко.

Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в три минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марье Кириловне, как вдруг оборванный мальчишка, рыжий и косой, мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками.

— Что ты здесь делаешь? — сказал он грозно.

— Тебе како дело? — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться.

— Оставь это кольцо, рыжий заяц, — кричал Саша, — или я проучу тебя по-свойски.

Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во все горло: «Воры, воры — сюда, сюда...»

Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, двумя годами старше Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу наземь и схватил его за горло.

Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие и щетиновые волосы, и садовник Степан приподнял его на пол-аршина от земли...

— Ах, ты, рыжая бестия, — говорил садовник, — да как ты смеешь бить маленького барина...

Саша успел вскочить и оправиться.

— Ты меня схватил под силки, — сказал он, — а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо и убирайся.

— Как не так, — отвечал рыжий и, вдруг перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног, садовник снова его схватил и связал кушаком.

— Отдай кольцо! — кричал Саша.

— погоди, барин, — сказал Степан, — мы сведем его на расправу к приказчику.

Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кирилом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.

— Это что? — спросил он Степана.

Степан в коротких словах описал все происшествие. Кирила Петрович выслушал его со вниманием.

— Ты, повеса, — сказал он, обратясь к Саше, — за что ты с ним связался?

— Он украл из дупла кольцо, папенька, прикажите отдать кольцо.

— Какое кольцо, из какого дупла?

— Да мне Марья Кириловна... да то кольцо...

Саша смутился, спутался. Кирила Петрович нахмурился и сказал, качая головою:

— Тут замешалась Марья Кириловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь.

— Ей-богу, папенька, я, папенька... Мне Марья Кириловна ничего не приказывала, папенька.

— Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую, свежую березовую розгу...

— Постойте, папенька, я все вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошко, и я подбежал, и сестрица не нарочно уронила кольцо, и я спрятал его в дупло, и... и... этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть...

— Не нарочно уронила, а ты хотел спрятать... Степан, ступай за розгами.

— Папенька, погодите, я все расскажу. Сестрица Марья Кириловна велела мне сбежать к дубу и положить кольцо в дупло, я и сбежал и положил кольцо, а этот скверный мальчик...

Кирила Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно: «Чей ты?»

— Я дворовый человек господ Дубровских, — отвечал рыжий мальчик.

Лицо Кирила Петровича омрачилось.

— Ты, кажется, меня господином не признаешь, добро, — отвечал он. — А что ты делал в моем саду?

— Малину крал, — отвечал мальчик с большим равнодушием.

— Ага, слуга в барина, каков поп, таков и приход, а малина разве растет у меня на дубах?

Мальчик ничего не отвечал.

— Папенька, прикажите ему отдать кольцо, — сказал Саша.

— Молчи, Александр, — отвечал Кирила Петрович, — не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату. Ты, косой, ты мне кажешься малый не промах. Отдай кольцо и ступай домой.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

— Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку, дам еще пятак на орехи. Не то, я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну!

Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.

— Добро, — сказал Кирила Петрович, — запереть его куда-нибудь да смотреть, чтоб он не убежал, или со всего дома шкуру спущу.

Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.

— Сейчас ехать в город за исправником, — сказал Кирила Петрович, проводив мальчика глазами, — да как можно скорее.

«Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношения с проклятым Дубровским. Но ужели и в самом деле она звала его на помощь? — думал Кирила Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая «Гром победы». — Может быть, я наконец нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим случаем. Чу! колокольчик, слава богу, это исправник».

— Гей, привести сюда мальчишку пойманного.

Между тем тележка въехала во двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату весь запыленный.

— Славная весть, — сказал ему Кирила Петрович, — я поймал Дубровского.

— Слава богу, ваше превосходительство, — сказал исправник с видом обрадованным, — где же он?

— То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. Вот его и привели.

Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев тринадцатилетнего мальчика, довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кирилу Петровичу и ждал объяснения. Кирила Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая, однако ж, о Марье Кириловне.

Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на все, что делалось около него.

— Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине, — сказал наконец исправник.

Кирила Петрович повел его в другую комнату и запер за собою дверь.

Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.

— Барин хотел, — сказал ему исправник, — посадить тебя в городской острог, выстегать плетью и сослать потом на поселение, но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение. Развязать его.

Мальчика развязали.

— Благодарю же барина, — сказал исправник. Мальчик пошел к Кирилу Петровичу и поцеловал у него руку.

— Ступай себе домой, — сказал ему Кирила Петрович, — да вперед не крадь малины по дуплам.

Мальчик вышел, весело прыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первой с края, и постучал в окошко; окошко поднялось, и старуха показалась.

— Бабушка, хлеба, — сказал мальчик, — я с утра ничего не ел, умираю с голоду.

— Ах, это ты, Митя. Да где ж ты пропадал, бесенок? — отвечала старуха.

— После расскажу, бабушка, ради бога хлеба.

— Да войди ж в избу.

— Некогда, бабушка, мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба.

— Экой непосед, — проворчала старуха, — на, вот тебе ломтик, — и сунула в окошко ломоть черного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и, жуя, мигом отправился далее.

Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедши до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать; легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ, кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

ГЛАВА XVIII

Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню; весь дом был в движении, слуги бегали, девки суетились, в сарае кучера закладывали карету, на дворе толпился народ. В уборной барышни, перед зеркалом, дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кириловну, голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов, она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало.

— Скоро ли? — раздался у дверей голос Кирилы Петровича.

— Сию минуту, — отвечала дама. — Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли?

Марья Кириловна встала и не отвечала ничего. Двери открылись.

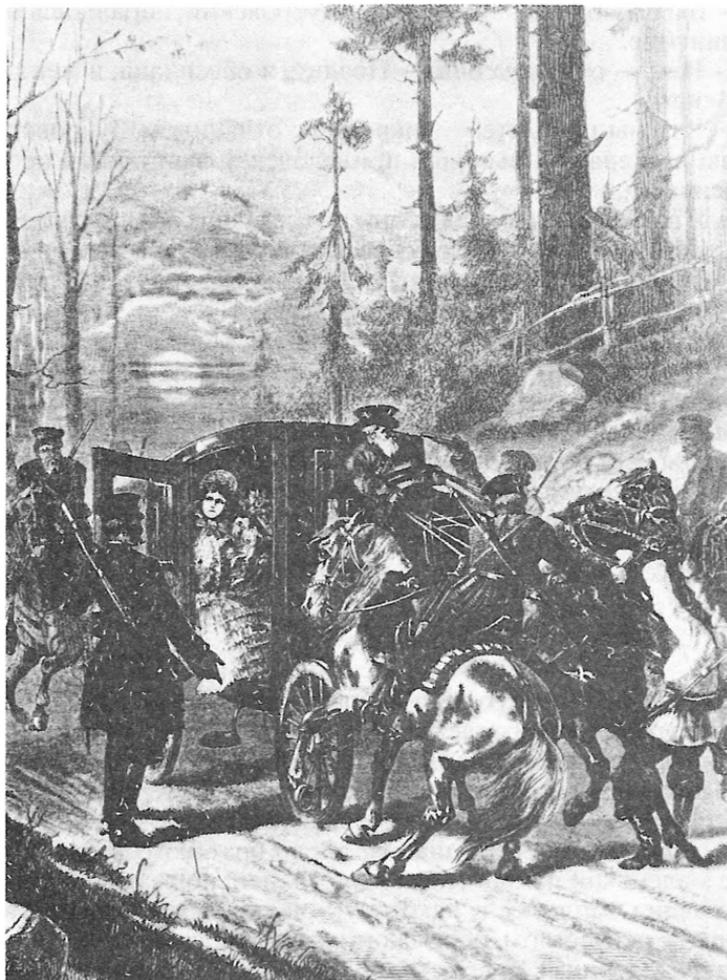
— Невеста готова, — сказала дама Кирилу Петровичу, — прикажите садиться в карету.

— С богом, — отвечал Кирила Петрович и, взяв со стола образ, — подойди ко мне, Маша, — сказал он ей тронутым голосом, — благословляю тебя... — Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала.

— Папенька... папенька... — говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирила Петрович спешил ее благословить, ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженная мать и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь; за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном, с самого утра она ждала Дубровского, надежда ни на минуту ее не покидала, но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала; священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова.

Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обежал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово; туда уже отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женой князь нимало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около десяти верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите». — «Что это значит, — закричал князь, — кто ты такой?..» — «Это Дубровский», — сказала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи.

— Не трогать его! — закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили.



48
Иллюстрация Р. Ф. Штейна
Ксилография
1887

— Вы свободны, — продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.

— Нет, — отвечала она. — Поздно, я обвенчана, я жена князя Верейского.

— Что вы говорите! — закричал с отчаянием Дубровский, — нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться...

— Я согласилась, я дала клятву, — возразила она с твердостью, — князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты... Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас.

Но Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана.

ГЛАВА XIX

Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землянок.

На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги; он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкою с искусством, обличающим опытного портного, и поминутно посматривал во все стороны.

Хотя некоторый ковщик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало в сей толпе; разбойники отобедали, один после другого вставал и молился богу, некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению.

Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою ружлядь, полюбовался заплатою, приколол к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую старую песню:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне молодцу думу думати.

В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалась у порога. «Полно тебе, Степка, — сказала она сердито, — барин почивает, а ты знай горланишь; нет у вас ни совести, ни жалости». — «Виноват, Егоровна, — отвечал Степка, — ладно, больше не буду, пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает». Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу.

В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкою, раненый Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Землянка устлана и обвешана была богатыми коврами, в углу находился женский серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался.

Вдруг Дубровский вздрогнул: в укреплении сделалась тревога, и Степка просунул к нему голову в окошко. «Батюшка, Владимир Андреевич, — закричал он, — наши знак подают, нас ищут». Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе; при его появлении настало глубокое молчание. «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Все, кроме дозорных», — отвечали ему. «По местам!» — закричал Дубровский. И разбойники заняли каждый определенное место. В сие время трое дозорных прибежали к воротам. Дубровский пошел к ним навстречу. «Что такое?» — спросил он их. «Солдаты в лесу, — отвечали они, — нас окружают». Дубровский велел запереть ворота и сам пошел освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов и стали приближаться; разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам. «Готовиться к бою», — сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох, снова все утихло. Тогда услышали шум приближающейся команды, оружия блеснули между деревьями, человек полтора солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен: одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед, солдаты за ним последовали и сбежали в ров; разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставя во рву человек двадцать раненых товарищей. Рукопашный бой завязался, солдаты уже были на валу, разбойники начали уступать, но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил, офицер грянулся навзничь. Несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес,

прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутою недоумения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие побежали, разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости, приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велел отлучаться.

Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после¹ <...> он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни. «Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло». После сей речи он оставил их, взяв с собою одного **. Никто не знал, куда он девался. Сначала сомневались в истине сих показаний: приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении. Но последствия их оправдали; грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.

¹ Далее пропуск в рукописи.

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ

ГЛАВА I

— Quel est cet homme?

— На, c'est un bien grand talent, il fait de sa voix tout ce qu'il veut.

— Il devrait bien, madame, s'en faire une culotte¹.

Чарский был один из коренных жителей Петербурга. Ему не было еще тридцати лет; он не был женат; служба не обременяла его. Покойный дядя его, бывший виц-губернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение. Жизнь его могла быть очень приятна; но он имел несчастье писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских сочинителем.

Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться: кроме права ставить винительный падеж вместо родительного и еще кой-каких так называемых поэтических вольностей, мы никаких особенных преимуществ за русскими стихотворцами не ведаем) — как бы то ни было, несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия. Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека, тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно, что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? — Красавица его покупает себе альбом в Английском магазине и ждет уж элегии. Приедет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле, тот уж кличет своего

¹ Что это за человек? — О, это большой талант; из своего голоса он делает все, что захочет. — Ему бы следовало, сударыня, сделать из него себе штаны (франц.).

сынка и заставляет читать стихи такого-то; и мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще цветы ремесла! Каковы же должны быть невзгоды? Чарский признавался, что приветствия, запросы, альбомы и мальчишки так ему надоедали, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости.

Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братьи литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостью и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя; книги не валялись по столам и под столами; диван не был обрызган чернилами; не было того беспорядка, который обличает присутствие музы и отсутствие метлы и щетки. Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставлял его с пером в руках. Трудно поверить, до каких мелочей мог доходить человек, одаренный, впрочем, талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом; хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретениям французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную; торчал на всех балах, обедался на всех дипломатических обедах и на всяком званом вечере был также неизбежим, как резановское мороженое.

Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая *дрянь* (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь и слыша поминутно славный вопрос: не написали ли вы чего-нибудь новенького?

Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами и вы обретаєте живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли. Чарский погружен был душою в сладостное забвение... и свет, и мнения света, и его собственные причуды для него не существовали. Он писал стихи.

Вдруг дверь его кабинета скрипнула и незнакомая голова показалась. Чарский вздрогнул и нахмурился.

— Кто там? — спросил он с досадою, проклиная в душе своих слуг, никогда не сидевших в передней.

Незнакомец вошел. Он был высокого росту, худощав и казался лет тридцати. Черты смуглого его лица были выразительны: бледный высокий лоб, осененный черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающая впалые желто-смуглые щеки, обличали в нем иностранца. На нем был черный фрак, побелевший уже по швам; панталоны летние (хотя на дворе стояла уже глубокая осень); под истертым черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз; шершавая шляпа, казалось, видала и ведро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе — за политического заговорщика; в передней — за шарлатана, торгующего эликсирами и мышьяком.

— Что вам надобно? — спросил его Чарский на французском языке.

— Signor, — отвечал иностранец с низкими поклонами. — Lei voglia perdonarmi se...¹

Чарский не предложил ему стула и встал сам, разговор продолжался на итальянском языке.

— Я неаполитанский художник, — говорил незнакомый, — обстоятельства принудили меня оставить отечество. Я приехал в Россию в надежде на свой талант.

Чарский подумал, что неаполитанец собирается дать несколько концертов на виолончеле и развозит по домам свои билеты. Он уже хотел вручить ему свои двадцать пять рублей и скорее от него избавиться, но незнакомец прибавил:

— Надеюсь, Signor, что вы сделаете дружеское вспоможение своему собрату и введете меня в дома, в которые сами имеете доступ.

Невозможно было нанести тщеславию Чарского оскорбления более чувствительного. Он спесиво взглянул на того, кто назывался его собратом.

— Позвольте спросить, кто вы такой и за кого вы меня принимаете? — спросил он, с трудом удерживая свое негодование.

Неаполитанец заметил его досаду.

— Signor... — отвечал он запинаясь, — ho creduto... ho sentito... la vostra eccellenza mi perdonera...²

— Что вам угодно? — повторил сухо Чарский.

— Я много слышал о вашем удивительном таланте; я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту, — отвечал итальянец, — и потому осмелился к вам явиться...

¹ Синьор <...> простите меня, пожалуйста, если... (итал.).

² Синьор <...> я думал... я считал... ваше сиятельство, простите меня... (итал.).

— Вы ошибаетесь, Signor, — прервал его Чарский. — Звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (черт их побери!) этого не знают, то тем хуже для них. У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения *libretto*¹. У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможения. Впрочем, вероятно вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но, слава богу, с господами стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу.

Бедный итальянец смутился. Он поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках, поразили его. Он понял, что между надменным *dandy*², стоящим перед ним в хохлатой парчовой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом, в истертом галстуке и поношенном фраке, ничего не было общего. Он проговорил несколько несвязных извинений, поклонился и хотел выйти. Жалкий вид его тронул Чарского, который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия.

— Куда ж вы? — сказал он итальянцу. — Пойдите... Я должен был отклонить от себя незаслуженное титуло и признаться вам, что я не поэт. Теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам услужить, в чем только будет возможно. Вы музыкант?

— Нет, *eccellenza*!³ — отвечал итальянец, — я бедный импровизатор.

— Импровизатор! — вскрикнул Чарский, почувствовав всю жестокость своего обхождения. — Зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор? — и Чарский сжал ему руку с чувством искреннего раскаяния.

Дружеский вид его ободрил итальянца. Он простодушно разговаривал о своих предположениях. Наружность его не была обманчива; ему деньги были нужны; он надеялся в России кое-как поправить свои домашние обстоятельства. Чарский выслушал его со вниманием.

— Я надеюсь, — сказал он бедному художнику, — что вы будете иметь успех: здешнее общество никогда еще не слышало импровизатора. Любопытство будет возбуждено; правда, итальянский язык у нас не в употреблении, вас не поймут; но это не беда; главное — чтоб вы были в моде.

¹ Либретто (*итал.*).

² Денди, щеголь (*англ.*).

³ Ваше сиятельство (*итал.*).

— Но если у вас никто не понимает итальянского языка, — сказал призадумавшись импровизатор, — кто ж поедет меня слушать?

— Поедут — не опасайтесь: иные из любопытства, другие, чтоб провести вечер как-нибудь, третьи, чтоб показать, что понимают итальянский язык; повторяю, надобно только, чтоб вы были в моде; а вы уж будете в моде, вот вам моя рука.

Чарский ласково расстался с импровизатором, взяв себе его адрес, и в тот же вечер он поехал за него хлопотать.

ГЛАВА II

Я царь, я раб, я червь, я бог.

Державин.

На другой день Чарский в темном и нечистом коридоре трактира отыскивал 35-ый номер. Он остановился у двери и постучался. Вчерашний итальянец отворил ее.

— Победа! — сказал ему Чарский, — ваше дело в шляпе. Княгиня ** дает вам свою залу; вчера на рауте я успел завербовать половину Петербурга; печатайте билеты и объявления. Ручаюсь вам если не за триумф, то по крайней мере за барыш...

— А это главное! — вскричал итальянец, изъявляя свою радость живыми движениями, свойственными южной его породе. — Я знал, что вы мне поможете. *Согро ди Вассо!*¹ Вы поэт, так же, как и я; а что ни говори, поэты славные ребята! Как изъявлю вам мою благодарность? постойте... хотите ли выслушать импровизацию?

— Импровизацию!.. разве вы можете обойтись и без пубрики, и без музыки, и без грома рукоплесканий?

— Пустое, пустое! Где найти мне лучшую публику? Вы поэт, вы поймете меня лучше их, и ваше тихое ободрение дороже мне целой бури рукоплесканий... Садитесь где-нибудь и задайте мне тему.

Чарский сел на чемодане (из двух стульев, находившихся в тесной конурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем). Импровизатор взял со стола гитару и стал перед Чарским, перебирая струны костлявыми пальцами и ожидая его заказа.

— Вот вам тема, — сказал ему Чарский, — *поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением.*

Глаза итальянца засверкали, он взял несколько аккордов, гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его... Вот они, вольно переданные

¹ Черт возьми! (*итал.*).



49

Иллюстрация А. И. Кравченко
Ксилография
1934

одним из наших приятелей со слов, сохранившихся в памяти Чарского.

Поэт идет — открыты вежды,
Но он не видит никого;
А между тем за край одежды
Прохожий дергает его...
«Скажи: зачем без цели бродишь?
Едва достиг ты высоты,
И вот уж долу взор низводишь
И низойти стремишься ты.
На стройный мир ты смотришь смутно;
Бесплодный жар тебя томит;
Предмет ничтожный по минутно
Тебя тревожит и манит.
Стремиться к небу должен гений,
Обязан истинный поэт
Для вдохновенных песнопений
Избрать возвышенный предмет».
— Зачем крутится ветер в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт: как Аквилон,
Что хочет, то и носит он —
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона, избирает
Кумир для сердца своего.

Итальянец умолк... Чарский молчал, изумленный и растроганный.

— Ну что? — спросил импровизатор.

Чарский схватил его руку и сжал ее крепко.

— Что? — спросил импровизатор, — каково?

— Удивительно, — отвечал поэт. — Как! Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашей собственностью, как

будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно. Итак, для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению?.. Удивительно, удивительно!..

Импровизатор отвечал:

— Всякий талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет, резцом и молотом раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными однообразными стопами? — Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волею — тщетно я сам захотел бы это изъяснить. Однако... надобно подумать о моем первом вечере. Как вы полагаете? Какую цену можно будет назначить за билет, чтобы публике не слишком было тяжело и чтобы я между тем не остался в накладе? Говорят, *la signora Catalani*¹ брала по 25 рублей? Цена хорошая...

Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика; но он очень хорошо понимал житейскую необходимость и пустился с итальянцем в меркантильные расчеты. Итальянец при сем случае обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивел Чарскому, который поспешил его оставить, чтобы не совсем утратить чувство восхищения, произведенное в нем блестящим импровизатором. Озабоченный итальянец не заметил этой перемены и проводил его по коридору и по лестнице с глубокими поклонами и уверениями в вечной благодарности.

ГЛАВА III

Цена за билет 10 рублей;
начало в 7 часов.

Афишка.

Зала княгини ** отдана была в распоряжение импровизатору. Подмостки были сооружены; стулья расставлены в двенадцать рядов; в назначенный день, с семи часов вечера, зала была освещена, у дверей перед столиком для продажи и приема билетов сидела старая долгоногая женщина в серой шляпе с надломленными перьями и с перстнями на всех пальцах. У подъезда стояли жандармы. Публика начала собираться. Чарский приехал из пер-

¹ Госпожа Каталани (*итал.*).

вых. Он принимал большое участие в успехе представления и хотел видеть импровизатора, чтоб узнать, всем ли он доволен. Он нашел итальянца в боковой комнатке, с нетерпением посматривающего на часы. Итальянец одет был театрально; он был в черном с ног до головы; кружевной воротник его рубашки был откинут, голая шея своею странной белизною ярко отделялась от густой и черной бороды, волоса опущенными клоками осеняли ему лоб и брови. Все это очень не понравилось Чарскому, которому неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра. Он после короткого разговора возвратился в залу, которая более и более наполнялась.

Вскоре все ряды кресел были заняты блестящими дамами; мужчины стесненной рамою стали у подмостков, вдоль стен и за последними стульями. Музыканты с своими пульпитрами занимали обе стороны подмостков. Посредине стояла на столе фарфоровая ваза. Публика была многочисленна. Все с нетерпением ожидали начала; наконец в половине осьмого музыканты засуетились, приготовили смычки и заиграли увертюру из «Танкреда». Всё уселось и примолкло, последние звуки увертюры прогремели... И импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон, с низкими поклонами приблизился к самому краю подмостков.

Чарский с беспокойством ожидал, какое впечатление произведет первая минута, но он заметил, что наряд, который показался ему так неприличен, не произвел того же действия на публику. Сам Чарский не нашел ничего в нем смешного, когда увидел его на подмостках, с бледным лицом, ярко освещенным множеством ламп и свечей. Плеск утих; говор умолк... Итальянец, изъясняясь на плохом французском языке, просил господ посетителей назначить несколько тем, написав их на особых бумажках. При этом неожиданном приглашении все молча поглядели друг на друга и никто ничего не отвечал. Итальянец, подождав немного, повторил свою просьбу робким и смиренным голосом. Чарский стоял под самыми подмостками, им овладело беспокойство; он предчувствовал, что дело без него не обойдется и что принужден он будет написать свою тему. В самом деле, несколько дамских головок обратились к нему и стали вызывать его сперва вполголоса, потом громче и громче. Услыша имя его, импровизатор отыскал его глазами у своих ног и подал ему карандаш и клочок бумаги с дружескою улыбкою. Играть роль в этой комедии казалось Чарскому очень неприятно, но делать было нечего; он взял карандаш и бумагу из рук итальянца, написал несколько слов; итальянец, взяв со стола вазу, сошел с подмостков, поднес ее Чарскому, который бросил в нее свою тему. Его пример подействовал; два журналиста, в качестве литераторов, почли обязанностью напи-

сать каждый по теме; секретарь неаполитанского посольства и молодой человек, недавно возвратившийся из путешествия, бредя о Флоренции, положили в урну свои свернутые бумажки; наконец, одна некрасивая девица, по приказанию своей матери, со слезами на глазах написала несколько строк по-итальянски и, покраснев по уши, отдала их импровизатору, между тем как дамы смотрели на нее молча, с едва заметной усмешкою. Возвратясь на свои подмостки, импровизатор поставил урну на стол и стал вынимать бумажки одну за другой, читая каждую вслух:

Семейство Ченчи.
(La famiglia dei Cenci.)
L'ultimo giorno di Pompeia.
Cleopatra e i suoi amanti.
La primavera veduta da una prigioniera.
Il trionfo di Tasso ¹.

— Что прикажет почтенная публика? — спросил смиренный итальянец, — назначит ли мне сама один из предложенных предметов или предоставит решить это жребию?..

— Жребий!.. — сказал один голос из толпы.

— Жребий, жребий! — повторила публика.

Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил: «Кому угодно будет вынуть тему?» Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам, тут сидевших, не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось, страдал... вдруг заметил он в стороне поднимающуюся ручку в белой маленькой перчатке; он с живостию оборотился и подошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможною простотою опустила в урну аристократическую ручку и вынула сверток.

— Извольте развернуть и прочесть, — сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух:

— Cleopatra e i suoi amanti.

Эти слова произнесены были тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки.

— Господа, — сказал он, обратясь к публике, — жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и ее любовников. Покорно прошу особу, избравшую эту тему, пояснить мне свою

¹ Семейство Ченчи. — Последний день Помпеи. — Клеопатра и ее любовники. — Весна, видимая из темницы. — Триумф Тассо (итал.).

мысль: о каких любовниках здесь идет речь, perché la grande regina [ne] aveva molto...¹

При сих словах многие мужчины громко засмеялись. Импровизатор немного смутился.

— Я желал бы знать, — продолжал он, — на какую историческую черту намекала особа, избравшая эту тему... Я буду весьма благодарен, если угодно ей будет изъясниться.

Никто не торопился отвечать. Несколько дам оборотили взоры на некрасивую девушку, написавшую тему по приказанию своей матери. Бедная девушка заметила это неблагосклонное внимание и так смутилась, что слезы повисли на ее ресницах... Чарский не мог этого вынести и, обратясь к импровизатору, сказал ему на итальянском языке:

— Тема предложена мною. Я имел в виду показание Аврелия Виктора, который пишет, будто бы Клеопатра назначила смерть ценою своей любви и что нашлись обожатели, которых таковое условие не испугало и не отвратило... Мне кажется, однако, что предмет немного затруднителен... не выберете ли вы другого?..

Но уже импровизатор чувствовал приближение бога... Он дал знак музыкантам играть. Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота... и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь... музыка умолкла... Импровизация началась.

Чертог сиял. Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир.
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир;
Сердца неслись к ее престолу,
Но вдруг над чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой...

И пышный пир как будто дремлет.
Безмолвны гости. Хор молчит.
Но вновь она чело подымлет
И с видом ясным говорит:
В моей любви для вас блаженство?
Блаженство можно вам купить...
Внемлите ж мне: могу равенство
Меж нами я восстановить.
Кто к торгу страстному приступит?

¹ Потому что у великой царицы было много... (итал.).

Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою? —

— Клянусь... — о мать наслаждений,
Тебе неслыханно служу,
На ложе страстных искушений
Простой наемницей всхожу.
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
О боги грозного Аида,
Клянусь — до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утомлю
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утолю.
Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснет,
Клянусь — под смертною секирой
Глава счастливцев отпадет.

Рекла — и ужас всех объемлет,
И страстью дрогнули сердца...
Она смущенный ропот внемлет
С холодной дерзостью лица,
И взор презрительный обводит
Кругом поклонников своих...
Вдруг из толпы один выходит,
Вослед за ним и два других.
Смела их поступь; ясны очи;
Навстречу им она встает;
Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти их зовет.

Благословенные жрецами,
Теперь из урны роковой
Пред неподвижными гостями
Выходят жребии чредой.
И первый — Флавий, воин смелый,
В дружинах римских поседель;
Снести не мог он от жены
Высокомерного презренья;
Он принял вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов ярого сраженья.

За ним Критон, молодой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура,
Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура...
Любезный сердцу и очам,
Как вешний цвет едва развитый,
Последний имени векам
Не передал. Его ланиты
Пух первый нежно отенял;
Восторг в очах его сиял;
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом...
И с умилением на нем
Царица взор остановила¹.

¹ Возможно, что продолжением этих стихов является отрывок (черновик на отдельном листке):

И вот уже сокрылся день,
Восходит месяц златорогий.
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Фонтаны бьют, горят лампы,
Куруется легкий фимиам.
И сладострастные прохлады
Земным готовятся богам.
В роскошном сумрачном покое
Средь обольстительных чудес
Под сенью пурпурных завес
Блестит ложе золотое.

КОММЕНТАРИИ

Четвертый том собрания сочинений А.С.Пушкина содержит все завершённые и главные незаконченные художественные произведения в прозе. Не вошли в том те произведения, которые остались в набросках начальных страниц или даже строк, а также лишь в планах и замыслах.

Том имеет три отдела. Первый состоит из произведений, которые были включены в задуманное в декабре 1836 г., прошедшее цензуру в первых числах января 1837 г., но так и не осуществлённое и представленное лишь единственным экземпляром издание «Романы и повести Александра Пушкина» (СПб., 1837). Два напечатанные в этом собрании отрывка из «исторического романа» не воспроизводятся в первом отделе, так как являются частями романа «Арап Петра Великого». Второй отдел составляют произведения, напечатанные при жизни писателя в журналах, но не включённые им в указанное издание. В третьем отделе помещены незавершённые произведения.

В комментарии предпринята попытка собрать воедино, проверить, по необходимости уточнить и по возможности дополнить пояснения реалий, накопленные трудами Б. В. Томашевского, Ю. Г. Оксмана, М. А. Цявловского, Д. Д. Благого, М. П. Алексева, В. Э. Вацура, С. А. Фомичева, С. Г. Бочарова, Н. Н. Петруниной и многих других ныне здравствующих и покойных пушкинистов. Характер данного собрания сочинений не позволяет делать большого числа ссылок, и поэтому комментатор вынужден ограничиться обобщённым признанием использования многих трудов своих предшественников, не названных выше.

Тексты печатаются по изданию: *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. 4-е изд. Л.: ЛО изд-ва «Наука», 1978. Т. 6. (Внесены отдельные единичные уточнения.)

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

«Современник». 1836. Т.4

Замысел, возникший в первых начатках, вероятно, не позднее августа 1832 г. и вызревавший в процессе работы над «Дубровским» (она была оборвана 6 февраля 1833, а под одним из планов «Капитанской дочки» стоит дата 31 января

1833), прошел несколько стадий, изменяясь на каждой из них. В черновом варианте роман был закончен 23 июля (или июня) 1836 г.; около 27 сентября в цензуру была представлена его «первая половина», 19 октября завершена переписка остальных глав, которые отосланы в цензуру около 24 октября. Четвертый том «Современника» вышел 22 декабря.

В сохранившихся ранних планах главным персонажем романа предполагался офицер Шванвич, прототипом которого был подпоручик 2-го гренадерского полка Михаил Александрович Шванвич (1749—1802), о чьей судьбе Пушкин узнал первоначально, по-видимому, из правительственной «Сентенции, 1775 года января 10 дня. О наказании смертною казнию изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников. — С присоединением объявления прощаемым преступникам» и настойчиво собирал по крупицам сведения.

М.А.Шванвич был сыном офицера, мелкопоместного дворянина, и, по его показаниям, крестником императрицы Елизаветы. В службу он вступил в 1765 г. капралом в Ингерманландский полк, имея уже приличное для своего времени образование, а именно: умея «грамоте писать по-российски, по-французски и по-немецки, также часть арифметики, танцевать, фехтовать и на манеже ездить». Он участвовал в войне с Турцией (1771), некоторое время служил ординарцем у генерала Г.А.Потемкина, осенью 1772 г. был переведен в Петербург прапорщиком 2-го гренадерского полка, в сентябре 1773 г., уже в чине подпоручика, был включен в команду, посланную в Симбирск для приема рекрутов, а в октябре переданную в состав карательных войск и взятую 6 ноября 1773 г. повстанцами в плен. Шванвича, как и других офицеров, ожидала казнь, но по заступничеству солдат, свидетельствовавших о его добром и ласковом с ними обращении, он был помилован, служил у Пугачева переводчиком, секретарем военной коллегии, потом был произведен в атаманы и назначен командиром полка пленных солдат; 23 марта 1774 г. он бежал в Оренбург и явился к военному губернатору, который направил его в находившийся там в то время 2-й гренадерский полк, где он был арестован. По расследовании дела он был приговорен к лишению чинов и дворянства и к пожизненной ссылке в Сибирь. Подробная биография этого «пугачевца» из дворян, восстановленная кропотливыми трудами ученых, осталась Пушкину неизвестной. Кроме одной фразы в «Сентенции» он располагал лишь скудными сведениями из немногих других источников, а также двумя-тремя устными рассказами, слышанными от разных лиц. В процессе развития замысла Шванвич превратился из главного героя в персонажа второго плана — Швабрина, сохранившего от своего прототипа, кроме сходства начального слога фамилии, лишь отдельные внешние черты.

Изучая материалы о восстании, Пушкин узнал и о других офицерах, пощажённых Пугачевым и с ним сотрудничавших: капитане И. Башарине, подпоручике Ф.Минееве и др. Башарин фигурирует в некоторых планах в качестве главного героя романа.

С.7. *Эпиграф.* — В подготавливавшемся издании «Романы и повести А. Пушкина» этот эпиграф отсутствует, причем не имеется никаких свидетельств того, что он был снят по указанию Пушкина. С другой стороны, такое важное, концептуальное изменение вряд ли могло быть внесено при жизни автора без его согласия. Первая часть «Романов и повестей», содержащая «Капитанскую дочку», прошла корректурную правку, и по тексту первой публикации были восполнены все случившиеся на стадии набора пропуски, кроме, однако, общего

эпиграфа, который, кстати, отсутствует в рукописи и появился уже в печатном тексте. В полном виде эта пословица, представленная в обоих имевшихся у Пушкина сборниках ([Барсов А. А.]. Собрание 4291 древних российских пословиц. М., 1770. С. 6; Полное собрание русских пословиц и поговорок, расположенное по азбучному порядку. СПб., 1822. С.4), приведена в первой главе (см. выше, с.11).

С.8. *Эпиграф.* — Цитата из комедии Я.Б.Княжнина «Хвастун» (1784 или 1785), д. III, явл. 6.

С.8. *...Андрей Петрович Гринев...* — Фамилию Гринев Пушкин встречал в изученных им материалах о восстании: в правительственной «Сентенции» упоминался отставной подпоручик Алексей Матвеевич Гринев среди тех, «которые находились под караулом, будучи сначала подозреваемы в сообщении с злодеями, но по следствию оказались невинными, для чего их освободить»; в правительственных войсках был подполковник Петр (Борисович?) Гринев, о котором неоднократно говорится в пушкинской «Истории Пугачева».

С.8. *Миних* Бурхард Христофор (Христофор Антонович) (1683—1767) — полководец и политический деятель, посланный Елизаветой в Сибирь (1741), возвращенный в самом начале 1762 г. Петром III и оставшийся ему верным при дворцовом перевороте 28 июня, возведшем на престол Екатерину II.

С.8. *...вышел в отставку премьер-майором в 17.. году.* — В рукописи значилось, что старший Гринев «вышел в отставку в 1762 году», что послужило исследователям и комментаторам основанием для вывода о его неприятии переворота и некоторой его общности с дедом писателя, командиром бомбардирской роты Преображенского полка майором Львом Александровичем Пушкиным (1723—1790), который, по семейным преданиям, поставленным ныне под сомнение новейшими архивными исследованиями,

...когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра

и попал «в крепость, в карантин» («Моя родословная»). Изъятие из печатного текста упоминания 1762 года могло быть вызвано тем, что эта дата не согласовывалась с возрастом героя, родившегося после отставки отца (в 1772 г. ему исполнилось 16 лет — см. выше, с.10). Могли действовать также и цензурные соображения.

С.8. *...Авдотье Васильевне Ю. ...* — Некоторых персонажей «Капитанской дочки» Пушкин наделил именами и фамилиями реальных лиц, не имея притом в виду последних как прототипов. Мать Гринева-младшего носит, возможно, имя и фамилию хорошей знакомой Пушкина, Авдотьи (Евдокии) Петровны Елагиной (1789—1877, урожд. Юшковой, в первом браке Киреевской), племянницы В. А. Жуковского.

С.8. *Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.* — Ср. слова Простаковой в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» (д. III, явл. 5): «Покойник батюшка женился на покойнице матушке. Она была по прозванию Приплодиных. Нас, детей, было с них восемнадцать человек; да, кроме меня с братцем, все, по власти господней, примерли».

С.8. *Я был записан в Семеновский полк сержантом <...> Я считался в отпуску до окончания наук.* — Запись малолетних дворянских сыновей в гвардию

рядовыми, капралами и сержантами получила широкое распространение с начала 1740-х гг. как уловка, позволявшая избежать установленной Петром I обязательной для дворянских детей службы рядовыми гвардии до присвоения офицерского чина. Ребенок получал отпуск для обучения наукам дома до 20 лет и должен был трижды являться на смотры (в 7, 12 и 16 лет), а между тем ему засчитывалась выслуга, необходимая для получения чина. В рукописи текст отличался: «Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти нежившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук».

С.9. *...не был он (по его выражению) и врагом бутылки...* — Выражение, употребляемое Бопре, обыгрывает французскую идиому «*aimer la bouteille*» — любить бутылку, т.е. любить выпить.

С.9. *...хотя по контракту обязан он был учить меня по-французски, по-немецки и всем наукам...* — Ср. в «Недоросле» (д. I, явл. 6): «По-французски и всем наукам обучает его немец Адам Адамович Вральман».

С.9. *Я жил недорослем...* — Недоросль — официальное название молодого дворянина, не достигшего совершеннолетия и не поступившего еще на государственную службу. После появления комедии Д.И.Фонвизина (поставлена 24 сентября 1782, изд. 1783) слово приобрело иронический оттенок (глуповатый, малоразвитый юноша). Пушкин соединяет здесь оба значения.

С.9. *Придворный календарь.* — Ежегодное издание, выходявшее с 1735 г.; в 1771--1772 гг., когда его читал, по хронологии «Капитанской дочки», Гринев-старший, он содержал только собственно календарь и списки орденских кавалеров. Однако Пушкин не имел, видимо, в виду точности в этом отношении, а предполагал общеизвестный состав (придворный штат, списки кавалеров орденов, русских послов за границей, иностранных послов в России, начальствующего состава коллегий, губернаторов и др.).

С.10. *Обоих российских орденов кавалер!...* — Эта формула подразумевала орден святого апостола Андрея Первозванного (осн. 1698) и орден Александра Невского (осн. 1725). Следующий орден — святого великомученика и победоносца Георгия — был учрежден в 1769 г., а списки его кавалеров стали печататься в Придворном календаре с 1773 или 1774 г.

С.10. *Да вот пошел семнадцатый годок...* — Разговор происходит осенью 1772 г.; следовательно, Гринев-младший родился в 1756 г. (вероятно, летом, на что указывает начало предложения: «Да вот»). Между тем в рукописи содержится иной подсчет возраста героя: 1773 , где 1773 — время основных событий

$$\begin{array}{r} 1773 \\ \underline{18} \\ <17>55 \end{array}$$

«Капитанской дочки».

С.10. *Где его папшорт?* — Речь идет о выданном командиром Семеновского полка отпуском свидетельстве, разрешавшем малолетнему Гриневу находиться дома до совершеннолетия.

С.11. *...к Андрею Карловичу Р. ...* — Прототипом Андрея Карловича Р. был генерал-поручик Иван Андреевич Рейнсдорп (ум. 1781), оренбургский военный губернатор в 1768—1781 гг., неоднократно упоминаемый Пушкиным в «Истории Пугачева». Переноса на Андрея Карловича Р. некоторые черты реального

исторического лица, о чьей деятельности он получил хорошее представление, собирая материалы для «Истории Пугачева», писатель имел в виду, однако, создать обобщенный образ губернатора екатерининского времени.

С.11. *...на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся...* — Похожая формула встречается в «Духовной» историка В.Н.Татищева: «Родитель мой, в 1704 году, отпуская меня с братом в службу, сие нам накрепко наставлял, чтобы мы ни от какого положенного на нас дела не отрицались и ни на что сами не назывались». Это сочинение упоминается в очерке «В.Н.Татищев» (1836), сохранившемся в бумагах Пушкина и предположительно ему приписываемом.

С.14. *...и денег, и белья, и дел моих рачитель...* — Цитата из стихотворения Д.И. Фонвизина «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» (соч. в начале 1760-х, напечатано в 1769), где эта строка (стих 4) входит в обращение автора к своему «любезному дядьке», «наставнику и учителю» Михаилу Шумилову.

С.15. *Эпиграф.* — Цитата (с изменениями) из песни «Сторона ль ты моя сторонюшка...», напечатанной впервые М.Д.Чулковым в его «Собрании разных песен» (СПб., 1773. Ч.3. С.92—93. № 68, строки 1—7), которое было переиздано Н. И. Новиковым («Новое и полное собрание российских песен...». М., 1780, Ч.3. С.72—73. № 68). В библиотеке Пушкина сохранился первый том чулковского «Собрания» (СПб., 1770), однако при подборе эпиграфов, даже цитируя песни, в нем содержащиеся, Пушкин, возможно, пользовался новиковским переизданием, на которое есть указание в рукописи восьмой главы при песне «Не шуми, мати зеленая дубровушка...».

С.15—16. *Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге <...> лошади или шагом — и скоро стали.* — Не будучи никогда очевидцем бурана в заволжских степях, Пушкин в своем описании опирался на литературные источники, которыми ему служили очерк С. Т. Аксакова «Буран», напечатанный без подписи в альманахе «Денница» на 1834 г. (приобретен Пушкиным 18 мая 1834), и, возможно, несколько строк о буранах в кн.: *Рычков П. И.* Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание Оренбургской губернии. СПб., 1762. Ч. 1. С. 203.

С.16. *...что там такое чернеется? <...> Должно быть, или волк или человек.* — Ср. в рассказе оренбургского литератора А.П.Крюкова (1803—1833) «Киргизский набег», напечатанном в альманахе «Северные цветы» на 1830 г. (непосредственно перед статьей Пушкина «Отрывки из литературных летописей»): «...заметив однажды вддали неподвижную точку, я спросил одного из моих казаков, не может ли он рассмотреть, что там чернеется? — «Куст или беркут», — отвечал он сухо».

С.16. *Через две минуты мы поравнялись с человеком.* — Пугачев вводится в повествование как «помощный разбойник» (термин В.Б. Шкловского) — персонаж, пришедший в литературу из фольклора со своею функцией и сюжетообразующим мотивом: герой оказывает ему услугу, а он его потом спасает. Подобная сюжетная линия развивалась, например, в романе М.Н.Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829), где молодой боярин Милославский спасает во время метели полузамерзшего казака, который выводит его к постоялому двору и затем ему верно служит, в том числе и спасая его в свою очередь от гибели. Фольклорно-литературный мотив соединился в творческом сознании Пушкина со ставшими ему известными в процессе сбора

материалов для «Истории Пугачева» фактами помилования лично Пугачевым и повстанцами людей, проявивших ранее к ним доброжелательность и милосердие. Об одном таком случае рассказано в начале восьмой главы «Истории Пугачева». Реальную основу образа Пугачева в «Капитанской дочке» как «мощного разбойника» и его случайной встречи в степи с Гриневым объясняет начальная фраза второй главы «Истории Пугачева»: «В смутное сие время по казацким дворам шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в работники то к одному хозяину, то к другому, и принимаясь за всякие ремесла». В примечании 2 к этой главе приводится содержание донесения от 18 декабря 1772 г. об аресте Пугачева; следовательно, эпизод в степи мыслился Пушкиным происшедшим ранее этой даты.

С.18. *Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. <...> Это похоже было на плавание судна по бурному морю.* — Этот образ восходит к сонету польского поэта Адама Мицкевича «Аккерманские степи» (1826): «Вплывая в пространство сухого океана, колесница ныряет в зелени и, как лодка, зыблется среди волн шумящих нив, среди разлива цветов, минуя багряные острова бурьяна» (пер. П. А. Вяземского). Это стихотворение произвело большое впечатление на современников Пушкина и за три года (1827—1829) было пять раз переведено на русский язык (П.А. Вяземским, А.Д. Илличевским, И.И. Козловым, Ю.А. Познанским, В.И. Романовичем), а П.А. Вяземский тогда же перенес сравнение экипажа с качающимся в волнах кораблем на зимний пейзаж:

Какой враждебный дух, дух зла, дух разрушенья,
Какой свирепый ураган
Стоячей качкою, волнами без движенья
Изрыл сей снежный океан?
Кибитка-ладия шатается, ныряет:
То вглубь ударится со скользкой крутизны,
То дыбом на хребет замерзнувшей волны!
Ее насильственно кидает

(«Зимние карикатуры», 1828).

С.19. *...яицкий казак...* — Яицкими назывались казаки, жившие по берегам реки Яика, переименованной Екатериной II после восстания Пугачева в Урал.

С.19. *Наружность его показала мне замечательна.* — О наружности Пугачева, кроме портрета самозванца, Пушкин имел многочисленные свидетельства, на основании которых дал в «Истории Пугачева» два описания: «Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. Черная борода его начинала сесть. Он был в верблюжем армяке, в голубой калмыцкой шапке и вооружен винтовкою» (гл.2); «Он был сорока лет отроду, росту среднего, смугл и худощав; волосы имел темнорусые, бороду черную, небольшую и клином. Верхний зуб был вышиблен еще в ребячестве, в кулачном бою. На левом виску имел он белое пятно...» (гл.4).

С.19. *Волоса были обстрижены в кружок...* — Традиционная стрижка казаков.

С.20. *...дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиреного после бунта 1772 года.* — Восстание, начавшееся 12 января 1772 г. и подавленное летом того же года, было вызвано притеснениями и поборами местного начальства, последовательными ограничениями казацких привилегий и самоуправле-

ния, пристрастным рассмотрением жалоб казаков учрежденной из Петербурга следственной комиссией и требованием послать несколько сот казаков в Кизляр (Дагестан). Пушкин осветил эти события в конце первой главы «Истории Пугачева», неправильно указав там год (1771); о них же говорилось и в приложении к «Истории». рукописном сочинении П.И. Рычкова «Описание шестимесячной осады Оренбурга» (Летопись Рычкова).

С.21. *Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор.* — Царствование племянницы Петра I Анны Иоанновны (1693—1740, императрица с 1730) отличалось широким привлечением немцев на государственную службу, включая военную. Одним из них изображен для создания колорита эпохи генерал Р. Между тем его прототип, И.А.Рейнсдорп (см. выше, с.388, коммент. к с.11), вступил в русскую службу в 1746 г. и не мог служить под началом генерал-фельдмаршала Миниха (см. выше, с. 387, коммент. к с. 8). Речевая характеристика, с помощью которой Пушкин создает образ немца-военного, так и не овладевшего за долгие годы правильной русской речью, в последующих эпизодах не используется, так как эта черта в них не играет никакой роли и ее акцентирование лишь отвлекало бы внимание читателя от главного предмета.

С.22. *...в *** полк...* — В рукописи указан «Шемшинский драгунский полк», входивший в ту пору в состав гарнизона яицких крепостей.

С.22. *...в Белогорскую крепость...* — Вымышленное название, подсказанное Пушкину видом меловых гор, которые он наблюдал по дороге из Оренбурга в Уральск осенью 1833 г. В нарисованных далее картинах повседневного быта в крепости обобщены личные впечатления писателя от поездки по местам восстания и сведения из литературных и других источников, одним из которых был «Рассказ моей бабушки» А.П.Крюкова, напечатанный в «Невском альманахе» на 1832 г. (изд. Е.Аладыным. СПб., 1832).

С.22. *...на границу киргиз-кайсацких степей!..* — Речь идет о степях к востоку от реки Яика (Урала). Киргиз-кайсаки — старое название казахов.

С.22. *Первый эпитаф.* — Источник не установлен; возможно, песня сочинена самим Пушкиным.

С.22. *Второй эпитаф.* — Измененная реплика Простаковой из комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» (д. III, явл. 5). В пьесе: «Старинные люди, мой отец!»

С.23. *Я старался вообразить себе капитана Миронова...* — Образ капитана Миронова сложился под впечатлением от рассказов И.А.Крылова о своем отце, Андрее Прохоровиче Крылове (1738—1778), армейском капитане, руководившем обороной Яицкого городка. Другим, литературным, прототипом капитана Миронова стал комендант Нижне-Озерной крепости, как его изобразил А.П.Крюков в «Рассказе моей бабушки».

С.23. *...ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором.* — Ср. во второй главе «Истории Пугачева»: «Крепости, в том краю выстроенные, были не что иное, как деревни, окруженные плетнем или деревянным забором. Несколько старых солдат и тамошних казаков, под защитой двух или трех пушек, были в них безопасны от стрел и копий диких племен, рассеянных по степям Оренбургской губернии и около ее границ».

С.23. *...представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение kota.* — Прусская крепость Кистрин (Кюстрин) осаждалась русскими войсками в июле — августе 1758 г., но не капитулировала; турецкая крепость

Очаков была взята 2 июля 1737 г., но по Белградскому миру 1739 г. осталась за Турцией. «*Мыши kota погребают*» — широко распространенная во многих вариантах популярная шуточная лубочная картинка.

С.24. ...*поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пирять; а Алексей Иваныч и заколол поручика...* — Реальную основу этого эпизода из жизни Швабрин составляет, вероятно, записанный Пушкиным летом 1833 г. со слов, по-видимому, статского советника в отставке Николая Егоровича Свечина (1759 — после 1837) рассказ об отце М.А.Шванвича, офицере Александре Мартыновиче Шванвиче (род. 1726 или 1727—1792), которым «разрублен был Алексей Орлов в трактирной ссоре». Это случилось предположительно в 1751—1752 гг., когда А.М. Шванвич служил поручиком Преображенского полка.

С.24. ...*только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Незулиной за шайку горячей воды.* — В торговых банях нередко мужчины и женщины мылись в одном помещении, несмотря на запрещение Сената, изданное в декабре 1743 г. и подтвержденное в августе 1760 г.

С.25. ...*мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах.* — Ср. в «Рассказе моей бабушки» А.П.Крюкова: в крепости Нижне-Озерной «находились две или три старые чугунные пушки да около полсотни таких же старых и закоптелых солдат, которые хотя и были немножко дряхленьки, но все-таки держались на своих ногах, имели длинные ружья и тесаки — и после всякой вечерней зари бодро кричали: *с богом ночь начинается*».

С.25. *Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и китайчатом халате.* — Одежда коменданта не соответствует времени года, однако Пушкин намеренно жертвует здесь внешнею точностью ради создания картины патриархальной обстановки.

С.26. ...*частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить.* — Имеется в виду народный обычай мытья невесты накануне свадьбы.

С.27. *Эпиграф.* — Неточная цитата из комедии Я.Б. Княжнина «Чудаки» (изд. 1793), д. IV, явл. 12. В пьесе: «Увидишь, проколю как я твою фигуру!»

С.27. ...*которая левая.* — В рукописи фраза имеет продолжение, исключенное из печатного текста: «...которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста».

С.27—28. ...*и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял.* — Поэт и драматург А.П.Сумароков, чьи многочисленные лирические песни пользовались огромной популярностью, умер 1 октября 1777 г. Следовательно, встреча (или встречи) с ним Гринева могла произойти не позднее этой даты, но и не ранее конца 1774 г., когда Гринев был выпущен из тюрьмы (10 января 1775 г. он присутствовал на казни Пугачева в Москве — см. с.95).

С.28. *Мысль любовну истребляя...* — Стихотворение, приписанное Пушкиным Гриневу, взято (с изменением ряда строк) из «Собрания разных песен» М.Д.Чулкова (СПб., 1770. Ч. 1. С. 45—46. № 34).

С.28. ...*такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплеты.* — Поэт и переводчик В.К.Тредиаковский (1703—1768) издал в 1730 г. свой перевод аллегорического романа в прозе и стихах французского писателя Поля Тальмана (1642—1712) «Езда в остров любви», присовокупив собственные «Стихи на разные случаи»,

написанные простым для того времени языком, свободным от «глубокословных славенщизны», и принесшие ему литературный успех. Однако уже в екатерининскую эпоху, ещё при жизни Тредиаковского, сложилось и намеренно культивировалось самой императрицей и ее окружением ироническое к нему отношение как к поэту тяжеловесному и безнадежно устаревшему, чьи произведения читать невозможно. Эта репутация Тредиаковского была воспринята следующими поколениями, в том числе и Пушкиным (см. его эпиграммы: «Внук Тредьяковского Клит гекзамером песенки пишет...», 1813; «В Эллизии Василий Тредьяковский...», 1829; «Там, где древний Кочерговский...», 1829). Называя Тредиаковского своим учителем, Швабрин имеет, наверное, в виду, что учился у него в петербургской Академической гимназии, где тот преподавал в 1730-е — 1740-е гг. (правда, в этом случае, при строгом соблюдении внутренней хронологии романа, Швабрин должен был бы иметь уже весьма солидный возраст). Примечательно, что в этой гимназии учился в 1735—1740 гг. отец М.А.Шванвича, а ее ректором в то же самое время был его дед Мартин Шванвиц (ум.1740); однако неизвестно, знал ли Пушкин эти факты.

С.29. *...ходил я под шведа и под турку...* — Речь идет о войнах со Швецией (1741—1743) и Турцией (1735—1739).

С.30. *Капитанская дочь, / Не ходи гулять в полночь...* — Песня напечатана в сборнике поэта Николая Александровича Львова (1751—1803) «Собрание народных русских песен с их голосами. На музыку положил Иван Прач» (СПб., 1792. Ч.1. С. 85. № 10; переизд. 1796, 1806, 1815).

С.31. *Поединки формально запрещены в воинском артикуле.* — Воинским артикулом назывался сборник законов о военных преступлениях и наказаниях (1716), составлявший часть воинского устава Петра I и действовавший до 1839 г. За вызов на дуэль полагалось лишение чинов и достоинств, объявление «наперед за негодного» и штраф от одной десятой до трети имения; за участие в дуэли, даже секундантом или свидетелем, — смертная казнь с конфискацией имущества; в случае ранения или смертельного исхода — «как живые, так и мертвые повешены да будут». Во всей строгости эти законы на практике не применялись.

С.33. *Первый эпиграф.* — Концовка песни «Ах ты, Волга, Волга-матушка...» (стихи 10—15), напечатанной в «Собрании разных песен» М.Д.Чулкова (СПб., 1770. Ч. 1. С. 201. № 176), «Новом и полном собрании российских песен» (М., 1780. Ч. 1. С. 182. № 176; текст идентичный) и «Собрании народных русских песен с их голосами» Н.А. Львова — И. Прача (СПб., 1790. С.29).

С.33. *Второй эпиграф.* — Стихи 15—16 из песни «Вещевало мое сердце, вещевало...», напечатанной в сборнике М.Д.Чулкова (Ч. 1. С. 182. № 153) и «Новом и полном собрании российских песен» (Ч. 1. С. 164—165. № 153; текст идентичный).

С.34. *Меня лечил полковой цирюльник...* — В XVIII в. цирюльник (парикмахер) выполнял некоторые врачебные функции: оказывал первую помощь, пускал кровь, делал перевязки, ставил пиявки, удалял зубы и пр.

С.40. *Эпиграф.* — Первые две строки исторической песни о взятии Казани Иваном IV; песня была напечатана в сборнике М.Д.Чулкова (Ч. 1. С. 156. № 125) и «Новом и полном собрании российских песен» (Ч. 1. С. 141—142. № 125; текст идентичный).

С.40. *В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. <...> усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.* — См. выше, с.390—391, коммент.

к с.20. Генерал-майор Михаил Михайлович фон Траубенберг, о котором говорится в первой главе «Истории Пугачева», был убит в первый день восстания.

С.42. *...убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев <...> и уже взял и разорил несколько крепостей...* — Заключенный в январе 1773 г. в казанскую тюрьму, Пугачев был приговорен к наказанию плетью и отправке в Пельм для употребления «в казенную работу». В Казань указ пришел 3 июня, но 29 мая Пугачев бежал. В конце июля — начале августа он появился на Таловом уме, откуда по Яику распространился слух, что там находится государь Петр III. К перемещавшемуся с места на место Пугачеву стали стекаться казаки; 16 сентября на хуторе Толкачевых был составлен, а 17-го зачитан манифест Пугачева, и в тот же день повстанцы двинулись на Яицкий городок. К вечеру 5 октября войско Пугачева подступило к Оренбургу, заняв до этого Яицкий и Илецкий городки, крепости Рассыпную, Нижне-Озерную, Татищеву, Чернореченскую и др. Об этих событиях рассказывается во второй главе «Истории Пугачева». Приурочив совет в Белогорской крепости к началу октября, Пушкин отступил от строгой хронологии (в это время уже началась осада Оренбурга).

С.44. *...прочел нам воззвание Пугачева...* — В бумагах Пушкина имелись сделанные им копии 14 указов Пугачева, предписывавших казакам и крепостным гарнизонам переходить на его сторону. Их содержание передано обобщенно в пересказе воззвания к коменданту Белогорской крепости.

С.44—45. *Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена!* — В указе Пугачева в Оренбургскую губернскую канцелярию, губернатору И.А.Рейнсдорпу от 5 ноября 1773 г. говорилось: «Выдите вы из града вон, вынесите знамена и оружие, приклоните знамена и оружие пред вашим государем». Та же фразеология употреблена и в указе «Илецкой станции атаману Лазарю Портнову с старшинами и казаками»: «...из города на встречу мне со оружием своим вытте и в доказательство своей верноподданической верности положите оружие свое пред знаменами моими...»

С.45. *Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия.* — Пытка была запрещена секретным Высочайшим повелением от 8 ноября 1774 г., подтвержденным указом от 1 января 1782 г.; Александр I подписал указ о запрещении пыток 27 сентября 1801 г., но и после этого их применение продолжалось еще долгое время.

С.45. *...одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году.* — В «Замечаниях о бунте», представленных 26 января 1835 г. Николаю I, Пушкин писал о подавлении башкирского восстания 1735—1740 гг.: «Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений! „Остальных человек до тысячи (пишет Рычков) простили, отрезав им носы и уши“. Многие из сих прощенных должны были быть живы во время пугачевского бунта».

С.45. *...али бельмес, по-русски не разумеешь?* — Бельмес - заимствованное слово, представляющее собою искаженную форму настоящего времени (относительно лица мнения ученых расходятся) татарского глагола со значением «не знать». Уже в XVIII в. оно употреблялось только в сочетании «ни бельмеса не знать, не понимать». В год выхода «Капитанской дочки» был предложено следующее его толкование: «Бельмес. В простонародии часто говорят: ни Бельмеса не

знает, то есть, ничего не знает. Слово Бельмес происходит от татарского и турецкого глагола — *бельмес*, «знать», и есть испорченное третье лицо настоящего времени отрицательной формы, вместо *бельмес* или *бельмез*, «не знает». Поэтому *ни Бельмеса не знает* значит «не знает даже того, как сказать не знаю». Сношение с татарами Золотой орды, вероятно, подали повод к этому выражению: русские, к которым монголы обращались на татарском языке, не зная этого языка, могли отвечать им: *Бельмес!* (не знает! вместо: не знаю!). Сами татары часто употребляют это третье лицо вместо первого. Таким образом могла образоваться странная поговорка *ни Бельмеса не знает* (то есть не знает даже *Бельмес*) для выражения полного невежества неучей» (Энциклопедический словарь. СПб., 1836. Т.5. С.258). Пушкин знал исходное значение слова «бельмес» и обозначил его, поставив в рукописи запятую, что придало фразе смысл: «Али хочешь сказать „бельмес“, то есть по-русски не понимаю?» В первой публикации, а на ее основании во всех последующих изданиях до настоящего времени запятая была опущена, и вопрос капитана Миронова превратился в бессмыслицу.

С.46. *Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича.* — По свидетельству исследователя русско-башкирских литературных связей, Пушкин точно (хотя неясно, осознанно или неосознанно) передает языковую ситуацию: «Как видим, калмык с башкиром хочет объясниться на татарском языке. Калмыку трудно говорить на башкирском языке, как и башкиру на калмыцком. Между тем татарский язык ближе и легче к тому и другому» (*Рахимкулов М.Г.* Встречи с Башкирией: От Пушкина до Чехова. Уфа, 1982. С.36).

С.46. *...лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.* — Автоцитата из статьи «Путешествие из Москвы в Петербург» (1834).

С.46. *Нижнеозерная взята сегодня утром.* — Крепость Нижне-Озерная была взята Пугачевым утром 26 сентября 1773 г. Об этом событии Пушкин писал во второй главе «Истории Пугачева».

С.46. *Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою...* — Комендантом Нижне-Озерной крепости был премьер-майор Захар Иванович Харлов, отнюдь не молодой человек (род.1731), сын священника, состоявший на военной службе с двенадцатилетнего возраста, участвовавший в нескольких кампаниях, переведенный в августе 1772 г. на службу в войска Оренбургской губернии. Детали его биографии Пушкину известны не были, но о его женитьбе весной 1773 г. на Елизавете Григорьевне Елагиной, дочери коменданта Татищевой крепости, его нервном состоянии накануне и во время боя, его трагической гибели он знал из рассказов жителей Нижне-Озерной, с которыми беседовал во время посещения крепости 20 сентября 1833 г., а также из ряда печатных, рукописных и архивных источников. Рассказывая о Харлове в «Истории Пугачева», Пушкин умолчал о свидетельствах, согласно которым комендант Нижне-Озерной крепости был накануне сражения «хмельной»; в «Заметках о бунте» этому сокрытию факта дано следующее объяснение: «Бедный Харлов, накануне взятия крепости, был пьян; но я не решился того сказать, из уважения его храбрости и прекрасной смерти».

С.48. *Эпиграф.* — Строки 1—4, 7—14 (с незначительными изменениями) песни о казни стрелецкого атамана, напечатанной в «Собрании разных песен»

М.Д.Чулкова (СПб., 1770. Ч. 2. С. 181. № 130) и в «Новом и полном собрании российских песен» (М., 1780. Ч. 2. С. 146—147. № 130; текст идентичен).

С.48. *Пугач пришел.* — Фраза из «Рассказа моей бабушки» А.П. Крюкова: «Вот кто-то бежит мимо меня. Спрашиваю: что случилось? Прохожий отвечает торопливо: „Пугач пришел!“ — и бежит далее. „Пугач пришел!“ — это слово было для меня громовым ударом».

С.49. *...бравые и присяжные!* — Храбрые и принявшие присягу.

С.49. *Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев.* — В Летописи Рычкова под 17 декабря 1773 г. говорилось: «Предводителем у них <осаждавших Оренбург повстанцев. — В.Р. > примечен один, в красном кафтане разъезжавший...» — и ниже: «Со злодейской стороны выезжали человек до 30 ж, в том числе якобы был и ушедший вчерашнего числа калмык Дуртя, имея на себе красный кафтан».

С.49. *Один из них держал над шапкою лист бумаги...* — Во второй главе «Истории Пугачева» рассказывается о сражении за Яицкий городок: «Двести казаков при капитане Крылове <отце И.А. Крылова. — В.Р. > отряжены были вперед. К ним выехал навстречу казак, держа над головою возмутительное письмо от самозванца».

С.49. *Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»* — Ср. в четвертой главе «Истории Пугачева» рассказ о крепости Ильинской: «Мятежники приблизились и, разъезжая около ее, кричали часовым: „Не стреляйте и выходите вон: здесь государь“. По них выстрелили из пушек. Убило ядром одну лошадь. Мятежники скрылись и через час показались из-за горы, скача врассыпную под предводительством самого Пугачева».

С.51—52. *Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. <... > Пугачев уехал; народ бросился за ним.* — Реальную основу сцены расправы с защитниками Белогорской крепости составляют собранные Пушкиным из разных источников и отраженные в «Истории Пугачева» сведения о взятии Сакмарского городка и крепости Ильинской. О первом эпизоде рассказывается во второй главе со слов очевидца: «В крепости у станичной избы посланы были ковры и поставлен стол с хлебом и солью. Поп ожидал Пугачева с крестом и с святыми иконами. Когда въехал он в крепость, начали звонить в колокола; народ снял шапки, и когда самозванец стал сходить с лошади, при помощи двух из его казаков, подхвативших его под руки, тогда все пали ниц. Он приложился ко кресту, хлеб-соль поцеловал и, сев на уготовленный стул, сказал: *вставайте, детишки.* Потом все целовали его руку». В Ильинскую крепость «Пугачев, в красном казацком платье, приехал верхом в сопровождении Хлопуши. <... > Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. — *Зачем вы шли на меня, на вашего государя?* — спросил победитель. — „Ты нам не государь, — отвечали пленники, — у нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец“. Тут они были повешены».

С.51. *Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома.* — Ср. приведенные в Летописи Рычкова показания бежавшего из лагеря повстанцев писаря Полуворотова: «Когда выходит из кибитки, то выносят ему из оной кресла, взятые из губернаторского хутора, на которые он садится, выслушивает и распоряжает всякие дела».

С.51. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. — Пушкин располагал несколькими описаниями одежды Пугачева, ни одно из которых не совпадает полностью с тем, как изображен самозванец в комментируемой сцене. По свидетельству писаря Полуворотова, Пугачев носил «шубу плисовую малиновую, да и шаровары такие ж, шапку казачью». Сотник Иван Белоносков видел на нем «платье <...> казачье, шаровары малиновые, бархатные, бешмет голубой штофной, шапку малинового бархату, мерлушку черную, рубашку белую...» При взятии Ильинской крепости он был, как значится в выписках из показаний разных лиц, «в красном казачьем платье». Пушкин выбирает одежду, в которой Пугачев появился в крепости, и «украшает» ее, опираясь на запись в Летописи Рычкова под 10 ноября 1773 г.: «Яицкие казаки сказывали, что при первом на злодеев нападении, пока они еще не умножились, закололи у них одного человека, на котором-де был красный кафтан с золотыми широкими галунами...»

С.51....Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. — Стрижка по-казацки как обязательный ритуал прощения и приема в ряды повстанцев неоднократно упоминалась в разных источниках, которыми пользовался Пушкин. В частности, в копии анонимного «Известия о самозванце Пугачеве» говорилось: «6 числа <ноября 1773> чрез вышедших ночью из злодейской толпы солдат 6 человек слух в городе произошел, что <...> подпоручика Швановича с прочими офицерами и солдатами захватил. Шванович, пришедши в робость, падши пред Емелькою на колена, обещался ему, вору, верно служить, за что он, Шванович, прощен Емелькою, и, пожаловавши того ж часу его атаманом, Емелька, остригши ему, Швановичу, косу, как и всегда явившихся к нему солдат в кружалце остригал...»

С.53—54. Ради бога! где Марья Ивановна? <...> бог вынес! — В «Рассказе моей бабушки» А.П. Крюкова героиня, дочь коменданта Нижне-Озерной крепости, прячется в доме «бабушки-мельничихи» (жительницы крепости, вдовы мельника). Переодетая в сарафан, она скрывается за перегородкою, откуда слышит, как похваляется один из пьянствующих в избе пугачевцев убийством ее отца. Девушка обнаруживает себя громким плачем, но хозяйка выдает ее за свою внучку, страдающую падучей болезнью.

С.55. ...Тарас Курочкин не вытерпел, отдал венник Фомке Бикбаеву... — Пушкин использует встречавшиеся ему при работе над «Историей Пугачева» имена и фамилии реальных лиц безотносительно действительных фактов их жизни. Так, в списке казненных повстанцами лиц, приведенном в примечаниях к восьмой главе «Истории Пугачева», значится «инвалидный солдат Лукиан Курочкин», а во второй главе рассказывается о татарине Бикбае Усманове, повешенном в Нижне-Озерной крепости.

С.55. А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персана его. — По народным поверьям, на теле особ царского происхождения имеются особые природные, несводимые знаки, по которым можно узнать лишенного престола и скрывающегося в неизвестности законного государя или наследника. Такие знаки Пугачев демонстрировал в августе 1773 г. в бане казаку по прозвищу Еремина Курица, а позднее и другим своим сторонникам. В четвертой главе «Истории Пугачева» говорилось, что у него были «на обеих грудях знаки, оставшиеся после болезни,

называемой черной немочью»; в примечании к этому месту отмечалось: «Г. Левшин пишет, что самозванец показывал сии пятна легковверным своим сообщникам и выдавал их за какие-то царские знаки. Оно не совсем так: самозванец, хвастая, показывал их, как знаки ран, им полученных» (имеется в виду книга: *Левшин А.И.* Историческое и статистическое обозрение уральских казаков. СПб., 1823).

С.55. Необыкновенная картина мне представилась... — В Летописи Рычкова приводилось свидетельство корнета Федора Пустовалова: «...с сообщниками своими, которых он любит, нередко вместе обедает и напивается допьяна, которые обще с ним сидят в шапках, а иногда-де и в рубахах и поют бурлацкие песни без всякого ему почтения...» Это показание очевидца получило отражение в третьей главе «Истории Пугачева» и в описываемой далее сцене. В «Рассказе моей бабушки» А.П.Крюкова также говорилось о пьянствующих пугачевцах: «...как скоро бабушка-мельничиха устала для них стол пирогами и другими кушаньями, то разбойники, раздевшись, остались в одних только красных рубашках и черных плисовых шароварах. Нечего сказать, богато были они разряжены. Только, господи боже мой! Какие ужасные у них были рожи!»

С.56. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкой. — Предполагается, что Пушкин имеет в виду (неправильно называя отчество) одного из ближайших сподвижников Пугачева Ивана Никифоровича Зарубина (1736 — 24 января 1775), по прозвищу Чика, которому самозванец повелел называться графом Чернышевым. Однако Зарубин отличался от упоминаемого в «Капитанской дочке» лица не только отчеством, но и возрастом. Отчество, по которому обращается в комментируемой сцене Пугачев к своему собутыльнику, имел в его окружении Афанасий Тимофеевич Соколов (1714 — 18 июня 1774), по прозвищу Хлопуша. Однако у «Тимофеича» нет никаких общих признаков с изображенным в одиннадцатой главе Хлопушей (см. с.71), а Гринев там рассказывает о Хлопуше как о человеке, с которым ранее никогда не встречался.

С.56. Чумаков Федор Федотович — яицкий казак, прозывавшийся у пугачевцев графом Орловым.

С.56. ...заунывную бурлацкую песню... — Эта песня заимствована Пушкиным из «Нового и полного собрания российских песен» (М., 1780. Ч. 1. С. 147. № 131), на которое есть ссылка в рукописи с указанием страницы. Пушкин называет песню бурлацкой, согласовывая свой выбор со свидетельством Ф. Пустовалова (см. выше, коммент. к с.55), однако в XVIII в. она считалась разбойничьей и приписывалась, как и песня «Вещевало мое сердце, вещевало...», московскому вору, мошеннику, разбойнику и тайному полицейскому доносителю Ваньке Каину. Пушкин знал об этой традиции, так как две первые строки этой песни включены в девятнадцатую главу «Дубровского» (см. выше, с.372), где их поет один из членов шайки.

С.58. ...прищуривая левый глаз... — Об этой привычке Пугачева, обыгрываемой в «Капитанской дочке» несколько раз и далее (см. с.72, 73, 80), Пушкин знал из приведенных в Летописи Рычкова показаний писаря Полуворотова: «...левый глаз щурит и часто им мигает...»

С.58. Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? — Основу этого хвастовства, вложенного Пушкиным в уста самозванца, составляет сравнение Пугачева с Отрепьевым, дважды проводимое в приложенных к «Истории Пуга-

чева» «Манифестах 23 декабря 1773, о бунте казака Пугачева и о мерах, принятых к искоренению сего злодея»: «...беглый с Дону казак Емельян Пугачев, скитавшийся пред сим в Польше, по примеру прежнего злодея и предателя Гришки Расстриги, отважившись, даже без всякого подобия и вероятности, взять на себя имя покойного императора Петра III...» Ср.: «Богу благодарение! протекло уже то для России страшное невежества время, в которое сим самым гнусным и ненавистным обманом могли влагать меч в руки брату на брата такие отечества предатели, каков был Гришка Отрепьев и его последователи».

С.59. *Эпиграф*. — Вторая строфа песни М.М. Хераскова «Вид прелестный, милы взоры!..», напечатанной анонимно в «Карманном песеннике» (М., 1796. Ч. 1. С. 21. № 16) И.И. Дмитриева.

С.60. *Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями*. — Обычай Пугачева бросать в толпу медные деньги, упомянутый в третьей главе «Истории Пугачева», был известен Пушкину из свидетельства корнета Ф.Пустовалова («...а он сам, когда публично ходит, то почти всегда бросает в народ медные деньги») и со слов казачки Ирины Афанасьевны Бунтовой (около 1760—1848), с которой писатель беседовал в Бердской слободе 19 сентября 1833 г.

С.60. «*Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей*». — Образцом для счета, предъявленного Савельичем Пугачеву, послужил Пушкину «Реестр, что украдено у надворного советника Буткевича при хуторе в пригороде Заинске».

С.63. *Эпиграф*. — Цитата (с изменением первой строки и неточностью во второй) из одиннадцатой песни эпической поэмы М.М.Хераскова «Россиада» (1779), прославляющей взятие Казани Иваном IV. В поэме первые две строки читаются:

Меж тем Российский царь, заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал ко граду взоры.

С.64—65. *Я застал у него <...> решился следовать мнениям людей несведущих и неопытных*. — О заседании совета, проведенном И.А.Рейнсдорпом 7 октября 1773 г., в Летописи Рычкова говорилось: «В журнале губернатора показано, что 7 числа сего созваны были к нему в дом находящиеся в Оренбурге генералитетские чины и некоторые штаб-офицеры для совета (между коих и я находился). Г. губернатор от каждого требовал мнения и особой подписки: атаковать ли еще злодея или только оборонительно поступать, пока воинские команды будут умножены? Все (кроме одного губернаторского товарища, г. действительного статского советника Старого-Милюкова), рассуждая усмотренное у злодеев людство, имеющуюся у него сильную артиллерию и дабы впредь могущею быть неудачею и утратою не привести городских жителей в уныние и колебание, дали и подписали такое мнение, что до собрания команд и пока город по наружности его приведен будет в надлежащую безопасность, поступать оборонительно, чему тогда и сам губернатор согласовался». Рассказывая об этом совете в третьей главе «Истории Пугачева», Пушкин отметил: «На сем совете действительный статский советник Старов-Милюков один объявил мнение, достойное военного человека: *итти противу бунтовщиков*». Отталкиваясь от этой оценки и нарушая историческую правду, Пушкин изображает совет как собрание штатских чиновников при единственном (не считая губернатора) военном. В рукописи это подчерки-

валось фразой, которая следовала за предложением «Между тем собрались и прочие приглашенные» и была исключена из печатного текста: «Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека».

С.65. *Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...* — В выписках Пушкина из так называемого «Журнала Рейнсдорпа» отмечено, что в сентябре 1773 г. за взятие Пугачева живым обещалось 500 руб., мертвым — 250 руб; в «Истории Пугачева» указано (гл.4), что в январе было уже «обещано десять тысяч рублей за поимку самозванца».

С.66. *Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам.* — Подробно об осаде Оренбурга, продолжавшейся до конца марта 1774 г., рассказано в третьей, четвертой и пятой главах «Истории Пугачева». В частности, о положении населения говорилось в четвертой главе: «У жителей отобрали муку и крупу и стали им производить ежедневную раздачу. Лошадей давно уже кормили хворостом. Большая часть их пала и употреблена была в пищу. Голод увеличивался. Куль муки продавался (и то самым тайным образом) за двадцать пять рублей. По предложению Рычкова (академика, находившегося в то время в Оренбурге) стали жарить бычачьи и лошадиные кожи и, мелко изрубив, мешать в хлебы. Произошли болезни. Ропот становился громче. Опасались мятежа». Одним из источников Пушкину служил рассказ И.А. Крылова, записанный им 11 апреля 1833 г.: «Ив<ан> Андр<еевич> находился тогда с матерью в Оренб<урге>. На их двор упало несколько ядер, он помнит голод и то, что за куль муки заплачено было его материю (и то тихонью) 25 р!»

С.67. *...с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой.* — О судьбе молодой жены коменданта Нижне-Озерной крепости Е.Г.Харловой (см. выше, с.395, коммент. к с.46), отправленной мужем за четыре дня до сражения к отцу в Татищеву крепость, Пушкин писал в третьей главе «Истории Пугачева»: «Молодая Харлова имела несчастье привязать к себе самозванца. Он держал ее в своем лагере под Оренбургом. Она одна имела право во всякое время входить в его кибитку; по ее просьбе прислал он в Озерную приказ похоронить тела им повешенных при взятии крепости. Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны. Раненые, они сползлись друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, оставались долго в том же положении».

С.68. *Вдруг мысль мелькнула в голове моей...* — В первоначальной редакции было: «странная мысль», и состояла она в намерении отправиться к Пугачеву и просить его о помощи. В печатной редакции все предложение вместе с этим эпитетом было перенесено в одиннадцатую главу (см. с.71).

С.69. *Эпиграф.* — Написан самим Пушкиным, искусно имитировавшим стиль басен и притч А.П.Сумарокова. По содержанию эти строки более соответствовали первоначальной редакции главы, в которой Гринев являлся к Пугачеву не пленником, а по собственной инициативе, то есть гостем.

С.70. *Бердская слобода* в семи верстах от Оренбурга на реке Сакмаре была главной ставкой Пугачева.

С.71. *Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою...* — В Оренбурге бытовало предание о «золотом дворце» Пугачева. О нем писал,

например, в своих воспоминаниях В.И. Даль, служивший в 1833 г. чиновником по особым поручениям у оренбургского генерал-губернатора и сопровождавший Пушкина в поездке «в историческую Бердинскую слободу». По его словам, он рассказал поэту «о бердинских старухах, которые помнят еще „золотые“ палаты Пугача, то есть обитую медною латуною избу», а в слободе Пушкину «указали, где стояла изба, обращенная в золотой дворец» (А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С.260—261). Архивными разысканиями Р.В. Овчинникова установлено, что изба казака Константина Егоровича Ситникова (около 1750—1815) была оклеена шумихою (сусальным золотом, т.е. очень тонкой бумагой или пленкой золотистого цвета, изготовленной из двусернистого олова), которая была среди товаров захваченного повстанцами в конце октября 1773 г. бухарского торгового каравана. О подлинном убранстве «дворца» Пушкину рассказал, видимо, Карп Константинович Ситников, у которого в памяти сохранились или собственные детские впечатления, или рассказы отца.

С.71. *...двумя сальными свечами...* — В первой трети XIX в. происходила замена сальных свечей стеариновыми, так что для современников Пушкина эта реалия образно воссоздавала атмосферу старинного быта прошлых эпох.

С.71. *...с видом притворного подобострастия.* — Опираясь на показания корнета Ф.Пустовалова (см. выше, с.398, коммент. к с.55), Пушкин писал в третьей главе «Истории Пугачева»: «Они <казаки. — В.Р> оказывали ему наружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом; но наедине обходились с ним как с товарищем».

С.71. *...кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку.* — Широкая голубая муаровая лента, перекинутая через правое плечо, была атрибутом высшей награды Российской империи — ордена св. апостола Андрея Первозванного, которым награждались исключительно лица, как говорилось в уставе, «благородного, знатного графского или княжеского звания».

С.71. *...беглый капрал Белобородов...* — Описываемая Пушкиным внешность Ивана Наумовича Белобородова, одного из главных предводителей повстанцев, не соответствует возрасту реального исторического лица (род. в начале 1740-х гг.). Первая его встреча с Пугачевым состоялась в Магнитной крепости 7 мая 1774 г., так что присутствие его при беседе Пугачева с Гриневым в Бердской слободе является анахронизмом. Пушкин опирался на присланные ему историком Д.Н.Бантышом-Каменским материалы для «Словаря достопамятных людей земли русской» (М., 1836. Ч. 1—5), из которых выписал: «Иван Наумов сын Белобородов, отставной канонер, пристал к Пугачеву <в> 1773 году, пожалован им в полковники и в походные атаманы, а потом в начале 1774 в старшие войсковые атаманы и в фельдмаршалы. Был жесток, знал грамоты, соблюдал в шайках строгую дисциплину». Белобородов был схвачен в июле 1774 г. и казнен 5 сентября в Москве.

С.71. *...Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников.* — Афанасий Тимофеевич Соколов (см. выше, с.398, коммент. к с.56) трижды приговаривался за преступления к различным наказаниям, но лишь в последний раз, в 1768 г., был сослан в каторжные работы на Нерчинские сереброплавящие заводы, откуда вскоре бежал, однако был пойман, привезен в Оренбург, бит кнутом и оставлен «в городской работе вечно». 5 октября 1773 г. И.А.Рейнсдорп послал его к повстанцам с «объявлением», поставив ему задачу «свесть Пугачева в Оренбург». Хлопуша примкнул к

восставшим. Он был арестован 23 марта 1774 г. Его портрет в «Капитанской дочке» сложился из нескольких описаний, которыми располагал Пушкин. О внешности Хлопуши он знал, во-первых, из показаний фурьера Ивана Иванова, откуда сделал выписку: «...а с ним < Пугачевым. — В.Р. > всегда ездит неведомый человек в казачьем платье, волосы и борода русые, ряб, ноздри рваные и клеймы на лице поставлены». Из показаний сотника Ивана Белоносова Пушкин выписал: «А у Хлопуши ноздри рваные, до хрящей». Выразительное описание внешности Хлопуши прочел Пушкин в «Рассказе моей бабушки» А.П.Крюкова: «Ты видел, дитя мое, картину страшного суда, которая поставлена на паперти здешнего собора. Видел на ней врага рода человеческого, притягивающего к себе большую цепью бедных грешников: ну вот, ни дать, ни взять, таков был Хлопуша, — тот же высокий сутуловатый рост, те же широкие плечи, та же длинная свинцовая рожа, те же страшные, кровью налитые глаза, сверкающие из-под густых нависших бровей, те же всклокоченные, как смоль черные волосы на голове и та же борода, закрывающая половину лица и достающая почти до пояса. Недоставало только рогов да копыт». Далее в «Рассказе» следует описание собутыльника Хлопуши по прозвищу Топорик, имевшего «рыжую голову и бороду». Наконец, в выписках Пушкина из материалов Д.Н.Бантыша-Каменского находится объяснение деталей одежды Хлопуши, упоминаемых в комментируемом описании: «Он < Пугачев. — В.Р. > дал Хлопуше полтину из своих рук и велел на него надеть халат и шаровары повешенного им киргизца».

С.72. ... и то за честь... — и тому рады; и то считают для себя удачей.

С.75. ...а сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться? — В сражении под деревней Юзеевой 8 ноября 1773 г. повстанцы нанесли поражение правительственным войскам под командованием генерала В.А. Кара. Об этом рассказывается в третьей главе «Истории Пугачева», причем на основании рапорта В.А. Кара приводится цифра потерь «не более ста двадцати человек убитыми, ранеными и бежавшими», а в выписках указано точно: «123 чел.». Прусский король — Фридрих II (1712—1786, правил с 1740), прославившийся как полководец.

С.75. С Федор Федоровичем? — Отцом Фридриха II был Фридрих I (1657—1713, король Пруссии с 1701).

С.75. ...а они его бивали. — Имеется в виду состоявшееся 1 августа 1759 г. сражение при деревне Кунерсдорф в Пруссии, в котором соединенные русско-австрийские войска под командованием генерал-аншефа П.С.Салтыкова нанесли сокрушительное поражение армии Фридриха II.

С.75. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву. — Реальную основу этого хвастливого заявления, вложенного Пушкиным в уста Пугачева, составляет рассказ, записанный им со слов казака Папкова в крепости Сорочинской: «Бунтовщики 1771 года посажены были в лавки Менового двора. — Около Сергиева дня, когда наступил сенокос, их отпустили на Яик. — Садясь в телеги, они говорили при всем торжище: „То ли еще будет? так ли мы тряхнем Москву?“».

С.75. Улица моя тесна; воли мне мало. — В третьей главе «Истории Пугачева» говорится: «Пугачев не был самовластен. Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями прошельца, не имевшего другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной. Он ничего не пред-

принимал без их согласия; они же часто действовали без его ведома, а иногда и вопреки его воле. <...> Пугачев скучал их опекою. *Улица моя тесна*, говорил он Денису Пьянову, пируя на свадьбе младшего его сына. Не терпя постороннего влияния на царя; ими созданного, они не допускали самозванца иметь иных любимцев и поверенных». Пушкин слышал приведенные им слова Пугачева в Уральске (б.Яицком городке) 21 сентября 1833 г. от самого «младшего сына», Михаила Денисовича Пьянова (около 1752 — после 1834), которого в примечании к цитированному выше фрагменту ошибочно назвал Дмитрием.

С.75. *...при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою.* — В пятой главе «Истории Пугачева» говорится: «В случае ж поражения намеревался он бежать, оставя свою сволочь на произвол судьбы. Для того держал он на лучшем корму тридцать лошадей, выбранных им на скачке. Башкирцы подозревали его намерение и роптали. <...> Яицкие же казаки в случае неудачи думали предать Пугачева в руки правительства и тем заслужить себе помилование. Они стерегли его, как заложника».

С.76. *Расскажу тебе сказку...* — Фольклорный источник этой сказки до сих пор не установлен.

С.76. *Эпиграф.* — Переделка (или, может быть, вариант) свадебной песни, записанной Пушкиным в Михайловском и переданной им, в числе других, фольклористу П.В. Киреевскому (1808—1856).

С.77. *...в подлых выражениях...* — лстыиво, подобострастно.

С.79. *Несть спасения во многом глаголании.* — Священник употребляет выражение из Евангелия от Матфея (VI, 7): «Молящиеся же не лишше глаголите, якоже язычници: мнят бо, яко во многоглаголании своем услышани будут» (пер.: А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны).

С.80. *...подписанный каракульками Пугачева...* — Неграмотный Пугачев, играя роль законного императора, часто хвастался перед своими соратниками умением писать на двенадцати языках и однажды в подтверждение исписал лист знаками, уверяя присутствующих, что это письмо на иностранном языке губернатору И.А.Рейнсдорпу с требованием сдать Оренбург. Подброшенное казаками к городу 20 декабря 1773 г., это «послание» сохранилось; Пушкин с ним познакомился и приложил к «Истории Пугачева» факсимиле нижней части с «каракулями», изображающими подпись императора Петра III.

С.81. *Эпиграф.* — Сочинен, видимо, самим Пушкиным, имитировавшим комедийный стиль Я.Б.Княжнина.

С.84. *Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар.* — Татищева крепость была взята правительственными войсками под командованием генерал-майора П.М. Голицына 22 марта 1774 г. Об этом сражении и снятии осады Оренбурга рассказывается в пятой главе «Истории Пугачева».

С.85. *Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и снова начал злодействовать.* — Об этих событиях идет речь в шестой, седьмой и восьмой главах «Истории Пугачева». *Сибирскими* Пушкин называет заводы Южного Урала (Вознесенский, Авзяно-Петровский, Белорецкий и др.), ставшие базой нового этапа восстания. *Казань* была взята Пугачевым 12 июля 1774 г., манифест о *походе на Москву* обнародован утром 15 июля, а

18 июля Главная армия Пугачева переправилась через Волгу, и последующие военные действия развертывались на правом берегу.

С.85. *...бедствие доходило до крайности.* — Далее в рукописи следует фраза, исключенная из печатного текста: «Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти».

С.85. *Правление было повсюду прекращено...* — Фраза перенесена в «Капитанскую дочку» из восьмой главы «Истории Пугачева».

С.85. *Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном.* — Подполковник (с 23 июля 1774 — полковник) И.И.Михельсон (1740—1807) нанес несколько сильных ударов по войскам Пугачева и окончательно их разгромил 25 августа 1774 г. в 105 верстах от Царицына. Преданный своими сообщниками, Пугачев был доставлен в Яицкий городок 15 сентября 1774 г., посажен в клетку и под усиленной охраной отправлен в Симбирск, а оттуда в Москву.

С.86. *Эпиграф.* — Эта пословица взята Пушкиным (с незначительным изменением) из имевшегося у него «Полного собрания русских пословиц и поговорок, расположенного по азбучному порядку» (СПб., 1822. С.141), где она читается: «Мирская молва, что морская волна».

С.90. *...працур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым.* — Вкладывая в уста Гринева-отца упоминание о казненном пращуре, Пушкин соотносит его семейную историю со своею: предок поэта, стольник Федор Матвеевич Пушкин участвовал в заговоре против Петра и был казнен 4 марта 1697 г., о чем говорится в шестой строфе стихотворения «Моя родословная» (1830). *Лобное место* — место публичных казней на Красной площади в Москве. *Волынский* Артемий Петрович (род. 1689), кабинет-министр при Анне Иоанновне (с 1738), сторонник просвещенного абсолютизма, противник засилья при дворе немецкой партии, возглавлявшейся фаворитом императрицы, временщиком Э.-Г. Бироном, и его сторонники, в их числе его друг, горный инженер Андрей Федорович Хрущев (род. 1691), были казнены в Петербурге 27 июня 1740 г. по обвинению в подготовке государственного переворота.

С.90. *...едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.* — Закончив чтение «Капитанской дочки», цензор П.А.Корсаков задал Пушкину письмом 25 октября 1836 г. вопрос, «существовала ли действительно девица Миронова и действительно ли была у покойной императрицы?». Писатель ответил в тот же день: «Роман мой основан на предании, некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки Пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Роман, как изволите видеть, ушел далеко от истины». Пушкин имел в виду окончание слышанного им рассказа о ссоре А.М.Шванвича с Алексеем Орловым, изложенное следующим образом в черновой редакции «Замечаний о бунте»: «Сын Шванвича, находившийся в команде Чернышева, имел мало-душие пристать к Пугачеву и глупость служить ему со всеусердием. Г.А. Орлов выпросил у государыни смягчение приговора». В первоначальных планах романа, где главным персонажем был Шванвич, именно такой задумывалась концовка.

С.90. ...не ошельмованного изменника . — Шельмование (нем. Schelm — мошенник, плут) — наказание для дворян за государственные преступления, процедура которого состояла в том, что палач преломлял шпагу над головою виновного и его объявляли вором, лишенным всех прав состояния. К подобному наказанию был приговорен М.А. Шванвич, о чем в правительственной «Сентенции» говорилось: «Подпоручика Михаила Швановича, за учиненное им преступление, что он, будучи в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо повиновался самозванцовым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти, лишив чинов и дворянства, ошельмовать, преломая над ним шпагу».

С.91. ...благополучно прибыла в Софию... — Анахронизм: уездный город София был основан по указу Екатерины II рядом с дворцовым парком Сарского села позже, в 1780 г., и был назван по тогда же построенной соборной церкви св. Софии. В 1808 г. Сарское село и София были объединены в один город, официально именовавшийся «Царское село и София» (вторая часть этого названия постепенно вышла из употребления).

С.91. ...Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. — Изображая нечаянную встречу Марьи Мироновой с не узнанной ею Екатериной II, Пушкин опирался на литературную традицию. В романе Вальтера Скотта «Эдинбургская темница» (1818) героиня, Джини Динс, шотландская девушка-пуританка, пришедшая пешком в столицу просить о помиловании своей младшей сестры, разговаривает, не догадываясь о том, с королевой Каролиной, по чьему содействию ее ходатайство оказывается удовлетворенным. Ряд деталей комментируемого эпизода «Капитанской дочки» находит весьма близкие соответствия в гл. 36—37 «Эдинбургской темницы». В XVIII в., когда разработанное просветителями представление о просвещенном государе настолько укоренилось в умах, что европейские монархи для укрепления своего международного авторитета тщились слыть таковыми, получили распространение анекдоты (рассказы) о их случайных встречах неузнанными с простыми людьми и справедливом решении жалоб последних. Широкою известность в Европе получил перепечатывавшийся во многих журналах и сборниках для детей и юношества анекдот о благодеянии, оказанном австрийским императором Иосифом II встреченной им на прогулке сироте, бедной дочери погибшего на войне армейского капитана. Самые ранние публикации этого анекдота на иностранных языках — в журналах: Anecdote relating to the present Emperor of Germany contained in an extract of a letter from Viena, June 7// The Universal Magazine of Knowledge and Pleasure. 1770. Vol.46 . The Supplement. P.368—369; на французском языке - Journal encyclopédique ou universel. 1772. T.1, pt.1. Janvier. P.117—119. Первый русский перевод был напечатан в журнале «Детское чтение для сердца и разума» (1786. Ч.7 № 31. С.110—111), откуда неоднократно перепечатывался в разных изданиях ([Корнильев Д.В.]. Исторический журнал, или Собрание из разных книг любопытных известий, увеселительных повестей и анекдотов. Тобольск, 1790. Ч.1. С.84—85; Богомолов Ф. Нравственный пластырь... М., 1792. Ч.1. С.29—30; Разные анекдоты... /Пер. с нем. А.Даниловым. М., 1792. С.98—99; Прохладные часы. 1793. Ч.2. Декабрь. С.454—455; во втором издании седьмой части «Детского чтения», выпущенном в 1803 г., и других перепечатках с 1801 по 1819 г.). Другие русские переводы — в книгах и журналах: Избранное чтение, или Собрание чувствительных и к внушению добродетели споспешествующих повестей. СПб., 1786. С.119—123; Зеркало света. 1787. Ч.5.

№ 75. 4 июня. С.370—371; [Беранже Л.-П., Гибо Ю]. Нравоучение, представленное на самом деле.../ Пер. с фр. ... М. В. [М.М.Вышеславцевым]. М., 1790. Ч.1. С.165—168.

С.91. ...где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. — Речь идет о Кагульском обелиске (арх. предположительно Антонио Ринальди, около 1710—1794), воздвигнутом в 1771—1772 гг. «в память победы при реке Кагуле в Молдавии, июля 21 дня 1770 года», где под командованием П.А. Румянцева (1725—1796) «Российское воинство числом семнадцать тысяч обратило в бегство до реки Дуная турецкого <турецкого. — В.Р.> визиря Галил-бея с силою полтораста-тысячною».

С.91. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. — Описывая Екатерину II, Пушкин следует ее портрету кисти В.Л.Боровиковского (1791), широко известному по гравюре Н.И.Уткина (1827). Соответственно времени года, когда происходит встреча императрицы с Марьей Мироновой, он дополняет одежду душегрейкой.

С.94. ...за ее желтым роброном? — Желтый цвет ассоциировался у Пушкина с модой конца XVIII в. Ср. желтое платье старой графини в «Пиковой даме».

С.95. 19 окт. 1836. — Эта дата окончания работы над романом, совпадающая с ежегодно отмечавшейся лицейской годовщиной, а также подпись «Издатель» отсутствуют в подготовленной к изданию перепечатке «Капитанской дочки» в составе «Романов и повестей Александра Пушкина» (СПб., 1837). Ср. выше, с.386—387, коммент. к с.7.

С.103. ...к Ильину дню... — 20 июля.

ПОВЕСТИ БЕЛКИНА

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А.П.». СПб., 1831.

Повести написаны в селе Болдине осенью 1830 г. и, согласно пометам в рукописях, закончены:

9 сентября — «Гробовщик»;

14 сентября — «Станционный смотритель»;

20 сентября — «Барышня-крестьянка»;

14 октября — «Выстрел»;

20 октября — «Метель».

Вопрос о времени написания предисловия «От издателя» не получил окончательного решения. По одним предположениям, черновой вариант был закончен 14 сентября, и в дальнейшем предисловие дорабатывалось вплоть до начала сентября 1831 г. включительно. Согласно другой гипотезе, мысль объединить повести в цикл образом вымышленного их автора возникла уже тогда, когда все они были написаны, — очень вероятно, в конце октября 1830 г., после чего и началась работа над предисловием.

Замысел повестей сложился предположительно ранее 1830 г. Нечто похожее на программу, в них реализованную, было сформулировано еще осенью 1829 г., в пятом письме «Романа в письмах», где героиня размышляет о возможности

«взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки» так, что «вышел бы прекрасный, оригинальный роман» (см. выше, с.286).

К началу июля 1831 г. Пушкин подготовил рукопись к печати (кроме предисловия), но в силу разных обстоятельств она была передана в цензуру только в 20-х числах августа, и 1 сентября было подписано разрешение. «Повести» вышли из печати 22 октября 1831 г.

С.105. *Эпиграф*. — Цитата из комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» (д IV, явл. 8).

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

С.106. ...*в селе Горюхине...* — В черновых рукописях предисловия «От издателя» и в рукописи «Истории села Горюхина» название села несколько раз написано «Горохино».

С.108. ...*подполковником И.Л.П.* ... — Существует предположение, согласно которому этими инициалами Пушкин обозначил подполковника (позднее чиновника по особым поручениям), участника русско-шведской войны 1808—1809 гг., Отечественной войны 1812 г. и заграничной кампании против Наполеона 1813—1814 гг. Ивана Петровича Липранди (1790—1880), близкого к кишиневской ячейке тайного общества, храбреца и завзятого дуэлянта, с которым поэт находился в тесных, дружеских отношениях в течение всего пребывания на юге и в котором с большим основанием видят один из прототипов главного персонажа повести «Выстрел» Сильвио.

ВЫСТРЕЛ. Замысел повести возник, по сведениям биографа Пушкина П.В. Анненкова, еще в лицейские годы. Сюжетные аналогии и сходные мотивы отмечены в повести А.А. Бестужева-Марлинского «Вечер на Кавказских водах» (опубл. в августе 1830; отложенный выстрел, описание таинственного «венгерского дворянина»), драме Виктора Гюго «Эрнани» (пост. в феврале 1830; отсроченная месть), переводном, с немецкого языка, рассказе «Убедительный урок» (Благонамеренный. 1821. № 9; стрелок-виртуоз заставляет на дуэли противника выстрелить в него дважды, а сам стреляет в брошенную вверх сливу), рассказе О.М. Сомова «Странный поединок» (Благонамеренный. 1826. № 7; отказ знаменитого дуэлянта от выстрела). Ранние биографы Пушкина связывали предположительно сюжет «Выстрела» с устными рассказами И.П. Липранди, но последний не мог вспомнить подобного своего рассказа.

С.110. *Первый эпиграф*. — Цитата из поэмы Е.А. Баратынского «Бал» (стих 383), напечатанной впервые в одной книге с поэмой Пушкина «Граф Нулин» («Две повести в стихах». СПб., 1828). Сразу после ее выхода в свет Пушкин начал писать на нее рецензию, которую, однако, не закончил.

С.110. *Второй эпиграф*. — Цитата из рассказа А.А. Бестужева-Марлинского «Вечер на бивуаке» (1822), в котором, как и в повести Пушкина, развивается мотив отложенного дуэльного выстрела (вследствие полученного на первом поединке ранения) и конечного отказа от мести.

С.110. *Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком.* — Согласно бытовым представлениям пушкинского времени о возрастах человека, уходившим далеко назад, старость считалась с сорока лет (см., например: Курганов Н.Г. Письмовник. 11-е изд. М., 1837. Ч.2. С.212); в среде молодых офицеров, рубеж, естественно, сдвигался еще ранее.

С.110. ...*он казался русским, а носил иностранное имя.* — Наряду с И.П. Липранди, другим прототипом Сильвио был предположительно лицейский товарищ

Пушкина Сильверий Францевич Броглио (1799—1820-е), принявший после окончания лицея участие и погибший в греческом национально-освободительном движении. На выбор фамилии героя могли повлиять и другие факторы. В хорошо известном Пушкину романе французского писателя Жюль Жанена «Мертвый осел и гильотинированная женщина» (1829) есть персонаж, называемый Сильвио. По предположению В.Э.Вацуро, в итальянском звучании фамилии Сильвио отразилась общность психологического рисунка героев «Выстрела» и законченной через 12 дней (26 октября 1830) трагедии «Моцарт и Сальери» (и Сильвио и Сальери годами вынашивают мысль об убийстве, у обоих один и тот же мотив зависти).

С.114. ...славного Б***, воспетого Д. Д—м. — Речь идет о Александре Петровиче Бурцове (ум.1813), гусаре, снискавшем славу своими разгулами и молодечеством; он был приятелем поэта-гусара Д.В. Давыдова, который адресовал ему стихотворения «Бурцову. Призывание на пунш», «Бурцову», «Гусарский пир» (все — 1804).

С.114—116. *Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня.* — Автобиографический эпизод. В мае или июне 1822 г., в Кишиневе, состоялась дуэль Пушкина с офицером генерального штаба Зубовым, поводом для которой стало сказанное со смехом после игры в карты замечание поэта по адресу своего удачливого противника за игорным столом. По свидетельству кишиневского знакомого Пушкина, подтвержденному и другими лицами, «на поединок с Зубовым Пушкин явился с черешнями и завтракал ими, пока тот стрелял. Но Зубов поступил не так, как герой пушкинской повести Сильвио. Он стрелял первый и не попал. „Довольны ли вы?“ — спросил его Пушкин, которому пришел черед стрелять. Вместо того, чтобы требовать выстрела, Зубов бросился с объятиями. „Это лишнее“, — сказал ему Пушкин и, не стреляя, удалился» (*Бартенев П.И. Пушкин в южной России // Бартенев П.И. О Пушкине: Страницы жизни поэта; Воспоминания современников. М., 1992. С.190—191*). Об этой дуэли напомнил смертельно раненный Пушкин К.К. Данзасу по пути домой после дуэли (А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т.2. С.374).

С.116. *С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал...* — Эти слова повторены в «Русалке» (ср. «Днепровское дно», 36—38):

С той поры
Как бросилась без памяти я в воду
<...>
Прошло семь долгих лет — я каждый день
О мщении помышляю...
И ныне, кажется, мой час настал.

С.116. ...и лошади поскакали. — Первоначально после этих слов Пушкин написал: «(Окончание потеряно)» — и поставил дату «12 окт.<ября> 1830 Болд.<ино>», однако через день приписал вторую главу.

С.120. *Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.* — Александр Константинович Ипсиланти (1792—1828), принадлежавший к княжескому роду греков-эмигрантов, генерал-майор (с 1817) русской службы, при-

нял в апреле 1820 г. верховное руководство тайной революционной организацией греков «Филике Этерия» («Дружеское общество») и, перейдя 22 февраля 1821 г. реку Прут (русско-турецкую границу), обнародовал 24 февраля воззвание, послужившие сигналом к вооруженной национально-освободительной борьбе. Сражение под Скулянами состоялось 16—17 июня 1821 г. Пушкин описал его в очерке «Кирджали» (см. выше, с.199).

Сведения об участии Сильвио в восстании этеристов позволяют установить внутреннюю хронологию повести. Из предшествующих фраз очевидно, что граф рассказывал подполковнику И.Л.П. о своем втором поединке с Сильвио до того, как последний присоединился к этеристам, т.е. не позднее июня (месяц приезда графа с женой в имение — см. с.117) 1820 г. Женитьба графа и второй поединок состоялись пятью годами ранее (см. с.119), т.е. не позднее лета (Сильвио уезжает в тележке и в ней же приезжает к графу запыленный — см. с.116, 119) 1815 г. К лету 1814 г. или еще ранее эти события отнести нельзя, так как они происходят явно в мирное время (см., например, описание гарнизонной жизни). Первый поединок состоялся шестью годами ранее второго (см. с.113), т.е. в 1808—1809 гг. В год второго поединка Сильвио было около 35 лет (см. с.110), следовательно — он родился около 1780 г., стрелялся с графом первый раз в 28—29 лет и примкнул к этеристам, когда ему было уже за 40 лет. Граф встретился с рассказчиком приблизительно 32 лет, т.е. родился около 1788 г., дрался с Сильвио первый раз 20 лет — 21 года и женился 27 лет.

МЕТЕЛЬ. По сведениям П.В. Анненкова, замысел «Метели», как и «Выстрела», возник в лицейские годы. Один из рецензентов указал, что повесть основана на реальном событии (Литературные прибавления к Русскому инвалиду. 1831. № 93. С.735). Очень близкий к «Метели» сюжет имела повесть В.И. Панаева (1792—1859) «Отеческое наказание» (Благонамеренный. 1819. № 8), в подзаголовке которой значилось «истинное происшествие». Подмена жениха во время венчания его соперником служила важным сюжетобразующим мотивом в романе В.Скотта «Сент-Ронанские воды» (1823), причем персонаж, совершивший этот поступок, заявлял, что его «представления о браке основывались в значительной мере на пьесах и романах, где такие проделки <...> часто применяются для развязки» и «незаконность их совершенно не принимается во внимание» (Скотт В. Собр. соч.: В 20 т. М.; Л., 1964. Т.16. С.357). К литературной традиции сюжета «Метели» принадлежали также комедия французского драматурга Пьера Клода Нивеля де Лашоссе (1692—1754) «Ложная антипатия» (1733) и повесть швейцарской писательницы Изабель де Монтолье (1751—1832) «Урок любви», переводившаяся в пушкинское время на русский язык (Вестник Европы. 1820. № 9—11).

С.121. *Эпиграф.* — Цитата из баллады В.А.Жуковского «Светлана» (1813).

С.123. *...землемер Шмит в усах и шпорах...* — Шмит хочет походить на военного (в отличие от статских чиновников военным было положено носить усы).

С.127. *Артемиза* (Артемизия) — царица Карийская (Малая Азия) в 352—350 гг. до н.э., воздвигшая в городе Галикарнасе в память своего мужа Мавзола грандиозную усыпальницу, которая стала одним из семи чудес света. Согласно легенде, в доказательство своей любви и верности покойному мужу она предала его тело сожжению и выпила смесь из пепла с напитком.

С.127. *Vive Henri-Quatre* — куплеты из комедии французского драматурга Шарля Колле (1709—1783) «Выезд на охоту Генриха IV» (соч. 1764, пост. 1774),

приобретшие популярность после побед над Наполеоном в связи с тем, что в них прославлялся первый король Франции из дома Бурбонов. На мотив этих куплетов сочинялись злободневные песенки, например «Куплеты в честь их императорских и царских величеств России и Пруссии. На мотив: *Vive Henri IV*» («*Couplets en l'honneur de leurs majestés impériale et royal de Russie et de Prusse. Sur l'air: Vive Henri IV. Arrangé pour le piano ou harpe par Bouffet*»). СПб., 1814).

С.127. ...*арии из «Жоконда»*. — Речь идет о комической опере французского композитора Николао Изоара (1775—1818) «Жоконд, или Искатели приключений» (пост. 28 февраля 1814), шедшей с успехом в Париже.

С.128. *И в воздух чепчики бросали*. — Слова Чацкого из комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 5, монолог «А судьи кто?..»).

С.128. ...*с Георгием в петлице*... — с военным орденом святого великомученика и победоносца Георгия.

С.128. *Se amor non è, che dunque?..* — Часть начального стиха («*S'amor non è, che dunque è quel ch'io sento?*», пер.: Если это не любовь, что же я чувствую?) сонета СХХХII (цикл «На жизнь мадонны Лауры») итальянского поэта Франческо Петрарки (1304—1374). В пушкинское время эта строка была крылатой цитатой. Например, ее поставил эпиграфом к своей статье «Петрарка» (1815) К.Н.Батюшков. Встретил ее Пушкин и в имевшемся у него собрании стихотворений французского писателя Антуана Венсана Арно (*Arnaut A.-V. Oeuvres: Fables et Poesies diverses. Paris, 1825. P.421*) в качестве эпиграфа («*S'amor non è, che dunque sento?*») к стихотворению «Подражание Петрарке» («*Imitation de Pétrarque*»); здесь же в примечании сонет Петрарки был напечатан полностью в подлиннике.

С.129. ...*предаяясь милой привычке*... — Выражение «милая привычка» заимствовано, по-видимому, из романа французского писателя Бенжамена Констан (1767—1830) «Адольф» (1815), оказавшего большое влияние на Пушкина и оставившего след реминисценциями в ряде его произведений. У Констан: «Вы дали возникнуть и созреть сей сладостной привычке» («*Vous avez laissé naître et se former cette douce habitude*»).

С.129. (*Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux*). — Имеется в виду эпистолярный роман французского писателя Жан-Жака Руссо (1712—1778) «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), открывающийся письмом к героине, Юлии д'Этанж, девушке из дворянской семьи, ее домашнему учителю, разночинца Сен-Прё: «Сомнения нет, я должен бежать от вас, сударыня! Напрасно я медлил, вернее, напрасно я встретил вас! Что же мне делать? Как быть? Вы мне посулили дружбу; убедитесь, в каком я смятении, и поддержите меня советом. <...> Однако мы ежедневно встречаемся, и вы невольно, без всякого умысла усугубляете мои терзания; впрочем, сочувствовать им вы не можете, и даже знать о них вам не должно» (*Руссо Ж.-Ж. Избр. соч. М., 1961. Т.2. С.14*).

ГРОВОЩИК.

С.131. *Эпиграф*. — Цитата из оды Г.Р.Державина «Водопад» (соч. 1791—1794; напеч. 1798). У Державина: «всякой день».

С.131. ...*гробовщика Адриана Прохорова*... — В «Гробовщике» отразились сложными, многоступенчатыми ассоциациями впечатления и переживания Пушкина, оставшиеся от пребывания в Москве в августе 1830 г. Прототипом главного персонажа повести был гробовщик Адриан, чья мастерская находилась на Б.Никитской ул. напротив дома Гончаровых, из окон которого она была видна

через Скарятинский переулок. Об этом Адриане Пушкин вспоминал в письме к невесте из Болдина 4 ноября 1830 г.

С.131. ...с *Басманной*... — На Басманной ул. жил и 20 августа 1830 г. умер дядя поэта, В.Л.Пушкин; хлопоты о его похоронах взял на себя его племянник. Существует предположение, согласно которому один из рисунков на рукописи «Гробовщика» изображает В.Л.Пушкина.

С.131. ...в течение *осьмнадцати лет*... — В старом доме Адриана Прохорова «в течение осьмнадцати лет все было заведено самым строгим порядком», а первый гроб, как указано в конце повести (см. с.136), он продал в 1799 г.; следовательно, действие повести происходит в 1817 г. или, во всяком случае, не ранее.

С.131. ...изображающая *дородного Амура с опрокинутым факелом в руке*... — На вывеске Адриана изображена эмблема смерти, принятая искусством классицизма и, в частности, получившая распространение в надгробиях, а также цеховых знаках и рекламах похоронного дела после того, как немецкий писатель Г.Э.Лессинг доказал (1769), что в античные времена смерть изображалась в образе двойника сна — прекрасного, задумчивого юноши, держащего опрокинутый светильник.

С.131—132. ...*Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение*. — Речь идет о трагедии Шекспира «Гамлет» (д. V, сц. 1) и романе В.Скотта «Ламмермурская невеста» (1819). Эпиграфом к главе 24, где изображен могильщик, В. Скотт поставил отрывок диалога из указанной сцены в «Гамлете». В современной Пушкину литературе обычным стало обыгрывать контраст между мрачным ремеслом и веселым нравом могильщиков, причем возводился этот художественный прием именно к В. Скотту. Например, в 1834 г. В.Ф.Одоевский писал Г.П.Волконскому об эпидемии холеры: «На улицах гробовые дроги и на них веселые лица гробовщиков, считающих деньги на гробовых подушках, — всё это было Вальтер Скоттов роман в лицах» (цит. по: *Якубович Д.П.* Реминисценции из Вальтер-Скотта в «Повестях Белкина» // Пушкин и его современники. Л., 1928. Вып.37. С.112).

С.132. ...на *Разгуляе*... — Расстояние от площади Разгуляй, вблизи Басманной улицы, до нового дома Адриана Прохорова — около 5 км.

С.132. ...*тримя франмасонскими ударами в дверь*. — Вступавшего в тайное общество масонов (англ. freemasons, фр. francs-maçons — дословно: вольные каменщики) подводили к дверям ложи, и сопровождавший его «ритор» просил доступ тремя ударами в дверь. Символика обряда принятия была насыщена мотивами смерти и тленности. Таким образом, употребленный Пушкиным эпитет нес сложный иронический смысл, обыгрывая профессию Адриана Прохорова и оттеняя появление нового человека, ищущего знакомства и неких доверительных отношений на основе родственной для мастеровых общности забот и трудов.

С.134. ...*отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами*. — Очевидно, ироническое замечание по адресу В.Скотта, в чьих романах Пушкин усматривал длинноты описаний. Ср. замечание в «Романе в письмах»: «...я и в Вальтер Скотте нахожу лишние страницы» (см. с.285).

С.134. ...*как почталион Погорельского*. — Персонаж повести Антония Погорельского (Алексея Алексеевича Перовского, 1787—1836) «Лафертовская Ма-

ковница» (1825), «отставной почтальон Онуфрич», «будучи еще молодым человеком, лет двадцать прослужил в поле и дослужился до ефрейторского чина; потом столько же лет верою и правдою продолжал службу в московском почтамте».

С.134. ...с секирой и в броне сермяжной. — Цитата из «сказки» А.Е. Измайлова «Дура Пахомовна» (1825), где так описан будочник Фадеич «с миной важной». В свою очередь этот стих является автоцитатой из басни «Пьяница» (1816), где перепившегося отставного квартального

...ведут

Два воина осанки важной,
С секирами, в броне сермяжной.

Будочники носили форменную одежду, сшитую из грубой сермяжной ткани, и были вооружены секирами на длинном древке.

С.134. ...иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. — Будочник подбирал их на улице пьяными, отводил к себе проспаться и тем спасал от полицейского дозора.

С.135. Казалось в красненьком сафьянном переплете... — Образ, заимствованный из комедии Я.Б. Княжнина «Хвастун» (1786):

Лицо широкое его, как уложенье,
Одето в красненький сафьянный переплет;
Не верю я тому, но, кажется, он пьет...

(д. III, явл. 6).

С.135. ...разве гробовщик брат палачу? — В подтексте этого вопроса возможна полемика с французской литературой конца 1820-х гг., в которой, как писал Пушкин в январе 1830 г. по поводу анонсированных во Франции «Записок» парижского палача А.Сансона, «явилась толпа людей темных с позорными своими сказаниями», рассчитанными на то, чтобы насытить «жестокое наше любопытство» («О записках Самсона»). «Записки» оказались мнимыми мемуарами, подлинными авторами которых были писатели Оде Бальзак и Л.-Ф.Леритье.

С.135. ...разве гробовщик гаер святочный? — Гаер святочный — шут на святочных гуляниях. Возможно, Пушкин продолжает полемику с литературной традицией изображения могильщиков. В «Гамлете» оба могильщика названы шутами (clowns), поскольку эти роли предназначались комическим актерам, чьи шутки в духе народного юмора и сатиры, сочетаемые с эксцентрическими трюками, должны были веселить зрителей.

С.135. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попить... — Мотив приглашения покойника на ужин, вводимый здесь в пародийном переосмыслении, является частью легенды о Дон Жуане (Тирсо де Молина. «Севильский озорник, или Каменный гость», 1610; Мольер. «Дон Жуан, или Каменный гость», 1664; опера В.А.Моцарта «Наказанный распутник, или Дон Джованни», 1787; и др.) и в ином плане разрабатывался Пушкиным также болдинской осенью 1830 г. в трагедии «Каменный гость», законченной 4 ноября, почти двумя месяцами позже «Гробовщика».

С.135. У Вознесения... — Речь идет о церкви Большого Вознесения на М.Никитской ул., у Никитских ворот, новое здание которой было построено в 1798—1816 гг.; здесь 18 февраля 1831 г. Пушкин венчался с Н.Н. Гончаровой.

С.136. *Комната полна была мертвецами. <...> купцы в праздничных кафтан-нах.* — Ср. похожие сцены в романе В.Гюго «Последний день приговоренного к смерти» (1829), гл. XII и XLI (*Гюго В. Собр. соч.: В 15 т. М., 1953. Т.1. С.241, 281*).

С.136. *...Петра Петровича Курилкина...* — Фамилия покойника произведена от существительного «курилка», являющегося названием горящей лучинки, которую при возгласах «жив курилка» участники игры передавали друг другу, пока она не гасла; в переносном смысле курилка — лицо или предмет, которые должны были бы исчезнуть, прекратить существование, однако всё же держатся. Будучи первым покойником, которого похоронил Адриан Прохоров, Курилкин должен был бы находиться среди тех, «которые совсем развалились».

С.136. *С сим словом мертвец простер ему костяные объятия — но Адриан, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался.* — Бесславный и по-житейски прозаический конец Курилкина перекликается с последними строками эпиграммы Пушкина «Жив, жив Курилка!» (1825):

— Фу! надоел Курилка журналист!
Как загасить вонючую лучинку?
Как уморить Курилку моего?
Дай мне совет. — Да... плюнуть на него.

Вместе с тем эта сцена пародийна по отношению к литературной традиции легенды о Дон Жуане, согласно которой статуя командора увлекает Дон Жуана в преисподнюю.

С.138. *...сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.* — В одном из вариантов автографа трагедийный характер этой сцены подчеркивался цитатой из «Божественной комедии» Данте: «упал come corpo morto cadde» (пер.: как падает мертвое тело). В ином стилистическом ключе эта же строка фигурирует в «Полтаве» (песнь II, 382—383):

И дева падает на ложе,
Как хладный падает мертвец.

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ. «Станционный смотритель» продолжает поднятую в русской литературе «Бедной Лизой» Н.М.Карамзина тему обольщения девушки низкого состояния ветреником-дворянином. Сюжетные соответствия отмечены в повести «Лоретта» из сборника «Нравоучительные рассказы» (1761) французского писателя Жана Франсуа Мармонтеля (1723—1799). В числе литературных предшественников «Станционного смотрителя» — одноименный рассказ поэта и беллетриста Вильгельма Ивановича Карлгофа (1799—1841), напечатанный в журнале «Славянин» (1827. № 7).

С.138. *Эпиграф.* — Строки 4—5 из стихотворения П.А.Вяземского «Станция» (соч.1825, напеч. 1829), с намеренным изменением одного слова (у Вяземского: «губернский регистратор»). Станционные смотрители пользовались чином коллежского регистратора; чина губернский регистратор не существовало. Эпиграфом Пушкин начинает, по наблюдению Г.М. Фридлендера, диалог с Вяземским, противопоставляя его мнению о станционных смотрителях свой взгляд на их общественное положение. Диалог продолжает описание внутреннего помещения станции, являющее полемический контраст тому, какой видел Вяземский русскую почтовую станцию — избою, где из щелей лезет рать «тьму-таракани».

Тот уют и приветливость, которые Вяземский находил в Польше, Пушкин обнаруживает у Самсона Вырина, под Петербургом.

С.138. *...покойным подъячим...* — В 1720-е гг. подъячих заменили канцеляристы, подканцеляристы и копинисты.

С.138. *...муромским разбойником?* — Дремучие леса по реке Оке вокруг города Мурома были с древних времен обиталищем разбойничьих шаек, отличавшихся особой дерзостью и жестокостью.

С.138—139. *Суций мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином от побоев, и то не всегда...* — Правилами 1808 г. «путешествующим» строго запрещалось «чинить станционным смотрителям притеснения и оскорбления или почтарям побой» (п. 7). В романе Ф.В.Булгарина «Иван Иванович Выжигин» (1829) лихой гусар, поручик Миловидин, в ответ на предложение станционного смотрителя убедиться по записям в почтовой книге, что свободных лошадей нет, грозит ему «пересчитать ребра».

«— Вы напрасно изволите горячиться, — возразил последний, — извольте прочесть на стене почтовые постановления: вы увидите, что за оскорбление почтового смотрителя, пользующегося чином 14-го класса, положен штраф до ста рублей.

— А если тебе штрафу хочется, — сказал Миловидин, — то я заплачу втрое и так тебя употчую, что ты в другой раз, верно, не получишь штрафного вознаграждения, в этой жизни» (гл. 6).

С.139. *...платил прогоны за две лошади.* — Две лошади полагались «нижним чином и служителям».

С.140. *Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде.* — Эта фраза имеет автобиографическую подоплеку: в подобном положении Пушкин оказался в Тифлисе летом 1829 г. на обеде у генерала С.С.Стрекалова, о чем упомянул во второй главе «Путешествия в Арзрум» (см. с.217). Биограф Пушкина П.И. Бартенев писал, что в Кишиневе «за генеральскими обедами» у М.Ф. Орлова молодого поэта «слуги обносили <...> блюдами» (*Бартенев П.И. Пушкин в Южной России // Бартенев П.И. О Пушкине: Страницы жизни поэта; Воспоминания современников. М., 1992. С.164*). Эти сведения оспорил И.П.Липранди, но к его опровержению другой кишиневский знакомый Пушкина, В.П. Горчаков, сделал уклончивое замечание: «Это так, да не так» (*А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т.1. С.317*).

С.140. *...переписывать мою подорожную...* — На каждой станции подорожная записывалась в регистрационную книгу.

С.140. *Они изображали историю блудного сына.* — История Дуни разворачивается как современная житейская параллель евангельской притче о блудном сыне (Евангелие от Луки, гл. XV, ст. 11—32), но с перемещением внимания на отца и развязкою, которою переосмыслиется этот «вечный» сюжет и традиционно выводимый из него нравственный урок. Описание картинок Пушкин перенес в повесть из своего несколько более раннего наброска «< Записки молодого человека >» (заглавие редакторское), датируемого предположительно 1829—1830 гг.

С.140. *Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.* — Н.Н. Петрунина усматривает в трех медалях Вырина реминисценцию шестнадцатой строфы оды Державина «Вельможа» (изд. 1798):

А там — на лестничный восход
Прибрел на костылях согбенный
Бесстрашный, старый воин тот,
Тремя медальми украшенный.

С.141. *Самсон Вырин*. — Фамилия Вырин произведена, видимо, от названия почтовой станции Выра, в 69 верстах от Петербурга по Белорусско-Киевскому тракту. Через эту станцию Пушкин проезжал не менее 13 раз. В сохранившемся автографе имя зрителя «Самсон». В первом прижизненном издании было напечатано «Симеон», однако в списке погрешностей указывалось, что должно быть «Самсон». Тем не менее в прижизненном переиздании было повторено «Симеон».

С.144. *...ротмистр Минский...* — Фамилия гусара была подобрана Пушкиным уже тогда, когда он передавал П.А.Плетневу через Н.В. Гоголя для представления в цензуру рукопись «Повестей Белкина», в которой этот персонаж был еще обозначен *** (см. письмо к П.А.Плетневу от 15 августа 1831). Ранее эту фамилию носил персонаж наброска «Гости съезжались на дачу...» (1828), циничный, пресыщенный жизнью светский человек, который, установив дружеские отношения с героиней, замужней женщиной, став ее наперсником и давая ей советы о выборе любовника, предвидел свою с нею «связь безо всяких важных последствий, лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц, и хладнокровно обдумывал свою победу». А.А.Ахматова не видела в гусаре из «Станционного смотрителя» и персонаже наброска «одно и то же лицо, только потому, что у них одна и та же фамилия — *Минский*» (*Ахматова А.А. Две новые повести Пушкина // Ахматова А.А. О Пушкине: Статьи и заметки. 3-е изд., испр. и доп. М., 1989. С.201*). Эта же фамилия использована в повести М.П.Погодина «Русая коса» («Северные цветы» на 1827 г.).

С.145. *...остановился в Измайловском полку...* — Слобода (место расположения казарм) Измайловского полка находилась на окраине города, между рекой Фонтанкой и Обводным каналом (район Измайловского пр.)

С.145. *... в Демутовом трактире*. — Демутовым трактиром называлась, по имени первых владельцев, существовавшая с 1760-х гг. и пользовавшаяся в пушкинское время репутацией лучшей в Петербурге гостиница на левом берегу реки Мойки, недалеко от Невского пр. (ныне: Мойка, д. 40). В Демутовом трактире неоднократно останавливался сам Пушкин (1827—1830), многие его друзья и знакомые.

С.145. *Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь*. — Ср. в «Бедной Лизе» Н.М.Карамзина: «Он поблел — потом — отвечая ни слова на ее восклицания, взяв ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей...»

С.145. *...у Всех Скорбящих*. — Церковь Божией Матери Всех Скорбящих Радости (постр. 1817—1818) в Литейной части, на углу Воскресенской (позднее Шпалерной, в 1918—1992 — Воинова) ул. и Воскресенского пр. (с 1923 — пр. Чернышевского). Современный адрес: Шпалерная ул., д.35а. Эта деталь позволяет датировать события, о которых рассказывается в повести. В Петербурге смотритель был не ранее 1818 г., может быть — в 1819-м; следовательно, в эти же годы Дуня убежала с гусаром; в момент второй встречи с рассказчиком шел уже третий год, как Вырин жил без дочери, т.е. эта встреча состоялась в 1821—

1822 г. Это согласуется с заявлением рассказчика о том, что «прошло несколько лет» между первым (в мае 1816) и вторым приездом на станцию.

С.146. *Дуня, одетая со всюю роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле.* — Смелый для своего времени образ, восходящий к книге очерков О. де Бальзака «Физиология брака» (1828), воспринятой как неприличное сочинение (ср. пушкинский набросок «Мы проводили вечер на даче...», 1835). У Бальзака: «Я заметил красивую даму, сидящую на ручке кресла, словно наездница на английской лошади» («J'aperçus une jolie dame assise sur le bras d'un fauteuil, comme si elle eût monté un cheval anglais»).

С.146. *...метут улицу вместе с голью кабацкою.* — Речь идет о наказании, которому в пушкинское время подвергались задерживаемые полицейским обходом под командою квартального надзирателя после 10 часов вечера пьяные, женщины легкого поведения, ночные дебоширы и пр.

С.148. *...прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева.* — В стихотворении И.И.Дмитриева «Карикатура» (1791)

Бывший вахмистр
Шемшинского полку,
Отставку получивший
Через двадцать службы лет,

возвращается на родину и находит свой дом заколоченным, в полном запустении; его встречает лишь «холоп его усердный».

«Терентьич, где хозяйка?» —
Помещик спросил.
«Охти, охти, боярин! —
Ответствовал старик, —
Охти!» — и, скорчась, слезы
Утер своей полкой.

Терентьич рассказывает горестную историю жены вахмистра Груни, связавшейся с «недобрыми молодцами», арестованной и сгинувшей без вести:

Вот пятый год в исходе —
Охти нам! — как об ней
Ни слуха нет, ни духа,
Как канула на дно.

С этими словами Терентьича перекликаются заключительные фразы зрителя: «Вот уже третий год, <...> как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает». По наблюдению В.В. Виноградова, «сюжетно-смысловая атмосфера „Карикатуры“ наполнена соответствиями, символическими приближениями к семантике „Станционного смотрителя“» (Виноградов В.В. О стиле Пушкина // Литературное наследство. М., 1934. Т.16—18. С.149).

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА. Переодевание девушки-дворянки человеком низшего сословия (слугою, крестьянкою и др.) было сюжетным мотивом очень многих произведений европейской литературы. Прочтя «Барышню-крестьянку», близкий знакомый Пушкина, поэт, драматург, критик П.А. Катенин (1792—

1853) отметил ее сходство с комедией «Игра любви и случая» (1730) французского драматурга Пьера де Мариво (1688—1763). Другие сюжетные аналоги, сопоставлявшиеся с «Барышней-крестьянкой», — повесть В.И. Панаева «Отеческое наказание» (см. выше, с.413) и повесть г-жи Монтолье «Урок любви» (там же).

С.149. *Эпиграф*. — Цитата из второй книги (стих 451) поэмы И.Ф.Богдановича «Душенька» (1783).

С.149. *В одной из отдаленных наших губерний...* — Эту начальную полуфразу Пушкин записал в несколько ином виде («В одной из южных губерний наших») в так называемой «арзрумской» тетради предположительно еще в феврале — марте 1830 г. на одном листе с рисунком, состоящим из двух соединенных вместе и развернутых в противоположные стороны женских профилей, которые можно толковать как «двуликое» изображение барышни и крестьянки. Таким образом, замысел повести возник, видимо, в начале 1830 г.

С.149. *...вышел в отставку в начале 1797 года...* — Павел I, вступивший на престол после смерти Екатерины II (6 ноября 1796), преследовал сторонников матери, которые, в том числе гвардейские офицеры, выходили в связи с этим в отставку.

С.149. *...ничего не читал, кроме «Сенатских ведомостей»*. — Еженедельное периодическое издание «Санктпетербургские сенатские ведомости» (изд. с 1809), в котором печатались указы императора и резолюции на подаваемых ему документах, различные правительственные распоряжения и материалы. С 1822 г. издавались «Санктпетербургские сенатские объявления по казенным, правительственным и судебным делам», «Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на имения», «Санктпетербургские сенатские объявления о разрешениях на имения».

С.149. *...английский сад...* — Парк, в котором посадка деревьев и кустарников, планировка дорожек напоминают естественный лес.

С.149. *Но на чужой манер хлеб русский не родится...* — Строка из сатиры А.А.Шаховского «Мольер! Твой дар, ни с чем на свете не сравненный...» (соч. 1807, напеч. 1808):

Тот захозяйничал и в деревнях мудрит:
Из иностранных книг и с образца чужого
Без толку, без пути он сеет русский хлеб;
Да на чужой манер хлеб русский не родится.

Эта цитата напоминала о развернувшейся в начале века оживленной полемике относительно возможности и целесообразности применения в России новейших усовершенствований английского земледелия. На полемику откликнулись И.А.Крылов, будущий директор Публичной библиотеки (с 1811) и президент Академии художеств (с 1817) А.Н.Оленин, поэт и драматург Ф.Ф.Иванов, опальный в первые годы века, а в 1812 г., назначенный главнокомандующим Москвы граф Ф.В.Ростопчин и др. Позднее, в комедии «Пустодомы» (соч. 1817—1818, пост. 10 октября 1819, изд. 1820), которую Пушкин назвал «дурной» (письмо П.Б.Мансурову от 27 октября 1819), А.А.Шаховской, принявший сторону тех, кто оказал попыткам нововведений яростное идеологическое сопротивление, предупреждая об их губительности для коренных начал русской жизни, развернул цитированные выше строки в образ ничтожного, глупого прожектера

князя Радугина, ничего не смыслящего в реальном хозяйствовании, насаждающего в своем имении почерпнутые из иностранных книг и журналов новшества, обворовываемого потакающими его дури ловкими мошенниками и разорившего как себя самого, так и своих крестьян. Через цитируемый стих Шаховского «Пустодомы» входят в литературный фон «Барышни-крестьянки», а князь Радугин становится одним из литературных прототипов англомана Муромского. В конце 1820-х — 1830-х гг. продолжал оставаться злободневным и активно обсуждался в русской печати вопрос о применении в России английской техники и английского опыта ведения промышленности и сельского хозяйства (см.: *Ерофеев Н.А.* Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских, 1825 — 1853 гг. М., 1982. С.62, 119—125).

С.150. *Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты.* — Имеется в виду Ф.В.Булгарин, отвечавший в своей газете «Северная пчела» пасквилями и бранью на отрицательные отзывы в «Литературной газете» о его произведениях и деятельности как журналиста. Окончательный разрыв отношений между Пушкиным и Булгариным произошел в конце 1829 г., и в 1830 г. между ними началась ожесточенная полемика.

С.150. *...отпустив усы на всякий случай.* — См. выше, с.409, коммент. к с.123.

С.150—151. *...что за прелесть эти уездные барышни! <...> чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам.* — Эта мысль была наметана ранее в «Романе в письмах» (письмо 10); см. выше, с.292.

С.151. *...особенность характера, самобытность (individualite), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия.* — Жан-Поль — псевдоним немецкого писателя Иоганна Пауля Фридриха Рихтера (1763—1825). 31 августа 1830 г. знакомый Пушкина, директор училищ Костромской губернии Ю.Н.Бартенев подарил уезжавшему в Болдино поэту сборник на французском языке «Pensées de Jean-Paul, extraites de tous ses ouvrages» (Paris, 1829; пер.: Мысли Жан-Поля, извлеченные из всех его произведений), где Пушкин и прочел пересказываемую им мысль: «Уважайте индивидуальность в человеке: она является корнем всего положительного».

С.151. *...nota nostra manet, как пишет один старинный комментатор.* — Это выражение употребил также в своем дневнике В.К.Кюхельбекер (запись 9 мая 1832), так что, возможно, оно восходит к лицейским занятиям.

С.151. *Бетси* — уменьшительная форма от англ. Elisabeth.

С.151. *Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо.* — Придавая героине смуглость, Пушкин разрушал литературный штамп девичьей красоты. Ср., например, в повести Н.М.Карамзина «Наталья, боярская дочь»: «Пусть читатель вообразит себе белизну италийского мрамора и кавказского снега: он все еще не вообразит белизны лица ее — и, представя себе цвет зефировой любовницы, все еще не будет иметь совершенного понятия об алости щек Натальиных. <...> Лишь только первые лучи сего великолепного светила <солнца. — В.Р.> показывались из-за утреннего облака, изливая на тихую землю жидкое, неосязаемое золото, красавица наша пробуждалась, открывала черные глаза свои и, перекрестившись белою атласною, до нежного локтя обнаженною рукою, вставала, одевала на себя тонкое шелковое платье, камчатную телогрею и с распущенными темно-русскими волосами подходила к круглому окну высокого своего терема...»

С.151. *...мисс Жаксон...* — Английская фамилия Джексон (Jackson) передана по-французски. Мисс — незамужняя женщина.

С.151. ...*два раза в год перечитывала «Памелу»*... — Роман английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1689—1761) «Памела, или Награжденная добродетель». В письмах девушки-служанки из города в деревню к родителям рассказывается в мельчайших подробностях, момент за моментом, шаг за шагом, о домогательствах ее молодого хозяина, разворачивается картина психологической борьбы между ними и детально описываются переживания героини; одержав свою добродетелью и стойкостью нравственную победу над хозяином, вызвав поворот в его душе и выйдя за него замуж, она столь же подробно рисует свою семейную жизнь. Поразивший современников жизненным правдоподобием и тонким изображением движений души, этот роман со временем, на фоне развития литературы сентиментализма и романтизма, поблек, утратил свою свежесть и стал восприниматься как старомодное, пухлое сочинение, полное скучного, надоедливого морализирования. Так, в беловом автографе Онегин отзывался об Ольге следующими словами:

В чертах у Ольги мысли нет,
Как у Рафаеля в мадоне.
Поверь — невинность это вздор
А приторной Памелы взор
Мне надоел и в Ричардсоне
(гл. III, строфа V).

Ср. оценки Ричардсона в «Евгении Онегине» (II, 29—30; III, 9) и «Романе в письмах» (см. выше, с.284).

С.151. ...*нежели любая наперсница во французской трагедии*. — Наперсница — традиционный персонаж классицистской трагедии XVII—XVIII вв., приближенное к героине лицо, чья роль состоит главным образом в том, чтобы слушать излияния героини в ответ на свои вопросы.

С.152. ...*захарьевские, <...> хлупинские*... — Автобиографическая реминисценция. Захарово — подмосковное имение бабушки Пушкина М.А.Ганнибал, которое принадлежало ей в 1804—1811 гг. Здесь Пушкин проводил каждое лето в 1805—1811 гг. и сюда заезжал летом 1830 г., совершив это, по словам его матери, «сентиментальное путешествие» перед женитьбой, «единственно чтобы увидеть место, где он провел несколько лет своего детства» (письмо Н.О. Пушкиной к О.С. Павлицевой от 22 июля 1830; подлинник по-французски). В трех верстах к северу от Захарова находилось село Хлюпино. Эти же деревни называет в «Борисе Годунове» хозяйка корчмы, объясняя Григорию Отрепьеву дорогу к литовской границе: «...там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево...» (*Аринштейн Л.М.* Село Захарово в биографии и творчестве Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1991. Т.14. С.186).

С.152. ...*блан-манже синее, красное и полосатое*... — Настя не знает буквального значения употребляемого ею французского слова (*blanc-manger* — белое кушанье), что создает комический эффект.

С.154. ...*Sbogar*... — главный персонаж романа французского писателя Шарля Нодье (1780—1844) «Жан Сбогар» (1818), благородный разбойник, один из любимых героев молодых людей, надевавших, подобно Алексею Берестову, маску «мрачных и разочарованных». «Таинственный Сбогар» упомянут в «Евгении Онегине» (гл. III, строфа 12) среди кумиров Татьяны.

С.157. *Эти подробности, вообще, должны казаться приторными, так, я пропущу их...* — А.А.Ахматова соотнесла этот «отвод описания любовных бесед» с концовкой восемнадцатой главы романа английского писателя Эдуарда Джорджа Бульвера-Литтона «Пелэм, или Приключения джентльмена» (1828): «Когда мы хотим понравиться женщине, мы все действуем одинаково: поэтому я избавлю читателя от пересказа беседы, которую вел в тот вечер. Я уверен — если он припомнит, что роль влюбленного в ней играл Генри Пелэм, — он нимало не усомнится в успешном результате» (М., 1958. С.118). См.: *Ахматова А.А. Пестрые заметки // Ахматова А.А. О Пушкине: Статьи и заметки. 3-е изд., испр. и доп. М., 1989. С.249. Пушкин прочел «Пелэма» первоначально во французском переводе и получил от него сильное впечатление. По свидетельству А.П. Керн, он «очень любил Бульвера, цитировал некоторые фразы из «Пельгама» в то время, когда его читал» (А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т.1. С.438).*

С.158. *Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего...* — Встреча на охоте двух враждующих помещиков-соседей и вынужденное посещение одним из них другого имеют соответствие в девятой и четырнадцатой главах романа В.Скотта «Ламмермурская невеста» (1819).

С.160. *...как парик Людовика XIV...* — В царствование французского короля Людовика XIV (1638—1715, на троне с 1643) модными были высокие парики.

С.160. *Madame de Pompadour* — Жанна Антуанетта Пуассон (1721—1764), любовница (с 1745) французского короля Людовика XV (1710—1774, на троне с 1715) под именем маркизы де Помпадур, игравшая видную роль при дворе и оказывавшая большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику Франции.

С.162. *...по ланкастерской системе*. — Методика взаимного обучения, по которой более сильные ученики занимаются с отстающими; разработана английским педагогом Джозефом Ланкастером (1778—1838) и широко применялась в России в конце 1810-х — начале 1820-х гг. в школах для взрослых.

С.162. *...«Наталью, боярскую дочь»...* — см. выше, с.418, коммент. к с.151.

С.165. *...того уже, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь...* — Имеются в виду слова Скотинина из комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»: «У меня такой обычай, как что заберу в голову, то из нее гвоздем не выколотишь» (д. II, явл.3).

С.166. *Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.* — Ср. выше, коммент. к с.157.

ПИКОВАЯ ДАМА

«Библиотека для чтения». 1834. Т. 2. Кн. 3 (март).

Повесть написана в селе Болдине осенью (октябрь — ноябрь) 1833 г.

По свидетельству друга Пушкина, П.В. Нащокина, (в передаче П.И.Бартенева), писатель «рассказывал ему, что главная завязка повести не вымышленна. Старуха графиня — это Наталья Петровна Голицына, мать Дмитрия Владимировича, московского генерал-губернатора, действительно жившая в Париже в том роде, как описал Пушкин. Внук ее, Голицын, рассказывал Пушкину, что раз он проигрался и пришел к бабке просить денег. Денег она ему не дала, а сказала три карты, назначенные ей в Париже С.-Жерменем. «Попробуй», — сказала бабушка. Внучек поставил карты и отыгрался. Дальнейшее развитие повести всё вымышленно. Нащокин заметил Пушкину, что

графиня не похожа на Голицыну, но что в ней больше сходства с Натальей Кириловной Загряжскою, другою старухою. Пушкин согласился с этим замечанием и отвечал, что ему легче было изобразить Загряжскую, чем Голицыну, у которой характер и привычки были сложнее» (А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т.2. С.234).

7 апреля 1834 г. Пушкин записал в дневнике: «При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. <ягиней> Н. <атальей> П. <етровой> и, кажется, не сердятся...»

Н.П. Голицына (урожд. Чернышева, 1741—1837), фрейлина «при пяти императорах», известная в обществе под прозвищем *Princesse Moustache* (фр. — княгиня Усы), являла собою своеобразный исторический тип влиятельной старухи, законодательницы общественного мнения. Многие детали в повести указывают на нее как на прототип, и не случайно в прижизненных печатных текстах графиня трижды названа княгиней. Однако встреча ее с Сен-Жерменом в Париже при обстоятельствах, хотя бы отдаленно похожих на описанные в «Пиковой даме», не могла состояться, и, следовательно, рассказ, записанный П.И. Бартевым, вымышлен. Либо внук Н.П. Голицыной рассказывал одно из многочисленных ходивших среди игроков устных преданий о верно угаданных трех картах и выдал его за действительное происшествие, с ним самим случившееся, либо П.В. Нащокин смутно помнил содержание слышанного от Пушкина и дополнил его подробностями из «Пиковой дамы».

Внук Н.П.Голицыной — князь Сергей Григорьевич Голицын (1803—1868), петербургский знакомый Пушкина, с которым поэт часто встречался в 1828—начале 1830-х гг. Наталья Кирилловна Загряжская (1747—1837) — дальняя родственница Пушкина, чьими рассказами он, по свидетельству П.А.Вяземского, «заслушивался».

С.168. *Эпиграф*. — Собственные стихи Пушкина (с изменением непечатной строки), сочиненные, по свидетельству А.П.Керн, у кн. С.Г.Голицына «во время карточной игры, *мелом на рукаве*» (А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т.1. С.419). Сообщая их П.А.Вяземскому в письме от 1 сентября 1828 г., Пушкин предварил их словами: «...я продолжал образ жизни, воспетый мною таким образом».

С.168. ...у *конногвардейца Нарумова*. — Эта фамилия перешла в «Пиковую даму» из первого черногового наброска начала «Дубровского» (см. ниже, с.481, коммент. к с.308).

С.168. *Сурин*. — В сделанных Пушкиным копиях и выписках различных материалов о восстании Пугачева неоднократно упоминается капитан Петр Иванович Сурин (1739—1773), который с ротой солдат и сотней казаков вышел из Нижне-Озерной крепости навстречу Пугачеву, был разбит, взят в плен и повешен 25 сентября. В крепости Пушкин слышал песню о Сурине и отрывок ее записал в дорожную книжку; о смерти Сурина он упомянул во второй главе «Истории Пугачева», процитировав в примечании к ней четыре строки песни. Поскольку над «Историей Пугачева» Пушкин работал тогда же, когда и над «Пиковой дамой» (в Болдине в октябре 1833), то вполне вероятно, что неудачливый игрок в повести носит фамилию реального исторического лица, которое во всех иных отношениях не является его прототипом.

С.168. *Германн*. — Фамилия главного персонажа заимствована, по-видимому, из повести французского писателя Оноре де Бальзака «Красная гостиница»

(1831), где говорилось: «Звали его Германн, как почти всех немцев, которых сочинители выводят в книгах».

С.168. ...указывая на молодого инженера... — В 1820—1830-е гг. все русские инженеры причислялись к составу войск, имели военные чины, носили военную форму, участвовали в парадах, так что Германн находится в своей среде.

С.170. ...лет шестьдесят тому назад... — Этим указанием пребывание графини в Париже приурочивается к 1770-м гг. Н.П.Голицына была в Париже в 1761 г., еще до замужества, с отцом, русским послом во Франции; затем в 1786—1790 гг. с мужем и детьми.

С.170. ...la Venus moscovite... — Венерой, но «разгневанной» (Venus en courroux), парижане прозвали старшую дочь Н.П. Голицыной — Екатерину Владимировну (позднее в замужестве Апраксину).

С.170. ...Ришелье за нею волочился... — Речь идет об известном волоките и остроумце своего времени, придворном Людовика XV, герцоге Ришелье (Луи-Франсуа-Армане Дюплесси, 1696—1788), упоминаемом также в «Арапе Петра Великого» (см. с.255).

С.170. ...герцогу Орлеанскому... — Пушкин упоминает здесь герцога Орлеанского, видимо, как обобщенный образ, символ распущенных придворных нравов предреволюционных лет, безотносительно реального облика здравствовавшего в годы пребывания графини в Париже исторического лица — Луи-Филиппа герцога Орлеанского (1725—1785), мецената и филантропа. Очевидно, Пушкин думал о его деде, Филиппе герцоге Орлеанском (1674—1723), регенте Франции (с 1715) до совершеннолетия Людовика XV (15 февраля 1723), человеке безнравственном, прославившемся своими кутежами и развлечениями.

С.170. ...о графе Сен-Жермене... — Граф Сен-Жермен (конец XVII в. — около 1780 или 1795) — знаменитый авантюрист, человек неясного происхождения, появившийся в Париже в 1750 г. владельцем огромного состояния и привлекший внимание распространяющимися им самим слухами о своем долголетии, рассказами о людях и событиях многовековой давности, очевидцем которых он якобы был, достижениями в алхимии и разными «чудесами». Замешанный в придворных интригах, он покинул Францию в 1760 г. и скитался по Европе (в том числе был в России).

С.170. ...за Вечною Жидою... — Вечным жидом называется персонаж возникшей в средние века легенды о еврее-сапожнике Агасфере, не позволившем отдохнуть около его дома Христу на пути к Голгофе и осужденном за это на скитания до второго пришествия.

С.170. ...за изобретателя жизненного эликсира и философского камня... — Философским камнем называлось искомое алхимиками вещество, способное превращать неблагородные металлы в золото; раствор философского камня, принимаемый внутрь малыми дозами, должен был исцелять болезни, продлять жизнь, возвращать молодость и за эти свойства назывался жизненным эликсиром.

С.170. ...а Казанова в своих Записках говорит, что он был шпион... — В приобретенном Пушкиным в 1833 г. и тогда же прочитанном брюссельском (того же года) десятитомном издании «Мемуаров» знаменитого итальянского авантюриста Джованни Джакомо Казановы (1725—1798) говорилось: «Герцог Шуазель сделал вид, что Сен-Жермен лишился его доверия во Франции, для того чтобы он в качестве шпиона служил ему в Лондоне» (подлинник по-француз-

ски, пер. М.М. Штерн). Это утверждение могло быть вызвано сохранявшимся в душе мемуариста чувством вражды к своему давнему сопернику. Там же Казанова писал, что весной 1761 г. столкнулся в Булонском лесу с графом, который, заметив его, тотчас скрылся. Если верить этому свидетельству, то Сен-Жермен и двадцатилетняя незамужняя Н.П. Чернышева могли находиться в Париже одновременно, однако, поскольку граф избегал быть увиденным, их встреча в обществе и тем более сколько-нибудь продолжительное знакомство не могли состояться. К тому же девушка вряд ли могла бы принимать участие в азартных играх. В начале 1830-х гг. «Мемуары» Казановы были жадно читавшейся новинкой.

С.172. ...*порошковые карты?* — Шулерские карты, на которые особым, легко стираемым порошком наносилось одно или несколько лишних очков или замазывались имеющиеся. Стерев незаметным движением порошок, игрок менял достоинство карты на ему нужное.

С.172. *Зорич* Семен Гаврилович (1745—1799) — один из фаворитов Екатерины II, страстный игрок. Местечко Шклов Могилевской губернии, пожалованное ему императрицей в 1778 г. при его удалении от двора, приобрело европейскую известность как своего рода международный центр азартной карточной игры.

С.173. *Эпиграф*. — Происхождение этого эпиграфа объясняет письмо Пушкину Д.В. Давыдова от 4 апреля 1834 г.: «Помилуй! что за дьявольская память! — Бог знает когда-то на лету я рассказал тебе ответ мой М.А.Нарышкиной насчет *les suivantes qui sont plus fraîches*, а ты слово в слово поставил это эпиграфом в одном из отделений „Пиковой дамы“. Ранее эту остроуту Давыдова Пушкин использовал в черновой рукописи «Романа в письмах» (1829).

С.173. ...*княгиня Дарья Петровна?*.. — Так звали сестру Н.П. Голицыной (в замужестве Салтыкову). Известен был анекдот о том, как Екатерина II вручила на вечернем собрании в Эрмитаже обеим сестрам конверты, приказав вскрыть их утром; в конвертах оказались вензели — знаки пожалования в фрейлины — для их старших дочерей, Е.В.Голицыной (позднее в замужестве Апраксиной) и П.И.Салтыковой.

С.174. *Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием*. — П.А.Вяземский писал в 1833 г. А.И.Тургеневу: «Князь Димитрий Владимирович <Голицын. — В.Р.> в трауре по кончине тещи, а старуха Вольдемар <Н.П.Голицына. — В.Р.> и в ус не дует» (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т.3. С.222—223).

С.174. ...*где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел*. — Речь идет о произведениях так называемой «неистовой» литературы во Франции конца 1820-х — начала 1830-х гг. (Ж. Жанен, В. Гюго и др.), которую в статье «Мнение М.Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной» (1836) Пушкин назвал «словесностью гальванической, каторжной, пуншевой, кровавой, цыгарочной и пр.», приведя также определения Гете («словесность отчаяния») и английского поэта Р. Саути («словесность сатаническая»). В повести Оноре де Бальзака «Палач» (1830) герой под угрозой истребления всего рода совершает казнь своих родителей, обвиненных в измене. В романе Ж.Жанена «Мертвый осел и гильотинированная женщина» (1829) глава «Выставка мертвых тел» содержит подробное описание утопленника.

С.175. *Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца...* — Цитата из «Божественной комедии» Данте Алигьери:

Ты будешь знать, как горестен устам
 Чужой ломоть, как трудно на чужбине
 Сходить и восходить по ступеням
 («Рай», песнь XVII, ст.58—60; пер. М.М. Лозинского).

Парафраза этих строк входила в один из набросков (1824) поэмы «Цыганы», не включенный в печатный текст:

[Не испытает] м <альчик> мой
 Сколь <пропуск> [жестоки пени]
 Сколь черств и горек хлеб чужой —
 Сколь тяжко <медленной> [ногой]
 Входить на чуждые ступени.

Среди вариантов этого наброска был очень близкий к комментируемой фразе из «Пиковой дамы»:

Сколь горек хлеб чужой
 Сколь тяжки чуждые ступени.

С.175. ...кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? — Эту тему Пушкин ранее (1829) поднял в «Романе в письмах» (см. с.282).

С.176. ...сальная свеча... — Реалия быта ушедших в прошлое эпох (см. выше, с.401, коммент. к с.71).

С.178. ...вот что утроит, усмерит мой капитал... — Своими «тремя верными картами» Германн рассчитывает выиграть сначала удвоенную, затем учетверенную и наконец уосьмеренную первоначальную ставку. Учетверенная ставка содержала бы его начальный капитал плюс три чистых выигрыша, уосьмеренная — плюс семь. Это развитие игры отражено в расчетах, сделанных Пушкиным исходя из разной величины капитала Германна:

40	60	47		[67]
80	120	47		[67]
160	240	94	1 <день>	[134]
280	420	94		[134]
		188	2 <день>	[268]
		188		[536]
		376		

Два последних расчета были сделаны в конце 1836 г.

С.178. *Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры.* — Дом Н.П.Голицыной находился на левой стороне Малой Морской ул. на углу Гороховой ул. (современный адрес: Малая Морская ул., д.10/10).

С.179. *Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire.* — Ранее эту фразу Пушкин поставил эпиграфом ко второй главе прозаического наброска из светской жизни «На углу маленькой площади...» (1830 или 1831). Ср. в письме Пушкина жене от 12 сентября 1833: «...ты пишешь мне четыре страницы кругом».

С.180. *...вошел в кондитерскую лавку.* — Согласно адресному справочнику 1822 г., на противоположной от дома Н.П.Голицыной стороне Гороховой улицы,

наискось (по современному адресу Гороховая ул., д.11), находилась кондитерская лавка Лофгагена.

С.180. ...из модной лавки. — По сведениям адресной книги 1837 г., напротив дома Н.П.Голицыной по Гороховой ул. (ныне д.9) находился модный магазин француза Валлота.

С.181. *Изредка тянулся Ванька...* — Ванькой назывался легковой извозчик на плохой лошади с бедной упряжью (обычно крестьянин, приехавший в город на заработки).

С.184. ...около стен, обитых китайскими обоями. — Обои во вкусе конца XVIII в., когда в моде была «китайщина», говорят о безнадежно устарелом, в восприятии человека 1830-х гг., убранстве дома графини.

С.184. ...*т-те Lebrun*. — Модная в XVIII в. французская художница-портретистка Мари-Анн-Элизабет Лебрэн (урожд. Виже, 1755—1842). Она написала портрет дочери Н.П. Голицыной, но будучи в изгнании в Петербурге (1797); портреты В.Б. Голицына (1762, Париж) и Н.П. Голицыной (1777, Петербург) были исполнены художником Александром Рослином, шведом по национальности.

С.184. *Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездой...* — На портрете изображен генерал, между тем как В.Б. Голицын не поднялся выше бригадирского чина. Возможно, Пушкин думал о портрете С.С. Апраксина, зятя Н.П. Голицыной.

С.184. ...*столовые часы работы славного Leroу...* — Неясно, кого из двух знаменитых французских часовщиков XVIII в. имел в виду Пушкин: Жюльена Леруа-отца (1686—1759), придворного часовщика Людовика XV, или его сына, Пьера Леруа (1717—1785), который кроме изобретений в часовом деле был известен классическими сочинениями по механике и хронометрии, написанными на основе изучения открытых им аномальностей хронометрических изменений.

С.184. *Рулетка* (франц. roulette — колесико) — модная в конце XVIII в. игрушка, состоявшая из небольшого кружка из дерева или слоновой кости,двигающегося по желанию державшего его человека вверх и вниз по шнуру. По свидетельству «Дамского журнала» (1829. № 41. С.26), «было время, когда рулетки вместе с собою кружили все головы: дома, в гостях, в спектаклях, на вечерах, на гульбищах, пешком и верхом, у мужчин и дам всеминутно выпрыгивали из рук рулетки, которые осыпались жемчугом, яхонтами, бриллиантами и проч., и проч.».

С.184. ...*с Монгольфьевовым шаром...* — Речь идет об изобретенном братьями Этьеном (1745—1799) и Жозефом (1740—1810) Монгольфье и впервые ими запущенном в 1782 г. воздушном шаре (азростате), наполнявшемся горячим воздухом.

С.184. ...и *Месмеровым магнетизмом*. — С конца 1770-х гг. приобрели широкую известность и вошли в моду сначала в Париже, затем по всей Европе опыты лечения «животным магнетизмом» немецкого врача Фридриха Антона Месмера (1733—1815), выдвинувшего для их обоснования теорию, согласно которой человек, овладевший действующей на него магнитной силой планет, способен излучать ее на других людей, излечивая их болезни. В действительности, это были сеансы гипнотического внушения.

С.184. *Вольтеровы кресла* — глубокое кресло с высокой спинкой.

С.184. *Желтое платье, шитое серебром...* — См. выше, с.406, коммент. к с.94.

С.185. ...по действию скрытого гальванизма. — Гальванизмом первоначально называлось некое «животное электричество», особая «жизненная сила нервов», которой итальянский врач Луиджи (Алонзий) Гальвани (1737—1798) объяснил открытые им явления сокращения мышц мертвой лягушки и т.п., вызываемые действием электричества. Однако, по наблюдениям М.П.Алексеева, «в 30-е годы слова „гальванизм“ и „гальванический“ были у нас не столько модными, сколько просто общепотребительными, обозначая уже не какую-то таинственную „жизненную силу нервов“, а попросту электрический ток» (Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени // Алексеев М.П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984. С.111—112).

С.185. *Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо.* — В сцене Германна и графини имеются соответствия, в том числе и текстуальные, с гл. XII повести В.Гюго «Последний день приговоренного к смерти» (1829), где осужденному снится, будто он с друзьями допытываются у неведомо откуда взявшейся безобразной старухи, кто она и что у них делает (Гюго В. Собр. соч.: В 15 т. М., 1953. Т.1. С.281—283).

С.185. *Вы можете, — продолжал Германн, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить...* — В гл. XXXII повести В.Гюго «Последний день приговоренного к смерти» жандарм, безуспешно играющий в лотерею, просит осужденного, за которым приставлен смотреть, явиться к нему после смерти и назвать «три номера, самых верных», так как, по поверью, «покойники, которых таким образом отправляют на тот свет, заранее знают, какой номер выйдет в лотерею». При этом он говорит: «Скажем, вы можете принести счастье бедному человеку, и это вам ничего не будет стоить, неужели вы этого не сделаете?» (там же, с. 273, с уточнением перевода).

С.186. *...я готов взять грех ваш на свою душу.* — По существовавшему представлению, человек, продавший душу дьяволу, освобождался от договора, если условия последнего принимал на себя кто-либо другой.

С.186. *Эпиграф.* — По предположению Д.П. Якубовича, этот эпиграф, как и предыдущий (к гл.3), «вероятнее всего автобиографичен» (Пушкин А.С. Пиковая дама/ Ред. текста, статья и коммент. Д.П. Якубовича. Л., 1936. С.64).

С.188. *...у него профиль Наполеона...* — Сходство Германна с Наполеоном подразумевало для читателей пушкинского времени перенесение на героя повести общераспространенного представления о французском императоре как «злодее». Наполеон выступает здесь «символом эры индивидуализма с ее аморализмом, самоутверждением, морями крови» (Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С.349). В дальнейшем развитии сюжета выступает и другой взгляд на Наполеона, в котором видели «сына счастья», полагавшегося на волю случая. Однако Германн, следуя «бонапартистскому» типу поведения, старается, вопреки ему, все предвидеть и рассчитать.

С.188. *Мефистофель* — в широко распространенной средневековой легенде, злой дух, дьявол, с которым человек заключает союз; здесь имеется в виду как персонаж трагедии Гете «Фауст».

С.188. *...oubli ou regret?*— Дамы заранее уславливались о распределении между ними слов, и кавалер должен был танцевать с той из них, которой принадлежало им выбранное.

С.188—189. *...благодаря новейшим романам, это, уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение.* — Видимо, здесь старая традиция, «британской музыки

небылицы», тревожившие сон Татьяны и перечисленные в строфе 12 третьей главы «Евгения Онегина» (откуда и «пошрое», т.е. ставшее привычным, лицо), сходится с «неистойвой» литературой.

С.191. *Эпиграф.* — Существовал анекдот о посещении шведского философа-мистика и духовидца Эммануэля Сведенборга (1688—1772) его теткой Бритой Бем через три дня после смерти; она поведала ему, что сквозь закрытые веки наблюдала собственные похороны. Печатный источник этого рассказа не известен; предполагается, что Пушкин мог слышать об этом случае, например, от кого-то из своих родственников, которые, по семейным преданиям, неоднократно видели близких им покойных людей и проявляли немалый интерес к сочинениям Сведенборга. Брита Бем не была баронессой, но самого Сведенборга часто называли в европейской литературе бароном.

С.192. *...в ожидании жениха полуночного.* — Аллегория, заимствованная из притчи о девах мудрых и неразумных, ожидавших ночью прихода жениха (Евангелие от Матфея, гл. XXV, ст. 1—13).

С.192—193. *В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко <...> чтобы женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...* — Эпизод явления к Германну мертвой графини для объявления трех выигрышных карт переключается с гл. XXXII повести В.Гюго «Последний день приговоренного к смерти» (см. выше, с.426, коммент. к с.185).

С.193. *Эпиграф.* — Русифицированное (переносом ударения с последнего слога на предпоследний) произношение французской повелительной формы attendez — подождите. На жаргоне карточных игроков означало предложение не делать ставки. Эпиграф воспроизводит ходячий, видимо, анекдот о военном, который не мог допустить, чтобы подчиненный обращался к нему с повелительным «атанде!» П.А.Вяземский связывал этот анекдот с генерал-фельдмаршалом И.В.Гудовичем (1741—1820), отказавшимся, по его собственным рассказам, от игры с сослуживцами, когда был произведен в полковники.

С.193. *Две неподвижные идеи...* — Буквальный перевод французского выражения *idée fixe* — навязчивая мысль.

С.194. *На столе стояло более тридцати карт.* — В фараоне могло понтировать неограниченное число игроков, каждый из которых делал ставку на одну из 52 карт.

С.195. *Каждый распечатал колоду карт.* — В игорных домах было принято правило, согласно которому если семпелем игралась очень крупная сумма, то брались свежие колоды, предварительно стасованные на фабрике и запечатанные государственной бандеролью. Одну колоду метал банкومت, из другой понтёр вынимал карту, на которую делал ставку, и клал ее на стол крапом вверх, т.е. не открывая. Когда у банкомета ложилась на ту или иную сторону карта, аналогичная выбранной понтёром, тот открывал свою, и ставка считалась разыгранной.

С.195. *...как мог он обдернуться.* — Обдернуться — вынуть из колоды и положить на стол не ту карту. Предложено, например, следующее объяснение ошибки Германа: «„Каждый распечатал колоду карт“, — пишет Пушкин. Но в таких колодах краска, естественно, была еще свежей и карты слегка липли одна к другой. Германин, заметив нужного ему туза, потянул его, но не почувствовал пальцами, что за этой картой идет другая — пиковая дама, которую он и вытянул вместо туза. Эту ошибку он, конечно, мог немедленно исправить, если бы сохранил хладнокровие и проверил, какую карту он достал из колоды. Но

увлеченный игрой и страстно желая осуществить, наконец, свои мечтания, Германн этого не сделал и положил карту на стол, не убедившись в правильности своего выбора» (*Чхидзе Л.В.* О реальном значении мотива трех карт в «Пиковой даме» // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т.3. С.459).

С.196. ...*Германн сошел с ума.* — Тема безумия характерна для второй «болдинской осени» Пушкина: кроме «Пиковой дамы», она развивается в «Медном всаднике» (соч. октябрь 1833) и стихотворении «Не дай мне бог сойти с ума...» (соч. предположительно октябрь — ноябрь 1833).

С.196. ...*в Обуховской больнице...* — Обуховская больница (открыта в 1779, название по фамилии строившего ее подрядчика Обухова), куда, по свидетельству современников, «помещалось множество страждущих разными недугами людей бедного состояния», слыла в Петербурге «обителью скорби» и была печально известна своей антисанитарией. Находилась на левом берегу р.Фонтанки (современный адрес — д. 106), между ныне засыпанным Введенским каналом (на его месте проходит ул. Введенского канала) и Царскосельским проспектом (параллельные названия: Московский тракт, Московская дорога; ныне Московский проспект).

КИРДЖАЛИ

«Библиотека для чтения». 1834. Т.7. Кн.12 (декабрь).

Тема восстания Александра Ипсиланти (см.выше, с.408—409, коммент. к с.120) и Кирджали возникла в творчестве Пушкина еще на юге под свежими впечатлениями от событий. В конце 1821 — первой половине 1822 г. у него сложился замысел поэмы о гетеристах, от которого остался план и черновой набросок нескольких строк. Предположительно в феврале — мае 1823 г. было написано неоконченное стихотворение «Кирджали», и в том же году, вероятно, был написан план, из которого через несколько лет выросла повесть. 26 декабря 1830 г. Пушкин писал своему кишиневскому знакомому Н.С.Алексееву: «Пребывание мое в Бессарабии не оставило никаких следов ни поэтических, ни прозаических. Дай срок — надеюсь, что когда-нибудь ты увидишь, что ничто мною не забыто». Написана повесть предположительно в октябре — ноябре 1834 г. Номер журнала вышел в свет 1 декабря 1834 г.

С.198. *Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец. Настоящего его имени я не знаю.* — Кирджали — прозвище разбойников, образованное от названия области Кырджали в Адрианопольском вилайете Турции, которое в свою очередь произошло от имени турецкого военного вождя Кырджа Али (XIV в. ?). Пестрые по этническому составу шайки кирджали бесчинствовали на Балканах, особенно в Болгарии, в конце XVIII — начале XIX в.; после 1807 г. кирджалийское движение пошло на спад, но еще долго давало о себе знать. Ударение должно ставиться на первый слог (*Гордлевский В.А.* Кто такой Кирджали? // А.С. Пушкин, 1799 — 1949: Материалы юбилейных торжеств. М.; Л., 1951. С.266); однако Пушкин произносил, по всей видимости, Кирджали или Кирджали́, как можно заключить из того обстоятельства, что стихотворение «Чиновник и поэт» написано четырехстопным ямбом и слово «Кирджали» предполагалось последним в строке. Настоящее имя лица, о котором идет речь в повести, — Георг.

С.198. *Арнаут* — турецкое название албанца; Пушкин употреблял это слово, кажется, в несколько ином значении (ср. далее в повести: «700 человек арнаутов, албанцев, греков, болгар»), близком, возможно, к следующему: «В начале XIX века

большую часть болгарские гайдуки и кирджалии по их костюму назывались албанцами или арнаутами» (*Языцкий В. Кто был Кирджали, герой повести Пушкина // Голос минувшего. 1919. № 1—4. С.50*).

С.198. *Когда Александр Ипсиланти обнаружил возмущение и начал набирать себе войско...* — См. выше, с.408—409, коммент. к с.120.

С.198. *После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться и сам заступил его место.* — В сражении при монастыре Дрэгэшани (Драгошаны) в Валахии, близ австрийской границы, 7(19) июня 1821 г. погиб почти весь «Священный батальон» восставших, состоявший преимущественно из одесских юношей-греков. Армия А.Ипсиланти начала распадаться, и 15(27) июня он с близкими людьми ушел в Австрию, где был арестован и заточен в крепость. Борьбу продолжал с небольшим отрядом Георгиос Олимпиос (Георгаки Олимпия), называемый в повести Иордаки Олимбиоти.

С.198. *Эти трусы и негодяи, большую часть, погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута...* — Преследуемый турецкими войсками, Георгиос Олимпиос с остатками отряда заперся в монастыре Секу (Молдавия). Осажденные долго отражали атаки турок, но австрийский вице-консул убедил их сложить оружие, гарантировав им личную безопасность. Однако все сдавшиеся были убиты турками, Георгиос Олимпиос сгорел в монастыре 23 октября (4 ноября) 1821 г. У Пушкина были несколько иные сведения о трагической гибели повстанцев. В «Заметке о революции Ипсиланти» (1821) он писал: «Иордаки, во главе 800 человек, 5 раз сражался с турецкой армией и наконец заперся в монастыре (Секу). Преданный евреями, окруженный турками, он поджег свой пороховой склад и взорвался» (подлинник по-французски).

С.198. *...на берегах Прута...* — в сражении под Скулянами в Бессарабии, на реке Прут 16—17 июня 1821 г.

С.198. *Кантакузин Георгий Матвеевич (ум. 1857), князь — одесский знакомый Пушкина, участник Отечественной войны 1812 г., один из вождей этерии, назначенный А.Ипсиланти командующим всеми силами повстанцев в Молдавии.* До начала сражения под Скулянами малодушно оставил свою армию и скрылся в Скулянском карантине, установленном на границе с турецкой Молдавией в связи с частыми эпидемиями чумы в Турции.

С.199. *Яссы* — столица Молдавии, резиденция молдавского князя (господаря).

С.199. *Начальник карантина...* — Степан Гаврилович Навроцкий, состоявший в службе с 1767 г., в 1821 г. — окружной начальник Бессарабской карантинной линии.

С.199. *Майор <...> назывался Хорчевский.* — Правильно: Карчевский (Корчевский).

С.199. *...некрасовцы сражались в их рядах.* — Некрасовцы — казаки-старообрядцы, потомки донских казаков, принимавших под предводительством атамана Игната Некрасова (Некрасы) участие в восстании Кондратия Булавина (1707—1708) и ушедших после разгрома сначала на Кубань, затем (1740) в Турцию.

С.200. *Человек с умом и сердцем, в то время неизвестный молодой чиновник, ныне занимающий важное место...* — Михаил Иванович Лекс (1793—1856), знакомый Пушкина по Кишиневу (март — декабрь 1821) и Одессе (август 1823

— июль 1824), назначенный в 1832 г. директором канцелярии Министерства внутренних дел, встречался с Пушкиным в Петербурге, в частности — Пушкин был у него на балу 4 декабря 1834 г.

C.200. ...в 1821 году... — Ошибка Пушкина: Кирджали был выдан туркам в 1823 г.

C.201. *Килия* — город в Бессарабии на Килийском рукаве Дуная в 47 километрах от Черного моря.

C.201. ...и рассказал мне следующее... — Еще И.П. Липранди поставил под сомнение достоверность рассказа М.И. Лекса, указав, что у этого общего их с Пушкиным знакомого «был запас анекдотов, которые он обыкновенно импровизировал, путая имена и места и представляя события, как повертывались на языке. Надо полагать, что М.И. Лекс слышал о событии при отыскании клада, но забыл, с кем именно это случилось, если только могло случиться, и приписал Кирджали» (*Липранди И.П. Из дневника и воспоминаний // Русский архив. 1866. № 10. С.1393, 1395*). Весь рассказ имеет явное фольклорное происхождение; некоторые фольклорные мотивы и детали присутствуют и в той части повести, в которой Пушкин опирается на лично им собранные сведения (смерть Никола Кантагони; ужин с семью товарищами, ср.: семь турок, стерегущих Кирджали). Личность Кирджали и особенно его побег очень рано стали обрастать легендарными подробностями, уходящими корнями в местный фольклор.

C.202. *Кирджали ныне разбойничает около Ясс*. — Сведения Пушкина были неточными: Кирджали был повешен в Яссах 24 сентября 1824 г.

C.202. *Недавно писал он господарю, требуя от него пяти тысяч левов и грозясь, в случае неисправности в платеже, зажечь Яссы...* — Эти события произошли летом 1823 г. После побега Кирджали со своим отрядом подошел к Яссам и грозил сжечь столицу, если не получит известной суммы денег.

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ

«Современник». 1836. Т.1.

Пушкин думал о поездке на Кавказ еще в 1827 г., о чем писал брату Льву Сергеевичу «в Азию» 18 мая: «Из Петербурга поеду или в чужие края, т.е. в Европу, или восвоюси, т.е. во Псков, но вероятнее в Грузию...» В апреле 1828 г. он и П.А.Вяземский подали Николаю I прошение об определении в действующую армию, но получили отказ. Весною 1829 г. Пушкин решил ехать на Кавказ и побывать в армии без официального на то разрешения, объяснив по возвращении свои действия желанием повидаться с братом, служившим в Нижегородском драгунском полку (письмо А.Х.Бенкендорфу от 10 ноября 1829). За ним было установлено секретное наблюдение. В поездке Пушкин вел дневник, сначала подробный, далее — отрывочный. По возвращении он напечатал в «Литературной газете» (1830. № 8. 5 февраля) очерк «Военная грузинская дорога», вошедший затем в «Путешествие». Путевой дневник Пушкин обработал и пополнил в 1835 г., предполагая издать «Путешествие» отдельной книгой.

В комментариях чины и должности упоминаемых в «Путешествии» лиц приводятся по состоянию на время пребывания на Кавказе Пушкина.

C.203. *Из поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об А.С. Хомякове и об А.Н. Муравьеве*. — Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) участвовал в походе как боевой офицер и проявил незаурядное мужество. Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874) был дипломатическим чиновником при штабе

командующего европейским (балканским) фронтом генерал-фельдмаршала графа Ивана Ивановича Дибича (1785—1831); в декабре 1829 г. он отправился в паломничество в Палестину и Египет, о котором рассказал по возвращении в книге «Путешествие по святым местам в 1830 году» (СПб., 1832). Пушкин не упомянул (возможно, из цензурных соображений) о поэте Викторе Григорьевиче Теплякове (1804—1842), в то время политическом ссыльном, командированном на Балканы с археологическими целями и следовавшем непосредственно за боевыми частями.

С.203. *Среди начальников, командовавших ею (армией князя Паскевича), выделялись...* — Перечислены следующие военачальники: командир Отдельного Кавказского корпуса генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич (1782—1856), граф Эриванский (с 1831 — светлейший князь Варшавский); командир резервной Гренадерской бригады генерал-майор Николай Николаевич Муравьев (1794—1866); генерал-майор Александр Григорьевич Чичевадзе (1786—1856); князь Давид Осипович Бебутов (1793—1867); генерал-лейтенант Яков Алексеевич Потемкин (1778—1831); давний друг Пушкина командир Нижегородского драгунского полка генерал-майор Николай Николаевич Раевский-младший (1801—1843).

С.204. *...нежели брань русских журналов.* — Имеется в виду отзыв Ф.В.Булгарина в «Северной пчеле» (1830. 22 марта) на очерк Пушкина «Военная Грузинская дорога»: «Итак, надежды наши исчезли. Мы думали, что автор „Руслана и Людмилы“ устремился на Кавказ, чтоб напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов, — и мы ошиблись».

С.204. *Осман-паша* — начальник турецкой конницы.

С.204. *Фонтанье* Виктор (Fontanier, 1796—1857) — французский дипломатический агент.

С.204. *...Из Москвы поехал я...* — Пушкин выехал из Москвы 1 мая 1829 г., получив неопределенный ответ на свое сватовство к Н.Н.Гончаровой.

С.204. *...зато увидел ***.* — В рукописи далее следует рассказ о посещении генерала Алексея Петровича Ермолова (1777—1861), жившего в то время в Орле. В данном издании этот фрагмент, не вошедший в печатный текст «Путешествия», включен в так называемый «Кавказский дневник» (см. т.5). При первой публикации «Путешествия» многие имена и фамилии, а также некоторые названия были заменены звездочками; в соответствии с издательской традицией они восстановлены по рукописи.

С.205. *...достойной грязи одесской.* — Ср. в «Отрывках из Путешествия Онегина»:

В году недель пять-шесть Одесса,
По воле бурного Зевеса,
Потоплена, запружена,
В густой грязи погружена.
Все дома на аршин загрязнут,
Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает вброд;
Кареты, люди тонут, вязнут,

И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет хилого коня.

С.205. ...*графа Пушкина*... — Капитан Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин (1798—1854), декабрист, член Северного общества, переведенный в феврале 1829 г. в Тифлисский пехотный полк, направлялся к месту службы. Пушкин был с ним знаком еще до южной ссылки. В.А. Мусин-Пушкин ехал со своим шурином, подпоручиком Тифлисского пехотного полка, бароном Эмилием Карловичем Шернвалем фон Валленом (1806—1890).

С.205. *Кобылиц неукротимых / Гордо бродят табуны*. — Цитата из думы К.Ф.Рылеева «Петр Великий в Острогожске» (1823). В «Современнике» она была выпущена.

С.205. *Орловский* Александр Осипович (1777—1832) — знакомый Пушкина, художник-баталист, чей «быстрый карандаш» упомянут в «Руслане и Людмиле» (песнь II, стих 458).

С.205. *Молодая калмычка, собою очень недурная*... — Этой встречей навеяно стихотворение «Калмычке» («Прощая, любезная калмычка!», 1829), упоминаемое в конце второй главы «Путешествия» (см. с.222).

С.205. ...*от степной Цирцеи*. — В древнегреческом эпосе волшебница Кирка (Цирцея) год удерживала Одиссея на своем острове; в нарицательном смысле цирцея — обольстительница, опасная красавица.

С.205. ...*ровно за девять лет*. — Первый раз Пушкин был на Кавказе летом 1820 г. (в Ставрополе — 4 июня) с семьей генерала Николая Николаевича Раевского-отца (1771—1829).

С.205. *Горячие воды* — старое название Пятигорска (до 1830).

С.206. *Раевский* Александр Николаевич (1795—1868) — старший сын Н.Н.Раевского, друг Пушкина, оказавший на поэта большое влияние. В 1829 г. находился в Полтаве, в ссылке, без права проживания в столицах, а с 1834 г. — в Москве.

С.206. *Екатериноград* — город (с 1822 — станица Екатериноградская) в 35 верстах западнее Моздока, на реке Малке, выше ее слияния с Тереком.

С.206. ...*ногайские проводники*... — Ногайцы — народность, живущая в восточных районах Северного Кавказа.

С.206. *Гудович* Иван Васильевич (1741—1820), генерал-фельдмаршал (с 1807), был командующим войсками в Грузии и Дагестане в 1806—1809 гг.

С.208. ...*отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ против русского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре*. — Шейх Мансур, объявивший в 1785 г. газават (священную войну против христиан) среди кавказских горцев, был взят в плен в 1791 г. и заточен в Шлиссельбургскую крепость, где умер 13 апреля 1794 г.

С.208. ...*и попал на похороны*. — Ср. сцену похорон в поэме «Газит» (конец 1829 — начало 1830).

С.208. ...*like a warrior taking his rest / With his martial cloak around him*... — строки из стихотворения ирландского поэта Чарльза Вульфа (1791—1823) «Погребение сэра Джона Мура» (1817), известного в России в переводе И.И.Козлова, напечатанном в альманахе «Северные цветы» на 1826 г.

С.208. ...*черкесских аманатов*... — Черкесских детей брал в заложники (аманаты) А.П. Ермолов, чтобы принудить горцев к сотрудничеству.

С.208. *Их держат в жалком положении <...> не жалеют о своем пребывании во Владикавказе.* — В прижизненных публикациях этот фрагмент опущен.

С.209. *Иматра* — водопад на реке Вуоксе в Финляндии.

С.209. *...реке на Севере гремящей.* — Цитата из оды Г.Р.Державина «Водопад» (1791—1794), где говорится о водопаде Кивач на реке Суне:

И ты, о водопадов мать!
Река на севере гремяща,
О, Суна!..

С.209. *Бекович-Черкасский Федор Александрович* (1790—1835), князь, кабардинец, генерал-майор — командир бригады 21-й пехотной дивизии.

С.209. *И в козих мехах вино, отраду нашу!* — Стих (315) из третьей песни «Илиады» в переводе Е.И. Кострова (1787).

С.209. *Шереметев Петр Васильевич* (1799—1837) служил в русском посольстве в Париже (1827); Пушкин общался с ним в Кисловодске (21 августа — 6 сентября 1829).

С.209. *Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник...* — Пушкин ссылается на книгу «Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году» (М., 1829) астраханского губернского прокурора Николая Александровича Нефедьева (1800—1860), служившего на Кавказе в 1829—1833 гг.

С.209—210. *...напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта...* — На этой картине из Дрезденской галереи, популярной по гравюрным воспроизведениям, Ганимед, сын троянского царя Троса и нимфы Каллирои, отличавшийся необычайной красотой, изображен младенцем, испускающим в момент похищения его Зевсом от страха струю.

С.210. *Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария...* — Пушкин опирается на сведения, приведенные французским путешественником и консулом в Тифлисе Жаком Франсуа Гамба (1763—1833) во втором томе его «Путешествия в южную Россию ... с 1820 по 1824 год» («Voyage dans la Russie méridionale et particulièrement dans les provinces situées au delà du Caucase fait depuis 1820 jusqu'en 1824», 1826): «Если можно верить местному преданию, этот замок принадлежал в Средние века какой-то княгине Дарии, которая задерживала на заставе всех путешественников, принуждала понравившихся ей делить с нею ложе и приказывала бросать в Терек любовников, которых подозревала в том, что они будут на нее жаловаться. Более верно, чем это предание, то обстоятельство, что достаточно увидеть Дарьял, чтобы признать в нем Рулае, или Кавказские ворота».

С.210. *По свидетельству Плиния...* — Со свидетельством древнегреческого писателя, ученого и государственного деятеля Плиния Старшего (около 24—79) Пушкин познакомился во втором томе изданного посмертно «Путешествия в астраханские и кавказские степи» (Voyage dans les steppes d'Astrakhan et du Caucase», 1829) польского писателя, археолога и путешественника Яна Потоцкого (1761—1815): «Поблизости от этих народов находятся *Кавказские ворота*, неправильно называемые *Каспийскими*, — изумительное творение природы, пробившей в этом месте огромнейшие скалы. Здесь водружены ворота из бревен, скованных железом. Под воротами этими протекает река *Дириодорис* <лат. *digi odoris* — с тяжелым запахом. — *В.Р.*>». Примечание к этому месту: «Единственное место в этом ущелье, где возможно было водрузить ворота, — Дарьял; таким

образом, река Дириодорис есть Терек». «Испанскими романами» Потоцкого был роман «Рукопись, найденная в Сарагоссе» («Manuscrit trouvé à Saragosse», 1804), переизданный в двух частях с разными заглавиями: «Авадоро, испанская повесть» (1813) и «Десять дней жизни Альфонсо Ван-Вордена» (1814); по его мотивам Пушкин создал неоконченное стихотворение «Альфонс садится на коня...» (1836).

С.210. ...князю Казбеку. — Видимо, речь идет о князе Н.Г.Казбеги, из семьи грузинских владетельных князей селения Стефан-Цминде.

С.210. ...выше преображенского флигельмана. — Флигельманом назывался головной, первый в ряду солдат, на которого ориентировалась при фронтовых поворотах и ружейных приемах вся шеренга. В гвардейские полки, к числу которых принадлежал Преображенский, отбирали особо рослых солдат.

С.210. ...как некогда плыл мимо Чатырдага. — Чатырдаг — одна из вершин Крымских гор, мимо которой Пушкин плыл ночью с 18 на 19 августа 1820 г. при переезде морем с семьей Раевских из Феодосии в Гурзуф. В «Отрывке из письма к Д.», напечатанном впервые в альманахе «Северные цветы» на 1826 г., а с 1830 г. печатавшемся приложением к «Бахчисарайскому фонтану», Пушкин так рассказал этот эпизод: «Всю ночь не спал. Луны не было; звезды блистали; передо мною, в тумане, тянулись полуденные горы... „Вот Чатырдаг“, — сказал мне капитан. Я не различил его да и не любопытствовал».

С.210. ...по выражению поэта, подпирающую небосклон. — Парафраза строк из стихотворения Д.В. Давыдова «Полусолдат» (1826):

С Кавказа глаз не сводит он,
Где подпирает небосклон
Казбека гряда снеговая.

С.210. Ждали персидского принца. — Посольство Хозрев-Мирзы направлялось в Петербург с извинениями персидского правительства за разгром русской миссии и убийство А.С. Грибоедова 30 января 1829 г.

С.210. ...представил меня Фазил-Хану. — Персидский поэт Фазиль-хан Шейда (около 1792—1852), воспитатель детей принца Хозрев-Мирзы, входил в посольство, преподнес оду Николаю I и получил от него перстень, табакерку и 250 червонцев. К нему обращен черновой набросок Пушкина «Благословен твой подвиг новый...», датированный «Душет, 27 мая».

С.211. ...и по крашеным ногтям. — Ср. в «Евгении Онегин» (I, 25.1—2):

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей.

С.211. Чиляев Борис Гаврилович (1798—1864), майор — правитель горских народов по Военно-Грузинской дороге.

С.211. ...приятеля моего О***. — В черновой рукописи: Ор - - -. Видимо, Николай Николаевич Оржицкий (1796—1861), декабрист, лишенный дворянства и разжалованный в рядовые, в 1829 г. — прапорщик Нижегородского драгунского полка.

С.211. Огарев Николай Гаврилович, подполковник, командир пионерной роты путей сообщения, был заведующим ремонтными работами на Военно-Грузинской дороге.

С.211. *Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года.* — Сведения об этом обвале Пушкин заимствовал из книги Н.А. Нефедьева, допустив неточность (обвал произошел в конце мая). Ср. стихотворение «Обвал» (1829).

С.213. *...у городничего, старого офицера из грузин...* — Речь идет об отставном майоре Рафаиле Сергеевиче Ягулове. Пушкин ночевал у него в ночь с 26 на 27 мая 1827 г.

С.213. *...а не Ринальдо-Ринальдини.* — Отважный благородный разбойник, герой широко известного в пушкинское время романа немецкого писателя Христиана Августа Вульпиуса (1762—1827) «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников» (1797, перераб. 1823), переведенного на многие европейские языки.

С.213. *...в котором неприметным образом и очутились часу в одиннадцатом вечера.* — Пушкин приехал в Тифлис 27 мая.

С.214. *Lalla Rookh* — поэма (1817) английского поэта-романтика Томаса Мура (1779—1852).

С.215. *Санковский Павел Степанович* (около 1798—1832), писатель, чиновник особых поручений при И.Ф.Паскевиче, был редактором «Тифлисских ведомостей» в 1828—1831 гг.

С.215. *Дицианов Павел Дмитриевич* (1754—1806), князь, главнокомандующий на Кавказе с 1802 г. до смерти.

С.215. *Грузия перешла под скипетр императора Александра в 1802 г.* — В 1783 г. в г. Георгиевске был заключен «Дружественный договор» о переходе Картлийско-Кахетинского царства под покровительство России. В 1795 г. Ага Мохаммед-хан Каджар (1742—1797, шах Ирана с 1796) совершил опустошительное вторжение в Грузию. Решение об упразднении Картлийско-Кахетинского царства и включении его в Российскую империю принял Павел I; 18 декабря 1800 г. был составлен об этом манифест, опубликованный 18 января 1801 г. в Петербурге, 16 февраля — в Тифлисе, а 12 сентября окончательно утвержденный Александром I.

С.215. *Душа, недавно рожденная в раю!..* — Пушкин обработал сделанный для него буквальный перевод стихотворения грузинского поэта Дмитрия Туманишвили (ум. 1821) «Весенняя песня». Этот романс был популярен в Тифлисе во время пребывания там Пушкина. Однако еще раньше мелодию романса привез в Россию А.С.Грибоедов; в 1828 г. он сообщил ее М.И.Глинке, а Пушкин, услышав ее, сочинил на нее тогда же (12 июня) стихотворение «Не пой, красавица, при мне...».

С.215. *...как несчастный Кларенс в бочке малаги.* — По преданию, Джорджу герцогу Кларенсу (1449—1478), приговоренному к смерти по обвинению в заговоре против его старшего брата, английского короля Эдуарда IV, было предоставлено право самому назначить себе род казни, и он пожелал быть утопленным в бочке мальвазии. Эта легенда часто обыгрывалась или упоминалась в литературе (например, в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», кн. IV, гл. 33, и трагедии Шекспира «Ричард III», д. I, сц.4) и публицистике.

С.216. *Тбилис-калап* — правильно: Тбилис-калак. Пушкин повторил опечатку, допущенную в книге, которой он пользовался (*Гильденштедт А.И.* Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа. СПб., 1809. С.181).

С.216. *Самойлов Николай Александрович* (около 1800—1842), граф, капитан Преображенского полка, адъютант А.П. Ермолова, уволенный вместе с ним в отставку (1827).

C.216. *Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином ассессорским, толико возжеланным.* — Скрытая парафраза строки из сатиры А.Н. Нахимова «Элегия» («Восплачь, канцелярист...», 1809):

О чин ассессорский, толико возжеланный!

На Кавказе повышение в чине шло быстрее и легче, чем в России. Ср. в повести Н.В. Гоголя «Нос»: «Коллежских ассессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими ассессорами, которые делались на Кавказе. <...> Ковалев был кавказский коллежский ассессор».

C.216. *Сиягин* Николай Мартьянович (1785—1828), генерал — тифлисский военный губернатор в 1827—1828 гг.

C.216. *Стрекалов* Степан Степанович (1781—1856), генерал — тифлисский военный губернатор (ноябрь 1828—1831).

C.218. *Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу.* — Встреча Пушкина с телом покойного Грибоедова состоялась 11 июня. Ее описание в «Путешествии» рассчитано на контрастное сопоставление с рассказом в главе первой о кортеже, сопровождавшем посольство Хозрев-Мирзы. Вопрос о том, как доставлялось тело Грибоедова в Тифлис, нельзя считать исчерпывающе выясненным.

C.219. *Написать его биографию было бы делом его друзей...* — Видимо, полемическое замечание по адресу Ф.В. Булгарина, который в своих «Воспоминаниях о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове» (Сын отечества. 1830. № 1) представил себя едва ли не единственным другом покойного писателя.

C.219. *Бутурлин* Николай Александрович (1801—1867), граф, ротмистр лейб-гвардии Уланского полка — адъютант начальника Главного штаба А.И. Чернышева.

C.219. *К вечеру прибыл я в Пернике.* — Название приведено Пушкиным ошибочно. Имеется в виду селение Бекант, где находился казачий пост.

C.220. *«Это Арарат».* — Ошибка Пушкина: из Гумров виден не Арарат, а Алагез, который ему, возможно, назвали армянским именем Арагац. По библейской легенде, Арарат был единственною горою, вершина которой выступала из воды и куда пристал ковчег Ноя.

C.220. *...и врана и голубицу излетающих...* — Через сорок дней после того, как из убывающей воды показались верхи гор, Ной стал выпускать сначала ворона, потом голубя, которые отлетали и прилетали, по чему он судил об осушении земли (Бытие, гл. VIII, ст. 6—12).

C.222. *Он явился вместе с офицером <...> намаранное мною на одной из кавказских станций.* — В «Современнике» этот фрагмент опущен.

C.222. *Бурцов* Иван Григорьевич (1795—1829), генерал-майор (с апреля 1829) — командир Херсонского гренадерского полка, знакомый Пушкина в лицейские годы, декабрист, переведенный в 1826 г. на Кавказ после полугодового заключения в крепости.

C.223. *...нашего Вольховского...* — Владимир Дмитриевич Вольховский (1798—1841), лицейский товарищ Пушкина, переведенный в 1826 г. на Кавказ как «бывший в замечании» по делу декабристов, в 1828—1829 гг. — оберквартирмейстер Отдельного Кавказского корпуса.

С.223. *Пушкин Михаил Иванович (1800—1869) — брат лицейского товарища Пушкина, лишенный дворянства и разжалованный в рядовые, служивший на Кавказе с начала 1827 г. в военно-инженерных войсках, произведенный в поручики в апреле 1829 г.*

С.223. *Heu! fugaces, Posthume, Posthume, / Labuntur anni... — Цитата из оды Горация (кн. II, ода 14).*

С.223. *... nec Armeniis in oris... — Цитата из оды Горация (кн. II, ода 9).*

С.223. *Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. — Следует описание сражения, в котором принимал участие и Пушкин, о чем говорится в «Истории военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах» (СПб., 1836) Н.И.Ушакова: «В поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственной новобранцу-воину, схватив пику одного из убитых казаков, устремился противу неприятельских всадников». Семичев Николай Николаевич (1792—1830) — майор Нижегородского драгунского полка, эскадронный командир, декабрист, отбывший шестимесячное заключение в Петропавловской крепости и весной 1827 г. переведенный на Кавказ.*

С.224. *Басов Петр Трофимович (ум. 1857), подполковник — командир Донского казачьего полка, носившего его имя. Об этом полку Пушкин вспоминал в наброске «Был и я среди донцов...» (1829).*

С.224. *Вечером навестил я молодого Остен-Сакена... — Штабс-капитан Нижегородского драгунского полка, барон Павел Ерофеевич Остен-Сакен (1802—1855) был легко ранен пулей в ногу. «Молодым» он назван как брат начальника штаба Отдельного Кавказского корпуса, генерал-майора Дмитрия Е. Остен-Сакена (1789—1881), осуществлявшего надзор за Пушкиным.*

С.224. *... в снегах таврических. — Тавр — древнее армянское название армянских горных цепей.*

С.224. *... с любопытством смотрел я на язидов... — В предполагавшееся отдельное издание «Путешествия в Арзрум» Пушкин намеревался включить в качестве приложения на французском языке «Заметку о секте езидов» («Notice sur la secte des Yezidis»), написанную в XVIII в. миссионером в Курдистане Маурицием Гардзони.*

С.224. *... к генералу Раевскому, начальнику всей конницы. — В действующей армии Н.Н.Раевский-сын командовал сводной кавалерийской бригадой, в которую входил его Нижегородский драгунский полк и Сводный уланский полк.*

С.225. *Фридерикс Борис Андреевич (1797—1874), барон — командир Эриванского карабинерного полка; в мае 1829 г. был произведен в генерал-майоры.*

С.225. *Я увидел генерала Муравьева... — См. выше, с.431, коммент. к с.203.*

С.225. *Симонич Иван Осипович (1794—1851), граф, полковник — командир Грузинского гренадерского полка.*

С.226. *... Сводный уланский полк... — В белой рукописи и в «Современнике» слово «Сводный» заменено ***, так как этот полк был сформирован из частей полков, принимавших участие в декабрьском восстании.*

С.226. *... полковника Полякова... — Начальник Донской полевой артиллерии Иван Козьмич Поляков состоял в чине подполковника.*

С.226. ...*достойную Сальватора-Розы*... — Здесь имеются в виду полотна итальянского художника Сальватора Розы (1615—1673), изображающие дикую местность, горы, ущелья и отличающиеся мрачным, суровым колоритом, резкими светотеневыми контрастами.

С.226. *Сераскир арзрумский*. — Гаджи Магомет Салех паша.

С.226—227. ...*на присоединение к Гаки-паше*... — Гаки-паша Сивазский был с начала 1829 г. главнокомандующим турецкими войсками, действовавшими под Арзрумом.

С.228. *Анреп* Роман Романович (ум. весной 1830), полковник — командир Сводного уланского полка, знакомый Пушкина в лицейские годы. Говоря о поведении Анрепа, Пушкин, возможно, намекает на проявлявшиеся признаки его душевной болезни.

С.228. *Erat vir <...> castravit me*. — В «Современнике» этот фрагмент опущен.

С.228. *Иппократ* — старая форма в русском языке имени древнегреческого врача Гиппократ (460—377 или 356 г. до н.э.).

С.228. *Хосс* — это турецкое название взято Пушкиным из «Путешествия» Я.Потоцкого (см. выше, с.433—434, коммент. к с.210).

С.230. *Несколько франков были убиты озлобленной чернью*. — Франками на Ближнем Востоке называли европейцев.

С.230. *Юзефович* Михаил Владимирович (1802—1889), поэт и археолог, штаб-ротмистр Чугуевского уланского полка, состоял адъютантом Н.Н.Раевского-сына.

С.231. ...*в годовщину полтавского сражения*... — 27 июня 1709 г. русские войска под командованием Петра I нанесли сокрушительное поражение под Полтавою армии шведского короля Карла XII.

С.231. *Феодосий Второй* (около 401—450) — византийский император с 408 г. (до 423 под опекой сестры).

С.232. ...*здесь, по свидетельству Гаджи-Бабы, поднесены были персидскому послу, в удовлетворение какой-то обиды, телячьи уши вместо человеческих*. — Речь идет об эпизоде из романа английского писателя Джеймса Морьера (1780—1849) «Приключения Гаджи-Бабы Испаганского в Англии» (1828) в вольном русском переводе (1830) О.И.Сенковского «Мирза Хаджи-Баба Исфгани в Лондоне» (ч. 1, гл. 7): персидский посол, проезжая через Арзрум, поймал обокравшего его там и сбежавшего скорохода из его свиты; он приказал отрезать вору уши; однако слуги обманули посла, показав ему вместо ушей два ломтика козлятины.

С.232. ...*что заметил и Турнфор*... — Пушкин ссылается на восемнадцатое письмо из книги французского ботаника и путешественника Жозефа Питтона де Турнфора (1656—1708) «Отчет о путешествии на Восток, предпринятом по повелению короля» (1717).

С.232. ...*на семь тысяч футов*. — Приблизительно 2130 метров (по современным данным высота Арзрума около 1880 м).

С.232. ...*со времен Годфреда*. — Имеется в виду первый крестовый поход (1096—1099) под предводительством герцога Годфрида Бульонского (1061—1100).

С.233. ...*сочиненной янычаром Амином-Оглу*. — Вымышленное лицо; стихи написаны Пушкиным 17 октября 1830 г., для «Путешествия» переработаны.

С.233. *Сухоруков* Василий Дмитриевич (1795—1841), сотник (казачий офицер XII класса), ранее поручик гвардейского казачьего полка (IX класс), исклю-

ченный из гвардии за причастность к делу декабристов и переведенный на Кавказ, с изъятием собранных им материалов по истории Войска Донского. В 1829 г. Сухоруков собирал материалы по истории похода, но они также были у него отобраны в 1830 г. Пушкин пытался помочь ему получить их обратно, однако поданная им в Третье отделение записка не возымела действия.

С.234. ...*бесчестных отроков*... — В «Современнике» слово «бесчестных» опущено.

С.234. *Мушский паша*... — Ибрагим-бек, дядя Эмина-паши, управлявшего вилайетом в городе Муше и ушедшего с турецкими войсками. Ибрагим-бек домогался места племянника.

С.234. *Бей-булат* Таймазов — чеченец, разбойничавший на Кавказе в 1820-е гг. Вынужденный А.П. Ермоловым принести повинную и зачисленный на службу в милицию в чине поручика, он в 1829 г. вернулся к разбоям, почему и был вызван И.Ф.Паскевичем для объяснений.

С.234. ...*г. А. ...* — неустановленное лицо.

С.234. *Его скопили, и ...* — В «Современнике» эти слова опущены.

С.235. *Коновницын* Петр Петрович (1802—1830) — прапорщик 8-го пионерного батальона, ранее подпоручик гвардии Генерального штаба, декабрист, разжалованный в 1826 г. в рядовые.

С.236. *Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом*. — 19 июля генерал И.Г.Бурцов был ранен в 130 верстах от Арзума и умер 23 июля, так что о его гибели в указанный Пушкиным день известие не могло прийти.

С.236. ...*и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками*. — Ср. стихотворение «Монастырь на Казбеке» («Высоко над семью гор...», 1829).

С.237. *Дорохов* Руфин Иванович (1801—1852) — прапорщик Нижегородского полка, знакомый Пушкина еще по Петербургу в 1819—1820 гг., неоднократно разжалованный в рядовые за «неукротимый нрав и буйные выходки», прототип Долохова в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». К нему обращено стихотворение Пушкина «Счастлив ты в прелестных дурах...», (1829).

С.237. *Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений*. — Статья Н.И.Надеждина (Вестник Европы. 1829. № 8—9) с резкой критикой «Полтавы».

С.237. ...*с большим мимическим искусством*. — В рукописи приписана и зачеркнута цитата из «Горя от ума»:

«...не так как пономарь

А с чувством, с толком, с расстановкой».

ОТРЫВОК ИЗ НЕИЗДАНЫХ ЗАПISOK ДАМЫ (1811 год)

«Современник». 1836. Т.3.

Неопубликованная Пушкиным часть белой рукописи была напечатана в посмертном собрании сочинений (Т.11. СПб., 1841), продолжение по черновой рукописи — в собрании сочинений, изданном П.В. Анненковым (Т.1. СПб., 1855). Опубликованное в полном виде по прижизненному печатному тексту и автографам, это незавершенное произведение получило ошибочно редакторское заглавие «Рославлев», основанием для которого стало это слово, написанное карандашом на обложке рукописи.

«Записки дамы» Пушкин писал в июне 1831 г. (в конце черновой рукописи поставлена дата 22 июня 1831) как немедленный полемический отклик на только что вышедший и сразу им прочитанный роман М.Н.Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году». 24 августа 1831 г. П.А.Вяземский спрашивал Пушкина в письме: «Не правда ли, что в „Рославлеве“ нет истины ни в одной мысли, ни в одном чувстве, ни в одном положении?» Пушкин отвечал 3 сентября: «То, что ты говоришь о „Рославлеве“, сушая правда <...>, но <...> можно прибавить еще <...>, что положения, хотя и натянутые, занимательны; что разговоры, хотя и ложные, живы, и что всё можно прочесть с удовольствием...» Эта оценка давала возможность «исправить» «Рославлева» в соответствии с программой, намеченной в «Романе в письмах» (см. с.286) и реализованной в «Повестях Белкина».

В романе М.Н. Загоскина дворянин Рославлев любит Полину Лидину, дочь вдовы-помещицы, девушку без всяких общественных интересов и запросов. Молодые люди помолвлены, однако в отношении девушки к жениху чувствуется какая-то недоговоренность и тайна. Как со временем выясняется, Полина, будучи с матерью в Париже, познакомилась с графом Сеникуром и полюбила его, но он женат, и девушка принуждает себя забыть его, хотя и не в силах подавить свое чувство. С началом войны 1812 года Рославлев доблестно сражается в действующей армии и в партизанах, проходя через тяжкие испытания и злоключения. Граф Сеникур попадает в плен и направлен на жительство в деревню Лидиных. Он овдовел, Полина тайно выходит за него замуж («Ужасные бедствия моих сограждан, пожар Москвы, беспрепятственные слухи о покорении всей России — всё это казалось мне каким-то смутным, невнятным сновидением. Я жила только для него, видела одного его»), уезжает с ним в занятую французами Москву и покидает Россию с отступающим войском («Адольф! — вскричала я, — мое отечество там, где ты; я забыла его для тебя»). Сеникур погибает; она же добирается до Данцига, живет в страшной нищете, рождает и теряет сына, наконец гибнет сама, раненная осколком русского снаряда. Она умирает с сознанием, что изменила отечеству: «Но разве у меня есть отечество?.. Разве несчастная Полина не отказалась от своей родины?.. Разве найдется во всей России уголок, где б дали приют русской, вдове пленного француза?..» Рославлев женится на сестре Полины — Ольге, давно тайно в него влюбленной.

С.238. ...увидела я, что завязка его основана на истинном происшествии, слишком для меня известном. — Во время Отечественной войны 1812 г. в печати появлялись известия о браках между русскими дворянскими дочками и французскими военнопленными. В предисловии к «Рославлеву» М.Н.Загоскин писал: «Интрига моего романа основана на истинном происшествии — теперь оно забыто; но я помню еще время, когда оно было предметом общих разговоров и когда проклятия оскорбленных россиян гремели над главою несчастной, которую я назвал Полиною в моем романе».

С.238. Я буду защитницею тени... — П.В.Нащокин вспоминал (в записи П.И.Бартенева): «„Рославлев“, как говорил сам Пушкин, был написан для того, что Пушкину не нравился характер Полины в романе Загоскина: она казалась ему слишком опошленной; ему хотелось представить, как он изобразил бы ее. Весь рассказ вымышлен» (Бартенев П.И. О Пушкине: Страницы жизни поэта; Воспоминания современников. М., 1992. С.355—356).

С.238. ...он считался в Иностранной коллегии... — т.е. был одним из «архивных юношей» (ср.: «Евгений Онегин», VII, 49.1), служивших в Московском Архиве Министерства иностранных дел. Иностранная коллегия с 1802 г. вошла в Министерство иностранных дел и стала его частью, сохранив свое название.

С.238. ...ездил цугом и носил ключ и звезду... — Запряжка цугом (две или три пары лошадей друг за другом) была разрешена знатным лицам; золотой ключ с бантом из голубой ленты, эмблема придворного звания камергера, носился на пуговице при заднем кармане мундира как символ того, что данному лицу открыт доступ в покои монарха; звезда — орден высшей степени в виде восьмиконечной звезды. В романе М.Н.Загоскина Лидины к знати не принадлежат, а покойном отце ничего не говорится, а мать изображена недалекой женщиной, почитательницей всего французского.

С.239. Французская словесность, от Монтескье до романов Кребийона, была ей знакома. — Имеются в виду не хронологические рамки, а жанровое и содержательное разнообразие прочитанного Полиною: от литературных произведений, сочетавших серьезное содержание с занимательностью, как «Персидские письма» Шарля Луи Монтескье (1689—1755), до развлекательных, гривуазных романов Клода Проспера Жюлио Кребийона-сына (1707—1777).

С.239. Руссо знала она наизусть. — Имеется в виду роман Ж.-Ж.Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761). В этом отношении Полина являет собою тот же тип девушки, что и Марья Гавриловна из «Метели» (ср. с.129).

С.239. Вот ужас, слава богу, лет тридцать, как бранят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем и не умеем (будто бы) изъясняться на отечественном языке... — Здесь Пушкин развивает мысли, ранее высказанные им в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А.Крылова» (1825), в «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» (1827), в строфе «Евгения Онегина», написанной сначала для третьей главы (1824), перенесенной затем в «Альбом Онегина» (гл. VII, 1828), но в печатный текст не вошедшей:

Сокровища родного слова,
Заметят важные умы,
Для лепетания чужого
Безумно пренебрегли мы.
Мы любим Муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремущи,
А не читаем книг своих —
Да где ж они? — давайте их.
А где мы первые познанья
И мысли первые нашли,
Где поверяем испытанья,
Где узнаем судьбу земли?
Не в переводах одичалых,
Не в сочиненьях запоздалых,
Где русский ум и русский дух
Зады твердит и лжет за двух.

С.239. ... одной из нас обязан он и переводом своего романа на французский язык.) — На французский язык роман М.Н.Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) перевела София Конрад (урожд. Отт): Youri Miloslavsky, ou la Russie en 1612. Roman traduit du russe par M^{me} S.C..., née d'Ott. T.1-4. Paris, 1831.

С.239. *Эта путешественница — m-me de Staël.* — Французская писательница Жермена де Сталь (1766—1817), изгнанная в 1803 г. из Франции за оппозицию Наполеону, пересекла русскую границу 2(14) июля 1812 г., через двадцать дней после того, как французские войска перешли Неман и начали вторжение в Россию. В Москве она пробыла неделю. Таким образом, подзаголовок «1811 год» не соответствует хронологическим рамкам «записок». О посещении России мадам де Сталь рассказала в книге «Десять лет изгнания» (опубл. 1821), высоко ценимой Пушкиным (см. его заметку «О г-же де Сталь и о г. А.М.-ве», 1825), который на нее опирался, изображая в «Записках дамы» московское дворянское общество начала Отечественной войны 1812 г. Следующая далее сцена столкновения Полины с светом представляет собою в значительной части драматизированный фрагмент из гл. 13.

С.240. *...сочинительницу «Корины».* — Речь идет о романе «Коринна, или Италия» (1807), хорошо известном в России (русский перевод — 1809—1810). Бунтующая, непокорная героиня этого произведения, поэтесса и актриса, не признает традиционных норм и правил поведения, тяготеет к окружающей ее прозой обыденной жизни в Англии, порывает с близкими, уезжает в Италию, где ищет пламенной страсти и сильных движений души, отстаивает права женщины на свободу чувств и мнений.

С.240. *...прекрасными пальцами...* — Красивые руки мадам де Сталь обратили на себя внимание в России. Так, московский главнокомандующий граф Ф.В.Ростопчин докладывал 26 июля 1812 г. Александру I: «Поиграв умом и показав свои прекрасные руки, г-жа де Сталь уехала из Москвы» (Литературное наследство. М., 1939. Т.33—34. С. 269).

С.240. *...который они покскали развозить по городу.* — Черта московского быта, которую Пушкин отметил и в «Table-talk» (1830-е.): «Когда Пугачев сидел на Меновом дворе, праздные москвичи между обедом и вечером заезжали на него поглядеть, подхватить какое-нибудь от него слово, которое спешили потом развозить по городу».

С.240. *Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женицине!* — В обличительном негодовании Полины звучат отголоски впечатлений, оставшихся у Пушкина от пребывания в Москве незадолго до того, как он начал писать полемический ответ на роман М.Н.Загоскина. Так, 26 марта 1831 г. он писал Е.М.Хитрово: «Москва — город ничтожества. На ее заставе написано: оставьте всякое разумение, о вы, входящие сюда. Политические новости доходят до нас с запозданием или в искаженном виде. Вот уже около двух недель, как мы ничего не знаем о Польше, — и никто не проявляет тревоги и нетерпения! Если бы еще мы были очень беспечны, легкомысленны, сумасбродны, — ничуть не бывало. Обнищавшие и унылые, мы тупо подсчитываем сокращение наших расходов» (подлинник по-французски). Эти впечатления Пушкин вспоминал и позже, в 1834 г., когда писал «Путешествие из Москвы в Петербург», в черновой редакции которого были, например, следующие строки: «Ныне нет в Москве мнения народного; ныне бедствия или слава отечества не отзываются в этом сердце [России]. Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского возмущения. Гадко было видеть бездушного читателя французских газет, улыбающегося при вести о наших неудачах». По-видимому, эти наблюдения, давшие толчок раздумьям об упадке Москвы, явились немаловажным параллельным полемическим стимулом для

возникновения замысла «Записок дамы». Обращаясь к первым неделям Отечественной войны, Пушкин прослеживает ранние формы этого утадка.

С.240. *...об этой светской мелочи...* — В рукописи: об этой светской черни. В том же 1836 г., в декабре, подготавливая новое издание собрания стихотворений, Пушкин изменил заглавие стихотворения «Чернь» («Поэт по лире вдохновенной...», 1828) на «Поэт и толпа».

С.240. *По крайней мере, она видела наш добрый простой народ и понимает его.* — Сочувственное отношение к русскому народу, восхищение его суровой мужественностью в годину тяжких испытаний, вера в его нравственные силы и убежденность в его великом историческом достоинстве составляли важный мотив русских глав книги мадам де Сталь. В заметке «О г-же Сталь и о г. А.М-ве» Пушкин отметил, что французская писательница «первая отдала полную справедливость русскому народу, вечному предмету невежественной клеветы писателей иностранных».

С.241. *...следующую записку...* — Французский текст записки представляет собой искусную имитацию эпистолярного стиля мадам де Сталь.

С.241. *...друг Шатобриана и Байрона...* — Французский писатель Франсуа Рене де Шатобриан (1768—1848) был приверженцем легитимизма и с 1804 г. находился в оппозиции Наполеону. Называя здесь английского поэта Джорджа Гордона Ноэла Байрона (1788—1824), Пушкин имел в виду, что шпион деспота и душителя свободы не мог состоять в дружбе с певцом свободы.

С.242. *...противу Кузнецкого моста...* — В начале XIX в. Кузнецкий мост в Москве был средоточием иностранных модных лавок, среди которых преобладали французские.

С.242. *...предсказывали России участь Рейнской конфедерации.* — Речь идет о Рейнском союзе — конфедерации германских государств под протекторатом Наполеона, ставших фактически вассалами Франции (1806—1813).

С.242. *...простонародные листки графа Ростопчина...* — «Дружеские послания главнокомандующего в Москве к жителям ее», издававшиеся Ф.В.Ростопчиным с 1 июля по 31 августа почти ежедневно и получившие у москвичей название афиш потому, что они вывешивались и разносились по домам наподобие театральных афиш. Эти объявления о ходе военных действий, написанные псевдонародным слогом, имели целью ослабить испуг и тревогу москвичей, для чего Ростопчин намеренно прикрашивал действительное положение дел, высмеивал Наполеона и французов, восхвалял «простые русские добродетели».

С.242. *На бульваре, на Пресненских прудах...* — Тверской бульвар и Пресненские пруды были в Москве местами гуляния светского общества.

С.243. *И дядюшка смеет еще насмеяться над ее робостью при приближении французской армии!* — По ироническому свидетельству Ф.В. Ростопчина, «Сталь волновалась смертельным страхом, чтобы Наполеон, занятый исключительно ее преследованием и раздраженный тем, что она ушла, не послал особо отряда кавалерии, чтобы поймать ее в Москве. Для того, чтобы убедить меня в справедливости своих опасений, она постоянно прибавляла: „Вы не знаете, что это за человек, он способен на всё“. В то время как она опасалась быть похищенной по распоряжению Наполеона, он был еще в 800 верстах от Москвы; поэтому я не принял никаких мер, чтобы воспрепятствовать этому похищению» (Литературное наследство. Т.33—34. С.268—269).

С.243. *Пале-Рояль* — дворец герцогов Орлеанских в Париже. Здесь имеется в виду внутренний двор, где находились магазины и разные увеселительные заведения.

С.243. *А Шарлот Кордэ?* — Шарлотта Кордэ (1768—1793) убила кинжалом одного из главных деятелей Французской революции, организатора и вдохновителя террора, вождя крайне левой партии якобинцев Жана Поля Марата (1744—1793) и по приговору революционного трибунала была казнена на гильотине.

С.243. *...а наша Марфа Посадница?* — Марфа Борецкая, по прозвищу Посадница, возглавляла борьбу вольного Новгорода против великого князя московского Ивана III, проводившего политику единодержавия. В 1478 г., после падения Новгорода и присоединения его к Москве, Марфа Борецкая была арестована, увезена в Москву, а все ее владения и имущество были конфискованы. Этому эпизоду русской истории была посвящена повесть Н.М.Карамзина «Марфа-Посадница, или Покорение Новгорода» (1803), кончавшаяся казнью героини во имя высокой цели единства государства.

С.243. *Дашкова* Екатерина Романовна (1743—1810) приняла деятельное участие в перевороте 1762 г., с 1783 г. была первым президентом Российской академии, в ноябре 1796 г. указом Павла I была уволена со всех занимаемых ею должностей и сослана в одно из своих отдаленных поместий.

С.243. *Il n'est de bonheur que dans les voies communes.* — Слова старого Шакстаса, персонажа повести Шатобриана «Рене» (1802), произносимые им в заключение выслушанного рассказа героя.

С.243. *Приезд государя...* — Александр I приехал в Москву 11 июля 1812 г., 15 июля состоялось его торжественное обращение к дворянству и купечеству с призывом создать земское ополчение.

С.243. *...речь молодого графа Мамонова...* — На пожертвованное состояние Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов (1790—1863) сформировал казачий полк, шефом которого был назначен. Впоследствии сблизился с декабристами, в 1826 г. отказался присягнуть Николаю I, был объявлен сумасшедшим и находился под опекой (душевная болезнь развивалась у него с 1817 г.).

С.244. *...уговорили матушку вместе ехать в их ***скую деревню.* — На этих словах Пушкин предполагал закончить первую главу «Записок дамы». В рукописи далее следует план этой главы, предназначавшийся, видимо, в ее подзаголовок.

С.244. *...полицейские объявления графа Ростопчина выводили ее из терпения. Шутливый слог их казался ей верхом неприличия, а меры, им принимаемые, варварством нестерпимым.* — Если в простонародье «афишки» Ростопчина принимались с восторгом, то в дворянской среде нашлось много ими недовольных. Поэт М.А.Дмитриев, сам считавший их «мастерской, неподражаемой вещью в своем роде», производившей «на народ московский огненное, непреоборимое действие», вспоминал, что Ростопчина «тогда винили в публике: и афишки казались хвастовством, и язык их казался неприличным» (Дмитриев М. А. Московские элегии; Стихотворения; Мелочи из запаса моей памяти. М., 1985. С. 296). Среди тех, кто придерживался подобного мнения, был, например, П.А.Вяземский. Ростопчин разжигал вражду к иностранцам, в первую очередь к французам, установил слежку за «ненадежными» людьми, прибегал к высылкам, телесным наказаниям, выдал на публичную расправу сына московского купца Верещагина,

приговоренного Сенатом к каторжным работам за перевод на русский язык воззваний Наполеона.

С.245. ...*zavel théâtre de société, где разыгрывал французские proverbes...* — Proverbes — небольшие комедии на темы пословиц, рассчитанные на исполнение силами любителей в светском обществе, без грима, костюмов и декораций. Родоначалником этого жанра был французский драматург Кармонтель (Каррожи Луи, 1717—1806), чей первый сборник пьесок этого рода вышел в 1768 г. Тогда же под заглавием «Théâtre de société:» (Светский театр) вышло в двух томах собрание пословиц и другого писателя — Шарля Колле (1709—1783).

С.245. *Сеникур (назову же и его именем, данным ему г-м Загоскиным)...* — У Пушкина во всех случаях написано «Синекур», что рассматривается как описка.

С.246. ...*он полагал, что с женщинами должно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются.* — Ср. заметку Пушкина, входящую в «Table-talk»: «Одна дама сказывала мне, что если мужчина начинает с нею говорить о предметах ничтожных, как бы приравниваясь к слабости женского понятия, то в ее глазах он тотчас обличает свое незнание женщин. В самом деле: не смешно ли почитать женщин, которые так часто поражают нас быстротою понятия и тонкостью чувства и разума, существами низшими в сравнении с нами! Это особенно странно в России, где царствовала Екатерина II и где женщины вообще более просвещены, более читают, более следуют за европейским ходом вещей, нежели мы, гордые бог ведает почему».

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СВОЙСТВЕННИКОВ ИОАННЫ Д'АРК

Напечатано посмертно: «Современник». 1837. Т.5.

Написано, вероятно, в первых числах января 1837 г.

Это произведение представляет собою пастиш (литературную мистификацию), построенный «по законам художественного вымысла» (Фомичев С.А. Последнее произведение Пушкина // Русская литература. 1987. № 3. С. 77). Стилизацию не существовавшей в действительности газетной хроники английского журналиста Пушкин наполнил своими мыслями по вопросам, которые волновали его в тот период, — о защите чести древних родов, о нравственной ответственности писателя за свои произведения и др.

С.248. *Дюлис* — фамилия, которую было разрешено носить родственникам Жанны д'Арк после дарования дворянства (образована от изображения лилии на ее гербе). Род Дюлисов угас в XVII в.

С.248. *Белли* — подобной фамилии нет ни у англичан, ни у шотландцев. По-видимому, Пушкин произвел ее от распространенной фамилии Белл (Bell).

С.248. *Карл VII* (1403—1461) был возведен на престол в 1429 г. в результате побед Жанны д'Арк над англичанами. *Генрих III* (1551—1589) — король Франции с 1574 г. *Людовик XIII* (1601—1643) — король Франции с 1610 г.

С.248. ...*господ д'Арк Дюлис (d'Arc Dulys)*. — Подобной двойной фамилии потомки братьев Жанны д'Арк никогда не носили.

С.248. ...*в журнале Morning Chronicle.*) — Существовала газета (в этом значении употреблено Пушкиным слово «журнал») партии вигов под этим названием (изд. 1769—1862).

С.248. *Сорель* Агнес (1409—1450), верная и преданная в течение двадцати лет фаворитка Карла VII, изображена Вольтером предающейся любовным утехам с разными мужчинами.

C.248. ...*господ Латримулья, Лагира, Бодрикура...* — Исторические персонажи «Орлеанской девственницы», представители французской аристократии, бурлескно в ней изображенные. Жорж де Латримуль (La Trémoille, около 1385—1446), министр Карла VII, был противником Жанны д'Арк при дворе и ничего не предпринял, чтобы вызволить ее из английского плена и спасти от казни. Лагир (La Hire, около 1390—1443, прозвище; настоящее имя и фамилия: Etienne Vignoles), напротив, помогал Жанне д'Арк в осаде Орлеана и пытался освободить ее из плена. Робер де Бодрикур (Baudricourt) направил Жанну д'Арк к Карлу VII, положив тем самым начало ее патристическим деяниям.

C.249. ...*(Tournebu, baillage de Chaumont en Tourraine)*... — Вымышленное название, составленное из реальных названий мест, расположенных в удаленных друг от друга районах Франции: деревни Турнебу (Tournebu) на западе страны и города Шомона (Chaumont) на востоке, где Робер де Бодрикур был бальи (bailli). Название исторической области Турен (Touraine) имеет видимость связи с названием деревни, притом в написании Пушкина (Tourgaine) напоминая французскую форму (Loggaine) исторической области Лотарингии, от границы которой недалеко находилась деревня, где родилась Жанна д'Арк; также оно созвучно названию местечка Турне (Tourneu), о покупке которого Вольтер вел переписку с президентом (председателем высшего судебного и законодательного органа провинции) Шарлем де Броссом. В третьем томе «Современника» (1836) Пушкин напечатал под заглавием «Вольтер» свою рецензию на книгу «Неизданная переписка Вольтера с президентом де Броссом» (1836).

C.249. ...*была родная сестра Луке д'Арк дю Ферону...* — У Жанны д'Арк не было брата Луки, вымышлена и фамилия дю Ферон. Намеренным введением подобных деталей Пушкин давал вдумчивым читателям понять, что вся история с потомком Луки д'Арк и, следовательно, с аукционом, на котором было якобы продано письмо Вольтера, выдумана, а само письмо и заметка в английской газете представляют собою пастиш.

C.249. *Он испугался шуму, который мог бы из того произойти...* — В своем пастише Пушкин обыгрывает реальные факты истории «Орлеанской девственницы». Поэма ходила в списках, а в 1755 г. недоброжелатели Вольтера напечатали ее во Франкфурте-на-Майне. Автор поспешил от нее отречься, но на следующий год издатели снова ее выпустили с приложением собственных памфлетов против Вольтера, в которых издевались над его отказом от авторства. Далее последовало одно за другим несколько изданий, и никто уже не сомневался в принадлежности поэмы Вольтеру, который в 1762 г. предпринял наконец авторизованное издание.

C.249. ...*я бедный старик, удрученный болезнями и горестями...* — В письме Вольтера к де Броссу (1758), цитированном Пушкиным в его заметке «Вольтер», говорится: «Я стар и хвор».

C.249. *Европа наводнена печатными глупостями, которые публика великодушно мне приписывает.* — Ср. объяснение Пушкина о «Гавриилиаде» (19 августа 1828), в котором он отрекся от поэмы: «Рукопись ходила между офицерами Гусарского полку, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомяну. Мой же список сжег я, вероятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное».

С.249. *Лет сорок тому назад случилось мне напечатать поэму под названием «Генриада».* — «Генриада» вышла в 1728 г. (первый вариант напечатан нелегально в 1723 г.).

С.249. *Вот единственное место в моих сочинениях, где упомянуто о бессмертной героине...* — Это заявление не соответствует действительности. В сочинениях Вольтера есть и другие положительные отзывы о Жанне д'Арк, например — в «Опыте о нравах и духе народов» (1756): «...ей ставили бы алтари, если бы она жила в те героические времена, когда люди воздвигали алтари в честь своих освободителей».

С.249. *...для удовольствия публики бессмысленной и неблагодарной.* — Ср. лексику стихотворения «Поэт и толпа» (1828):

Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.
< >
Молчи, бессмысленный народ
< >
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны...

С.249. *...gentilhomme de la chambre du roy.* — В феврале 1745 г., во время пребывания Вольтера в Пруссии, он получил звание королевского камергера, но в 1767 г. так подписаться не мог, т.к. камергерский ключ и орден были у него отобраны (см. об этом в заметке Пушкина «Вольтер»).

С.250. *...наш лауреат посвятил ей первые девственные порывы своего (еще не купленного) вдохновения.* — Речь идет об эпической поэме «Жанна д'Арк» (1796) молодого английского поэта-романтика Роберта Саути (1774—1843), который, с годами, отошел от своих юношеских свободолюбивых убеждений, а в 1813 г. получил звание поэта-лауреата (официального придворного поэта); его литературный и политический противник Байрон постоянно обличал его в продажности.

С.250. *Ни одного д'Арка или Дюлиса не видно при дворе французских королей от Карла VII до самого Карла X.* — Утверждение, не соответствующее действительности: не один потомок братьев Жанны д'Арк занимал высокие должности, в том числе Шарль Дюлис (около 1560 — около 1632), написавший несколько книг о своей знаменитой предшественнице и ее роде, был королевским советником и заместителем прокурора высшего податного суда, а Лука Дюлис — королевским секретарем (1628).

С.250. *Раз в жизни случилось ему быть истинно поэтом, и вот на что употребляет он вдохновение!* — Ср. в наброске статьи «О ничтожестве литературы русской» (1834): «...он однажды в своей жизни становится поэтом, когда весь его разрушительный гений со всею свободою излился в цинической поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, принесены в жертву Демону смеха и иронии, греческая древность осмеяна, святыня обоих заветов обрутана...»

С.250. *Он сатаническим дыханием раздувает искры...* — В статье «Мнение М.Е.Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной» (1836) цитировалось выражение Р.Саути «словесность сатаническая», которое он употребил применительно к «неистой» литературе во Франции. Современники Пушкина могли воспринимать «неистовую словесность» как своеобразное продолжение и развитие традиций Вольтера, и таким образом определение «сатани-

ческий» могло распространяться и на творчество последнего. Так, например, журнал «Библиотека для чтения» (1836. Т.15. Смес. С.56) писал: «Эта мерзкая словесность уже надоела всем благомыслящим людям, всем отцам и матерям семейств. Еще Гете сказал по случаю „Орлеанской девственницы“, что качество, которого наиболее недостает французам, — чувство приличия, и юная школа в полной мере оправдала суд великого поэта-философа».

С.250. ...как пьяный дикарь, пляшет около своего потешного огня. — Пушкин обращает к Вольтеру бранную характеристику, которую французский писатель дал Шекспиру в предисловии к трагедии «Семирамида» (1748), говоря о «Гамлете»: «Можно подумать, что это произведение — плод воображения пьяного дикаря».

С.250. ...творение Соуте есть подвиг честного человека... — Выражение «подвиг честного человека» Пушкин употребил дважды ранее: «История Государства Российского есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека» («О народном воспитании», 1826); эта фраза повторена в «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» (1827).

С.250. ...в философических гостиных барона д'Ольбаха и М-те Jeoffrin... — Речь идет о французском философе-материалисте Поле Анри Гольбахе (1723—1789), активном участнике просветительской «Энциклопедии», и о хозяйке влиятельного литературно-художественного салона Марии Терезе Жофрен (Geoffrin, урожд. Роде, 1699—1777), который посещал цвет французских просветителей.

С.250. Все с восторгом приняли книгу <...> Жалкий век! жалкий народ! — Это заключительное рассуждение «английского журналиста» сопоставимо с размышлениями Владимира ** («Роман в письмах») об отечестве, забывшем имена своих избавителей (см. выше, с.289-290, и коммент. к ним), негодованием «одной дамы» при воспоминании о московских «умниках», которые в 1812 г. «превозносили Наполеона с фанатичным подобострашием и шутили над нашими неудачами» (см. выше, с.242), а также с аналогичным обличением в черновой редакции «Путешествия из Москвы в Петербург» (1834) «читателя французских газет, улыбающегося при вести о наших неудачах» во время польских событий (см. коммент. к с.240). Ср. также стихотворение «Полководец» (1835).

АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Напечатано посмертно: «Современник». 1837. Т.6.

В рукописи заглавие отсутствует; заглавие «Арап Петра Великого», закрепившееся за произведением с его первой полной публикации, является, возможно, редакторской (В.А.Жуковского) парафразой заглавия «Царский арап» (или «Ибрагим, царский арап»), которое, как есть некоторые основания полагать, Пушкин намеревался дать своему «историческому роману».

При жизни Пушкина были напечатаны два отрывка: «IV. Глава из исторического романа» (Северные цветы на 1829 год. СПб., 1828) и «Ассамблея при Петре I-м» (Литературная газета. 1830. 2 марта. № 13); оба отрывка вместе («Две главы из исторического романа. I. Ассамблея при Петре Первом. II. Обед у русского боярина») в кн.: Повести, изданные Александром Пушкиным. СПб., 1834.

По недокументированному свидетельству П.В.Анненкова, роман был задуман в 1826 г. Пушкин начал его писать в последних числах июля 1827 г. в

Михайловском. К отъезду в октябре имелись, возможно, шесть глав белого текста. В марте 1828 г. Пушкин читал роман у В.А. Жуковского и обсуждал вопрос, следует ли его продолжать. Самое сильное впечатление произвели на слушателей третья и четвертая главы, что, без сомнения, определило позднее выбор отрывков для публикации в «Северных цветах» и «Литературной газете». Передавая осенью 1828 г. отрывок в «Северные цветы», Пушкин не стал его переписывать, а вырезал из белой рукописи и переслал А.А. Дельвигу соответствующие листы, из чего можно заключить, что к этому времени роман как цельное произведение в его творческом сознании уже не существовал и от мысли его продолжать писатель отказался.

Прототип героя романа, «царского арапа» Ибрагима, — прадед поэта Абрам Петрович Ганнибал, а «главную завязку» (т.е. сюжет) произведения должна была составить, как записал в своем дневнике со слов писателя посетивший его 15 сентября 1827 г. А.Н. Вульф, «неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь» (А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т.1. С.450). В основе этой фабулы и общей трактовки личности А.П. Ганнибала лежали слышанные Пушкиным от родственников и творчески им трансформированные «семейственные предания» о черном предке и его несчастливом браке с изменявшей ему Евдокией Диопер. Кроме того, Пушкин располагал так называемой Немецкой биографией, написанной зятем А.П. Ганнибала А.К. Роткирхом в апологетических целях (в комментариях цитируется записанный Пушкиным собственноручно ее сокращенный перевод). Круг печатных источников включал исторические очерки А.О. Корниловича, опубликованные в альманахе «Русская старина» на 1825 год («О первых балах в России», «Об увеселениях русского двора при Петре I», «О частной жизни императора Петра I», «О частной жизни русских при Петре I») и анекдоты о Петре I, собранные И.И. Голицыным в т.17 его «Дополнения к Деяниям Петра Великого» (М., 1796).

На первом листе белого автографа, перед текстом, Пушкин записывал стихотворные цитаты, которые предназначал в качестве эпиграфов как к отдельным главам романа, так, вероятно, и ко всему произведению. Никаких помет относительно их распределения не было сделано, и этот вопрос не имеет бесспорного и окончательного решения (лишь последний эпиграф может быть с очень большой степенью вероятности «привязан» к первой главе).

Первый эпиграф — неточная цитата из комической оперы А.О. Аблесимова «Мельник — колдун, обманщик и сват» (1779), д. I, явл.4:

Я тебе жену добуду
Иль я мельником не буду.
Аблесимов, в опере Мельник.

У Аблесимова вторая строка: «Иль я мельник век не буду».

Второй эпиграф — строки 30—31 из стихотворной повести Н.М. Языкова «Ала» (1824; опубл. 1826):

Железной волею Петра
Преображенная Россия.
Языков.

Третий эпиграф — девятая строфа оды Г.Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779; Пушкин цитирует печатавшуюся в собраниях сочинений редакцию 1783 г.):

[Как сон, как сладкая мечта,
Исчезла и моя уж младость;]
Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен...
Желанием честей размучен,
Зовет, я слышу, славы шум!
Державин.

Четвертый эпитафия — слегка измененные строки 56—57 из поэмы Е.А.Баратынского «Пиры» (1821):

Уж стол накрыт, уж он рядами
Несчетных блюд отягощен.

У Баратынского: «Вполне богат и лаком стол, / Уж он накрыт, уж он рядами / Несчетных блюд отягощен».

Пятый эпитафия — неточно цитируемые (видимо, по памяти) стихи из трагедии В.К.Кюхельбекера «Аргивяне» (соч. 1822—1823), д. III, явл. 3:

...Как облака на небе,
Так мысли в нас меняют легкий образ,
Что любим днесь, то завтра ненавидим.

У Кюхельбекера: «Как облака на небе, / Так мысли в нас меняют легкий образ. / Мы любим и чрез час мы ненавидим; / Что славим днесь, завтра проклинаем».

Шестой эпитафия — первые две строки из шуточного стихотворения И.И.Дмитриева «Путешествие NN. в Париж и Лондон, писанное за три дни до путешествия» (1806; опубликовано 1808):

Я в Париже;
Я начал жить, а не дышать.
Д. Журнал путешественника.

С.254. ...отправленных Петром Великим... — А.П.Ганнибал находился в царской свите во время второго путешествия Петра I в Европу и был оставлен в Париже в июне 1717 г. для обучения военным наукам. Этот эпизод своей биографии он правильно изложил в посвящении Екатерине I своего рукописного учебника по геометрии и фортификации («...в 1717-м году изволил <...> меня оставить во Франции для обучения военных дел»), но впоследствии стал писать в прошениях, что был «послан» во Францию. Эта формулировка закрепилась в его послужном списке, перешла в Немецкую биографию и оттуда в роман.

С.254. ...его крестник, арап Ибрагим. — Крещенный в 1705 г., А.П.Ганнибал получил, как рассказывается в полной Немецкой биографии, имя Петра в честь царя, его воспитателя; «но так как прежде, на родине, его именовали Ибрагимом, что по-арабски значит Авраам, и ввиду того, что он так долго оставался некрещеным <в Немецкой биографии ошибочно указан 1707 г. — В.Р>., то по общей привычке звать его Авраамом сохранилось за ним до самой смерти не новое, а старое имя; он даже получил затем разрешение именоваться и подписываться этим именем, и только в церковных книгах его называли Петром». Переводя это место, Пушкин допустил неточность («...но имея уже привычку называться Ибрагимом, с позволения Петра подписывался везде Ибрагимом...»),

которую перенес и в роман, где крещеный герой носит нехристианское имя. Писатель, очевидно, заметил эту несообразность, и в «Начале автобиографии» (между августом 1825 и августом 1827) она устранена. Возможно, этим объяснялась и замена инициала «И», которым был обозначен герой в отрывке, опубликованном в «Литературной газете», на литеру «Г» при перепечатке в «Повестях, изданных Александром Пушкиным» (СПб., 1834).

С.254. ...*в парижском Военном училище...* — А.П.Ганнибал учился сначала в Париже (1717—1718), где, однако, в то время еще не было военного училища; кто были наставники «арапа» в этот период, неизвестно; в 1720—1722 гг. он учился в артиллерийском училище в городе Ла-Фере (приблизительно в 120 км от французской столицы) под руководством профессора Белидора (1693—1761). Переводя немецкую биографию, Пушкин принял упомянутое в ней без указания места безымянное «дворянское военное училище» за хорошо известную в его время Ecole militaire, открытую в Париже в 1751 г. Эту ошибку он перенес и в роман.

С.254. ...*выпущен был капитаном артиллерии...* — В письмах из Парижа в 1722 г. Ганнибал сообщал, что имеет чин поручика, а в указе Петра I от 4 февраля 1724 г. говорилось, что «Абрам (арап)» «во Франции служил капитаном и привез свидетельство». Капитанский чин упоминается позднее в разных прошениях Ганнибала и его послужном списке. С другой стороны, в первоначальном примечании к 50-й строфе первой главы «Евгения Онегина», составленном в то время, когда Пушкин еще не располагал бумагами А.П.Ганнибала, указано, что прадед поэта «возвратился в Россию <...> с чином французского лейтенанта».

С.254. ...*отличился в Испанской войне...* — Война Франции, Англии, Австрии и Голландии против Испании (январь 1719 — февраль 1720, активные военные действия с апреля 1719 до января 1720) с целью заставить ее соблюдать условия Утрехтского мира (1713), определившие раздел так называемого «испанского наследства» (владений), за которое заинтересованные европейские державы вели долгую войну (1701—1713). А.П.Ганнибал получил тяжелое ранение в голову при взятии города Фуэнтерабии в Северной Испании. Пушкин повторяет ошибку немецкой биографии, в которой хронологически переставлены участие А.П.Ганнибала в этой войне и его последующие занятия в военном училище.

С.254. ...*неоднократно звал его в Россию <...> то недостатком в деньгах...* — В январе 1722 г. посланник во Франции В.Л.Долгоруков объявил учившимся там русским приказ Петра I выехать весною морем в Россию. В февральских письмах А.П.Ганнибал просил кабинет-министра А.В.Макарова получить для него у царя разрешение задержаться во Франции до конца года, «чтоб <...> видит хотя малую практику». Письма содержат также просьбы позволить ехать сушею и выдать деньги для оплаты долгов и на дорожные расходы. В ответ А.П.Ганнибал получил приказ Петра I вернуться в Россию в свите В.Л.Долгорукова. Не имеется никаких документальных подтверждений того, чтобы Петр I как-то выделял своим вниманием «арапа» из всех находившихся во Франции для обучения. Письма А.П.Ганнибала не были Пушкину известны.

С.254. ...*крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны...* — В очерке А.О.Корниловича «О частной жизни императора Петра I» говорилось: «Вообще Петр, щедрый в награждении заслуг, показывал чрезвычайную бережливость во всем, что касалось до него собственно». Письма А.П.Ганнибала из Франции полны жалоб на денежные затруднения и, даже делая

поправку на обычную для того времени манеру клянчить, свидетельствуют о том, что его материальное положение было далеко не блестящим.

С.254. *Герцог Орлеанский*, Филипп (1674—1723) — см. выше, с.422, коммент. к с.170.

С.254. *Пале-рояль* — дворец в Париже, подаренный в 1692 г. Людовиком XIV своему племяннику, герцогу Орлеанскому, по случаю его женитьбы. Ср. выше, с.444, коммент. к с.243.

С.254. *Laws* (Law John, 1671—1729) — шотландец по происхождению, в чьих прожестках герцог Орлеанский увидел средство привести в порядок истощенную и расстроенную государственную казну. Занимая ключевые финансовые должности, Ло выпустил в обращение огромное количество необеспеченных бумажных денег и акций возрожденной им Индийской компании. Акции имели первоначально большой успех, и спекуляция ими вызвала ажиотаж во всех слоях общества, в результате чего многие их держатели обогатились; но в середине 1720 г. компания лопнула, и все, кто в нее вложил свои капиталы, разорились. Употребленная Пушкиным форма «Laws» контаминирует правильное английское написание с французским «Lass» (см., например, у Вольтера в «*Precis du siècle de Louis XV*», ch.2), отражавшим утвердившееся во Франции произношение фамилии.

С.255. *Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин...* — Герцог Ришелье, Арман (1696—1788) — маршал Франции, известный многими крупными военными успехами, но и скандально знаменитый своими разгулами и любовными похождениями (ср. выше, с.422, коммент. к с.170). Пушкин повторяет распространное, видимо, сравнение герцога Ришелье с афинским политическим деятелем, блестящим полководцем, тщеславным авантюристом и беспутным гулякою Алкивиадом (V в. до н.э.), чье имя в нарицательном смысле вошло в обиход для обозначения человека, соединяющего выдающиеся способности с порочными наклонностями и безнравственным поведением. Антономасия (греч. переименование) «Новые Афины» была общепотребительна по отношению к Парижу по той роли, которую он играл в общественной и культурной жизни Франции и Европы.

С.255. *Temps fortuné, marqué par la licence...* — Цитата из тринадцатой песни поэмы Вольтера «Орлеанская девственница».

С.255. *Появление Ибрагима <...> общее внимание.* — В мемуарах эпохи Регентства не найдено никаких упоминаний о Ганнибале, так что комментируемая фраза отражает, возможно, фамильные предания, достоверность которых, если они действительно существовали, не поддается проверке. Во всяком случае, постоянные денежные затруднения должны были бы служить препятствием активной светской жизни, а в 1719—1720 гг., когда материальное положение Ганнибала было, кажется, удовлетворительным, т.к. он получал жалованье, находясь на французской службе, он вообще отсутствовал в Париже. Тем не менее эти доводы не могут считаться достаточными для опровержения сведений, проводимых в романе.

С.255. *...le Nègre du czar...* — Пушкин был убежден, что его прадед был негром. См. в послании «Юрьеву» (1820): «А я, повеса вечно-праздний, / Потомок негров безобразный...» На самом деле, А.П. Ганнибал был абиссинцем, т.е. принадлежал к племени, родственному арабам, хотя и с некоторой примесью негритянской крови.

С.255. ...он присутствовал <...> Фонтенеля... — Пушкин вводит Ибрагима в среду вольнодумной интеллектуальной и литературной элиты Франции, так называемое общество Тампля — кружок, исповедовавший эпикурейство и философское свободомыслие; знаменитые ужины, на которых царила насмешка над всем и вся, проходили в Париже в замке Тамль, резиденции герцога Вандомского. *Аруэт* (Arouet; принятая в настоящее время русская форма: Аруэ) — настоящая фамилия Вольтера, принявшего псевдоним в 1718 г. Молодой «Аруэт» упоминается здесь Пушкиным как модный в описываемые годы автор стихов в духе культивировавшейся кружком «легкой поэзии», проникнутой эпикурейскими мотивами и содержащей едкие сатирические выпады против регента и его двора. *Шолье* Гийом (1639—1720) — аббат, поэт, писавший, несмотря на свое духовное звание, в жанрах «легкой поэзии», проповедуя наслаждение жизнью и свободомыслие. *Монтескье* Шарль-Луи (1689—1755) — французский писатель, философ, публицист, в описываемое время — автор популярной литературной новинки — романа «Персидские письма» (1721). В период работы над «Арапом Петра Великого» Пушкин обращался к сочинениям Монтескье (их видел на столе поэта А.Н.Вульф), ища в них, возможно, материал для характеристики эпохи. *Фонтенель* Бернар (1657—1757) — французский писатель и ученый; в своих трудах, написанных изящным языком светских салонов, популяризировал новейшие астрономические знания и теории («Беседы о множественности миров», 1686), подвергал рационалистической критике фанатизм и суеверие («История оракулов», 1687), отстаивал достоинство литературы «новых» в их споре с «древними» («Свободное рассуждение о древних и новых авторах», 1688).

С.255. ...*при выходе ее из монастыря*... — Во Франции девицы из дворянских семей обычно воспитывались в монастырях.

С.256. *Разговор его был прост и важен*... — Эта фраза повторена дословно в «Заметке о холере» (предположительно 1831).

С.256. *Ему было двадцать семь лет от роду*... — Указывая возраст Ибрагима, Пушкин не имел в виду точно приурочить начало любовной интриги к определенному году. Даже если бы он и поставил себе целью соблюдение в романе исторической хронологической канвы, он этого не смог бы сделать, поскольку располагал противоречивыми и не согласующимися данными о годе рождения и датах других событий в жизни его прадеда. Пушкин не вполне доверял указанию Немецкой биографии, согласно которой Ганнибал умер в 1781 г. на 93-м году, т.е. родился в 1689 г., и на полях сокращенного перевода сделал расчет, исходя из того, что в год смерти Петра I (1725) Ганнибалу было 28 лет и в другом варианте 26 лет. Получив из первого подсчета 1697 г., он был рядом с наиболее вероятным годом рождения — 1696.

С.256. ...*любовь без надежд и требований*... — Парафраза слов героя романа Б.Констана «Адольф»: «Я ни на что не надеюсь, ничего не прошу...» («Je n'espere rien, je ne demande rien...»), которые также процитированы в «Каменном госте» (сц. III, 94—95):

Я не питаю дерзостных надежд,
Я ничего не требую...

С.258—259. *Это было письмо Петра Первого. <...> написал обо всем русскому царю*. — Этот фрагмент имеет основу Немецкую биографию, где говорилось: «...просвещение, роскошь и самый климат Франции остановил <и> молодого

арапа — и для того он отлагал свое возвращение, то под предлогом болезни, то неокончания наук. Петр угадал причину сию, и писал Регенту, что он Анниб<ала> принуждать никак не намерен вступить в свою службу, что он совершенно свободен и что предоставляет он все его совести. — Герцог показал Ганнибалу сие письмо. Ганнибал немедленно оставил службу, благодарив [Регента] французов за [его] их ласки и честь».

С.259—260. *Зачем силиться <...> едва удостоенного названия человека?* — Ср. в письме к В.П.Зубкову (1 декабря 1826) о чувстве, которое в то время питал Пушкин к своей дальней родственнице С.Ф.Пушкиной: «Мне 27 лет <...> Пора жить, т.е. познать счастье. <...> Следует ли мне связать с судьбой столь печальной, с таким несчастным характером — судьбу существа такого нежного, такого прекрасного?..» (подлинник по-французски).

С.260. *В ту же ночь он отправился в Россию.* — А.П.Ганнибал выехал в Россию в свите посланника В.Л.Долгорукого в начале января 1723 г.

С.260. *Оставалось двадцать восемь верст до Петербурга.* — В Немецкой биографии говорилось: «Государь поехал к нему навстречу с Екатериной до 27 версте до Красного села». На самом деле, когда Ганнибал вернулся в Россию, Петр находился в Москве, где В.Л.Долгоруков представлялся ему 27 января 1723 г. Эта вымышленная деталь, как и ряд других подобных, должна была служить возвеличиванию А.П.Ганнибала и с ним его рода. Впрочем, по предположению Н.Я.Эйдельмана, в памяти потомков Ганнибала могли слиться приезд посольства в Москву и более поздняя торжественная встреча, которую Петр I, очень довольный В.Л.Долгорукиным и приехавшим из Берлина А.Г.Головкиным, устроил своим дипломатам в Петербурге. Велел им обоим «в назначенный день одновременно приехать в Петербург, выехал к ним навстречу за несколько верст от города, в богатой карете, в сопровождении отряда гвардии; им было оказан особый почет» (*Бантыш-Каменский Д.Н.* Словарь достопамятных людей русской земли. М., 1836. Ч. 2. С. 266; *Эйдельман Н.Я.* Пушкин: История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984. С. 341).

С.260. *...в зеленом кафтане...* — В первоначальном варианте было «в зеленом мундире», затем «в зеленом фр.<анцузском> кафтане», после чего вычеркнуто прилагательное «французском». Эти изменения опирались на разные сведения, которые Пушкин находил в очерках А.О.Корниловича, служивших ему источниками исторических реалий. В очерке «Об увеселениях русского двора при Петре I» упоминалось, что в зеленый мундир Петр I был одет в день Полтавской битвы и его же носил на празднике в 1721 г. в честь этой победы. Сочтя военный мундир, очевидно, не подходящим для описываемой ситуации, Пушкин обратился к очерку «О частной жизни императора Петра I», где говорилось, что летом Петр носил «французский кафтан из толстого сукна серого или темного цвета с фабрики купца Серикова». Этот вариант также не удовлетворил Пушкина, поскольку встреча Петра с Ибрагимом происходит в романе осенью. Окончательное решение было, возможно, подсказано рассказом А.О.Корниловича «За богом молитва, а за царем служба не пропадают», где Петр I находится зимою в пути «в зеленом суконном кафтане» (Полярная звезда: Карманная книжка на 1825-й год для любителей и любителей русской словесности / Изданная А.Бестужевым и К.Рылеевым. СПб., [1825]. С. 161).

С.260. *...с глиняною трубою во рту...* — Эта деталь присутствует в очерке Корниловича «О частной жизни императора Петра I»: «Он позволял иностран-

ным шхиперам свободный к себе доступ; охотно слушал рассказы о их путешествиях, об опасностях плавания по Балтийскому морю, и не раз за кружкой вина, с глиняною трубкою в зубах, проводил целые вечера в таковых беседах.

С.260. ...*читал гамбургские газеты*. — В очерке Корниловича рассказывалось, что после обеда Петр I «обыкновенно читал голландские газеты». Замена их на «гамбургские» (вполне вероятно, машинальная) была вызвана, по всей видимости, тем, что последние (а именно «*Staats-und Gelehrte Zeitung des hamburgischen unparteyischen Correspondenten*», не позднее 1728—1868; пер.: Политическая и ученая газета гамбургских беспартийных корреспондентов) широко читались в России как в XVIII в., так и в пушкинское время и пользовались большим авторитетом в качестве источника информации о событиях в мире. «Гамбургская газета» лежала на столе в конфетной лавке, куда имел обыкновение заходить И.П.Белкин из «Истории села Горюхина» (см. с.297.).

С.260. ...*поцеловал в голову*. (Ср. далее, с.271: ...*по своему обыкновению поцеловал ее в голову*...) — Об этой характерной привычке Петра I дважды упоминается в очерке «О частной жизни императора Петра I».

С.260. ...*которая подымалась из болота по манию самодержавия*. — Очевидно, реминисценция начальных строк стихотворения П.А.Вяземского «Петербург» (соч. август 1818, напеч. 1824):

Я вижу град *Петров* чудесный, величавый,
По манию Петра воздвигшийся из блат.

Тема основания Петербурга на болотах становилась в литературе общим местом. Ср., например:

...огромный сей колосс,
На зыбкой персти утвержденный
.
Где ил тонул под серым мхом...

(Бобров С.С. «Торжественный день столетия от основания града св. Петра мая 16 дня 1803»);

И родится чудо-град
Из неплодных топей блата
(Шевырев С.П. «Петроград». 1829).

С.260. *Обнаженные плотины <...> Дома казались наскоро построены*. — Это описание Петербурга не вполне соответствует подлинному облику новой столицы в начале 1720-х гг., когда герой романа возвращается из Франции. Однако, если даже Пушкин и представлял (в чем нет уверенности) реальную картину Петербурга описываемых лет, ему важна была не дотошная историческая точность, а некий обобщенный образ петровской эпохи, который передавал бы впечатление о великих преобразованиях и динамичном становлении нового. Этой художественной задаче и отвечала нарисованная беглыми штрихами панорама поднимающегося на берегах Невы города, где все находится в процессе строительства и состоянии незавершенности. Фраза «...являли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий» — развивает мысль П.А.Вяземского, выраженную в следующих строках его стихотворения «Петербург»:

Искусство здесь везде вело с природой брань
И торжество свое везде знаменовало;
Могущество ума — мятеж стихий смиряло...

С.260. ...*так называемого Царицына сада*. — Царицыным садом называлась часть Летнего сада за рекой Мойкой (на месте нынешнего Михайловского сада и Садовой улицы), подаренная Петром I Екатерине. Дворец Екатерины, построенный в 1711 г., находился на берегу Мойки, недалеко по правую сторону от того места, где ныне проходит Садовый мост.

С.260—261. ...*женщина лет тридцати пяти*... — Во времена Пушкина год рождения Екатерины I (1684) не был точно известен, а действие романа тоже не приурочено к конкретному году; поэтому и говорится о возрасте Екатерины неопределенно.

С.262. *Узнала ли ты, Катенька*... — Так называет Петр жену в очерке Корниловича «О частной жизни императора Петра I».

С.262. *Екатерина устремила на него черные, пронизательные глаза*... — Сочетание «черные, пронизательные глаза» повторено в черновом и беловом автографах «Отрывка из неизданных записок дамы». В печатном тексте — парафраза (см. с.241).

С.262. *Лиза, — сказал он <...> Великая княжна засмеялась и покраснела*. — Основанием для этого вымышленного эпизода послужили фразы в Немецкой биографии, подчеркивавшие особо благосклонное отношение к А.П. Ганнибалу Елизаветы: «Императрица Елизавета отличала его ото всех, называла братом и осыпала его своими милостями. <...> Петр, умирая, просил об нем свою наследницу и Великую Княжну Елизавету дабы его как чужестранца —————». Елизавета не могла помнить «маленьким» арапа, которому к моменту ее рождения (1709) было уже не менее 13 лет. Не мог он воровать яблоки в Ораниенбауме, т.к. город был заложен в 1714 г., всего за три года до отъезда А.П.Ганнибала во Францию. Отметивший эти анахронизмы В.С.Листов справедливо полагает, что, «по-видимому, отсвет какого-то лицейского происшествия падает на страницы романа о царском арапе» (*Листов В.С. К истолкованию «исторических неточностей» в «Борисе Годунове» и «Арапе Петра Великого» // Болдинские чтения, [1984]. Горький, 1985, С.180*). Из воспоминаний и писем современников Пушкина известно, что Александр I выговаривал директору Лицея за то, что лицеисты крали в его саду наливные яблоки. Не лишено оснований остроумное предположение В.С.Листова, согласно которому существовали «юные красавицы», кого этими яблоками угощали лицеисты.

С.262. ...*вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества*... — Возможно, в этой фразе содержится скрытое упоминание анекдота, который позднее был включен Пушкиным в «Table-talk»: «Однажды маленький арап, сопровождавший Петра I в его прогулке, остановился за некоторою нуждою...» (См.: *Левкович Я.Л. Принципы документального повествования в исторической прозе пушкинской поры // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1969. Т.6. С. 183*).

С.262. *После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел отдохнуть*. <...> *Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, все ли им предполагаемое на сей день исполнено*. — В этом фрагменте детали заимствованы из очерка «О частной жизни императора Петра I». Закончив послеобеденное чтение газет, Петр «уходил на свою яхту, стоявшую перед дворцом, ложился тут и отдыхал час или два. <...> В четыре часа уходил он в токарную или в кабинет: сюда приходили

к нему по делам канцлер граф Головкин, вице-канцлер барон Шафиров и Т.С.Остерман, генерал-прокурор Ягужинский, генерал-фельдцейгмейстер граф Брюс, граф П.А.Толстой, сенатор князь Я.Ф. Долгорукий, князь Меншиков, генерал-полицмейстер Девиер или другой кто-нибудь из его министров. <...> Окончив дела государственные, Петр разворачивал свою записную книжку, в которой отмечал все, что ему приходило в тот день на мысль, и, удостоверившись, что все, означенное в ней, исполнено, остальное время дня посвящая собственным занятиям. <...> По деятельности Петра, по его любви ко всему полезному вы можете судить, сколько занятия сии были разнообразны...»

С.262. *...великопленного князя Меншикова, который, увидя арана, разговаривающего с Екатериной, гордо не него покосился...* — В этой фразе прилагательное «великопленный» характеризует любовь к пышности, отличавшую, на фоне личной скромности Петра I в быту, его ближайшего сподвижника Александра Даниловича Меншикова (1672—1729). Передаваемая глаголом «покосился» ревнивая настороженность, с которой вельможа встречает царского любимца, задумывалась, очевидно, зерном последующей откровенной вражды, находящей выход в гонениях на Ибрагима. Такая сюжетная линия, если она действительно замышлялась автором, имела бы основание в биографии А.П.Ганнибала, который в Петербурге вошел в кружок княгини А.П.Волконской, объединявший противников Меншикова. В 1727 г., после смерти Екатерины I, Меншиков сослал Ганнибала в Сибирь, где он пробыл три года. В Немецкой биографии об этом говорилось глухо: «Меньщикова под предлогом благовидным сослал Африканца на берега Амура, мерить Китайские границы, препоручение найденное токмо для его удаления».

С.262. *...князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра...* — Представление о сподвижнике Петра I, президенте ревизионной комиссии, ведавшей государственным контролем, сенаторе Якове Федоровиче Долгоруком (1659—1720) как о государственном деятеле, отличавшемся прямою и честностью, имевшем мужество твердо отстаивать свою позицию, оспаривать решения царя и говорить ему в глаза правду, основывалось на цикле анекдотов о нем, собранных и опубликованных И.И.Голиковым. «Сей великий муж, которому лесть и клевета никогда приступны не были, — писал Голиков, — нередко раскаленный гнев государев правотою своею укрощал и мудрыми противуречиями своими склонял его отменять даже и данные уже им указы свои, кои не были довольно обдуманы или были тягостны народу». Среди нескольких поступков, которыми подтверждается эта характеристика «нашего Катона», наибольшую известность приобрел как самый показательный случай с подписанным Петром I в отсутствие Долгорукого в Сенате указом, обязывавшим помещиков Новгородской и Петербургской губерний предоставлять крестьян на постройку Ладожского канала. На следующий день Долгоруков возражал против решения Сената на том основании, «что таковое повеление противно государственной пользе, и что о том должно государю непременно и в самой скорости доложить, дабы не поспешествовать конечному разорению сих и без того уже пред прочими истощенных губерний»; когда же, «дабы убедить его, что того переменить уже нельзя, предложили ему подписанное самим царем определение», он, «следуя единой ревности своей к пользе общей», разорвал указ. Пришедший в этот момент Петр выслушал доводы Долгорукого и отменил свое распоряжение. В очерке «О частной жизни императора Петра I» приводился следующий отзыв Петра о

Долгоруком: «Князь Яков в Сенате <...> прямой помощник. Он судит дельно и мне не потакает; без красноречия режет прямо правду, несмотря на лицо». В качестве бесстрашного и нелюбимого советника Я.Ф. Долгоруков упоминается в стихотворениях «Стансы» (1826), «<Мордвинову>» («Под кладом старости утрюмо угасал...», 1826), «Моя родословная» (1830).

Упоминание Я.Ф. Долгорукого в числе лиц, которых встретил Ибрагим во дворце, представляет анахронизм, т.к. сенатор умер 24 июня 1720 г., за два с половиною года до возвращения А.П. Ганнибала из Франции. Эта хронологическая неувязка могла быть сознательной или возникнуть неумышленно в результате незнания даты смерти; но и во втором случае сам факт того, что Пушкин не счел нужным ее уточнить, свидетельствует о том, что он жертвовал исторической точностью ради создания обобщенного образа петровской эпохи.

C.262. ...ученого Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом... — Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — сподвижник Петра I, полководец, дипломат, государственный деятель. Славу «русского Фауста», т.е. чернокнижника и колдуна, подобного немецкому ученому доктору Иоганну (или Георгу, или Иоганну Георгу) Фаусту (ум. около 1540), герою легенд и народных книг, продавшему, по преданию, душу дьяволу, принесли Брюсу его ученые занятия, в том числе ночные бдения в Сухаревой башне для наблюдения за светилами. Молва приписывала ему общение с нечистой силой, наделяла его даром прорицания и владением тайной живой воды, утверждала, что он сделал для Петра I куклу, которая могла ходить и говорить.

C.262. ...молодого Рагузинского, бывшего своего товарища... — Под молодым Рагузинским имеется в виду Ефим Иванович Владиславич (Рагузинский, 1691—1749), один из попутчиков мальчика Ганнибала в переезде из Константинополя в Россию, куда их привез Савва Лукич Владиславич (около 1670—1738), дядя Ефима Ивановича, с 1711 г. — граф Рагузинский, приближенный Петра I, дипломат. В Немецкой биографии говорилось: «В сие время посланник послал Ибрагима Аннибала, другого арапа и еще одного Рагузинца. <...> Петр, по своей прозорливости, увидел тотчас расположения детей, Аннибала как живого, смелого назначил в военную службу, Рагузинца тихого, рассудительного, глубокомысленного в статскую — и сей был известен впоследствии под именем графа Рагузинского». В действительности Е.И. Владиславич был определен на военную службу, достиг чина генерал-поручика, но не принадлежал к кругу непосредственных соратников Петра и потому не мог бы присутствовать на обеде во дворце в том окружении, которое показано в романе. Автор Немецкой биографии не различал дядю и племянника и контаминировал их в одно лицо. Поскольку в комментируемой фразе говорится о «молодом» Рагузинском, Пушкин отличал его от «старшего», но, видимо, нечетко и переносил на него, следуя Немецкой биографии, служебное и общественное положение последнего. Вместе с тем Пушкин владел и какими-то иными, отличными от Немецкой биографии сведениями, так как в «Начале автобиографии» написал, что его прадед был отослан к Петру «вместе с двумя другими арапчатами». Действительно, как можно понять из опубликованного в 1867 г. письма переводчика Посольского приказа Николая Спафария Милеску (1636—1708), дядя с племянником и мальчик Ганнибал прибыли в Москву разными путями, причем прадед поэта — в числе трех «арапчиков». Что из этого мог знать Пушкин и с какого времени — не выяснено.

С.262. *Девьер* Антон Мануилович (1682—1745) — петербургский генерал-полицмейстер.

С.262. ...*ночуй здесь, как бывало в старину*. — В Немецкой биографии рассказывалось: «Ганнибал, неразлучный с императором, спал то в его кабинете, то в его *токарне* и вскоре потом сделался тайным секретарем своего императора. Государь имел всегда над своей постелью аспидную доску; государь писал ночью приходившие ему мысли, а Аннибал утром переписывал и рассылал по разным коллегиям». Об этом же говорилось в анекдоте «Неусыпность великого государя в трудах», записанном И.И. Голиковым со слов М.И. Веревкина, которому «сей Ганнибал сам предал <...> сей анекдот, рассказывая всегда оный со слезами».

С.263. ...*поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном*. — А.П.Ганнибал был произведен «порутчиком бомбардирскую роту к инженерам» через год после возвращения из Франции: указ был подписан 4 февраля 1724 г. В черновике Пушкин написал: «...поздравил его порут. <чиком> etc.» По-видимому, на этой стадии он опирался на имевшуюся в его распоряжении копию прошения 1742 г., в котором Ганнибал писал, что «служил лейб-гвардии в Преображенском полку в бомбардирской роте порутчиком»; помета «etc.» отсылала к Немецкой биографии, где об этом говорилось подробнее: «...сделал его (28 лет) бомбардирской роты л.г.Преображенского полка, коего полка сам Петр был капитаном, капитан-лейтенантом, в коем чине мог он государя всегда видеть без доклада». Перерабатывая черновой текст в беловой, Пушкин обратился к Немецкой биографии и в соответствии с нею изменил чин, полученный Ибрагимом. По петровской Табели о рангах чин поручика в артиллерии (равный лейтенанту в пехоте и лейтенанту инженерскому также в артиллерии) относился к XII, а капитан-лейтенанта — к X классу; однако в перечне чинов X класса значился, наряду с капитан-лейтенантом, также и лейтенант. Здесь, может быть, лежит причина допущенной в Немецкой биографии ошибки. Вполне вероятно, что на склоне лет А.П.Ганнибал сам путал эти чины; во всяком случае, еще в 20-е гг., именуясь в официальных документах и подписываясь бомбардир-поручиком, он в посвящении к своему рукописному учебнику по геометрии и фортификации назывался лейтенантом. В списках Преображенского полка он официально числился лейтенантом.

С.263. ...*Шереметев осведомился о своих парижских знакомых...* — Логика создания художественного образа петровской эпохи должна была, как можно предположить с большой степенью вероятности, подсказать Пушкину ввести в роман самого выдающегося из рода Шереметевых в то время, сподвижника царя-реформатора — Бориса Петровича Шереметева (1652—1719), генерал-фельдмаршала, прославленного победами в Северной войне, человека ярко выраженной западной ориентации. То обстоятельство, что он не бывал во Франции и умер еще до возвращения А.П. Ганнибала из-за границы, не могло воспрепятствовать Пушкину, свободно отступавшему от исторической точности, свести с ним в романе Ибрагима. В отличие от большинства комментаторов, одинаково пояснявших это упоминание фамилии «Шереметев», Б.В. Томашевский допускал, что Пушкин имел в виду сенатора Ивана Петровича Шереметева (1689—1735), служившего в Адмиралтействе и в молодости проведшего восемь лет за границу, преимущественно в Голландии и Лондоне (*Пушкин А.С. Соч.: В 3 т. М.; Л.: Изд-во детской литературы, 1937. Т.3. С. 669*); впрочем, высказав

единожды это предположение, ученый на нем, кажется, не настаивал и в печати не повторял.

C.263. *Головин Иван Михайлович* (1672—1737), бывший денщик Петра I, позднее адмирал, был известен своей любовью поеть. На дочери И.М. Головина был женат прадед поэта по отцовской линии Александр Петрович Пушкин (после 1686—1725), зарезавший ее в припадке безумия в 1725 г

C.263. *Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная.* — Возможно, реминисценция следующего фрагмента повести французского писателя Шарля Нодье «Зальцбургский художник» (1803): «Восхитительная и прелестная это вещь следовать за ходом мысли великого гения, быть в чем-то причастным к его открытиям и под его руководством дойти до таких пределов, каких без него достичь было бы невозможно» (пер. Б.В.Томашевского; в подлиннике: «C'est une chose admirable et pleine de charme que de suivre un grand génie dans sa course, d'être en quelque sorte associé à ses découvertes, et de parvenir avec lui à des distances auxquels on n'aurait jamais pu attendre sans guide»).

C.263. *...оспориваемого Бутурлиным...* — Пушкин опирается на очерк «О частной жизни императора Петра I», где рассказано, как сенатор Иван Иванович Бутурлин (1661—1738), невзирая на гнев Петра I, отважно раскрыл ему правду о поборах с населения ему на подарок.

C.263. *...с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Копиевичем...* — Пушкин называет трех видных просветителей петровского времени. *Феофан* (Прокопович, 1681—1736) — церковный деятель, писатель, идеолог просвещенного абсолютизма и активный проводник политики Петра I. *Гавриил* (Бужинский, около 1680—1731) — иеромонах, переводчик ряда фундаментальных трудов западно-европейских ученых, блестящий проповедник, восхваляющий в своих исполненных гражданском пафоса «словах» петровские преобразования и победы. *Копиевский* (Копиевич) *Илья Федорович* (1651—1714) — переводчик и книгоиздатель, основавший в Амстердаме русскую типографию; после переезда в Россию — переводчик Посольского приказа; во времена Пушкина дата смерти Копиевича не была известна, так что допущенный в романе анахронизм был неумышленным.

C.263. *...в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов...* — В очерке «О частной жизни императора Петра I» рассказывалось: «...вставал летом и зимою в три утра и ходил час по комнате; читал в это время „С.-Петербургские ведомости“, которым иногда сам держал корректуру, или пересматривал в рукописи переводы книг, сделанные по его повелению».

C.263. *Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка...* — О трудах своего прадеда Пушкин имел представление из находившейся в его распоряжении копии письма Екатерины II к А.П. Ганнибалу от 2 сентября 1765 г. «Мне не безызвестно, — писала императрица, — что многие чертежи в сохранении вашем находились в то время, когда блаженные памяти государь Петр Великий, по способности вашей, употреблял вас по многим делам». Это письмо Пушкин упомянул в набросках статьи «Опровержение на критики» (1830).

C.264. *...молодой Корсаков...* — Прототипом этого персонажа был Воин Яковлевич Римский-Корсаков (1702—1757), посланный во Францию для изучения военно-морского дела в 1716 г. и вернувшийся в июне 1724 г. Основу художественного образа Пушкину дал анекдот, прочитанный им в книге И.И.Го-

ликова (см. ниже, с.463, коммент. к с.267); она обросла деталями, заимствованными у А.О. Корниловича и к историческому лицу отношения не имевшими.

C.264—265. *...я застал его <...> отроду со мною не случилось.* — Подобный прием был оказан бранденбургскому посланнику фон Принцу, который, опоздав на назначенную ему во дворце в 4 часа утра аудиенцию, отправился в Адмиралтейство, где, как рассказано в очерке «О частной жизни императора Петра I», «принужден был по веревочной лестнице взбираться на грот-мачту, и государь, сев на бревно, принял от него верующую грамоту и обыкновенные при подобных случаях приветствия под открытым небом, на корабельном марсе». В том же очерке упоминается о «холстинной куртке», в которой Петр работал «плотником на Заандамской верфи».

C.265. *...будь моим Ментором...* — Упомянув к месту в нарицательном смысле имя наставника Телемака, сына Улисса (Одиссея), Корсаков рисует своей западноевропейской образованностью, выставляя знакомство с пользовавшимся огромным успехом романом французского писателя Фенелона (1651—1715) «Приключения Телемака» (1699), в котором Ментор, сопровождая своего воспитанника в странствиях, объясняет ему нравы, обычаи, государственное устройство посещаемых ими народов.

C.265. *...ассамблея была дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных.* — В очерке «О увеселениях русского двора при Петре I» говорилось: «В то время указами предписываемо было участвовать в забавах двора <...> одна только болезнь извиняла отсутствующих». Эти сведения дополнялись в очерке «О первых балах в России»: «В день ассамблеи являлся к хозяину в два часа обер-полицмейстер с пятью канцеляристами, которые записывали приезжающих, для того чтоб потом донести о сем государю».

C.265. *...уже половина шестого; мы опоздаем...* — Согласно указу, приводимому в очерке «О первых балах в России», ассамблеи было предписано начинать «не ранее 4 или 5 часов пополудни», но любой мог приходиться «в котором часу ему угодно». «В три начинали съезжаться <...> В 6 часов приезжал император и немного спустя — государыня с великими княжнами...», так что к тому времени, когда на ассамблею попадают Ибрагим с Корсаковым, вся императорская семья должна уже присутствовать там в полном составе, как и показано в романе.

C.265. *...башмаки с красными каблуками...* — Во Франции, откуда вернулся Корсаков, были модными высокие каблуки красного цвета, считавшиеся отличительной чертой щегольского костюма. Ср. в «Евгении Онегине» (IV,7):

Ловласов обветшала слава
Со славою красных каблуков
И величавых париков.

C.266. *...освященной сальными свечами...* — См. выше, с.401, коммент. к с.71.

C.266. *...вельможи с голубыми лентами <...> и полосатых панталонах...* — Излагая в очерке «О первых балах в России» содержание указа об ассамблеях, А.О.Корнилович писал: «В ассамблеи могут приходиться: чиновные особы, все дворяне, известнейшие купцы, корабельные мастера и канцелярские служители с женами и с детьми». О голубой ленте через плечо см. выше, с.401, коммент. к с.71.

C.266. *...при непрерывном звуке духовой музыки.* — В том же очерке говорилось: «Музыка на ассамблеях была большею частью духовая...»

C.266. ...молодые блистали <...> около шеи. — Детали этого описания заимствованы из того же очерка: «Представьте себе женщину, стянутую узким костяным кирасом, исчезающую в огромном фишбейне, с башмаками на каблучках в полтора вершка вышины <...> Робы делались большею частию из одной с корсетом материи, с длинными шлейфами, парчовые или штофные, шитые золотом, серебром, а иногда унизанные жемчугом и драгоценными камнями и обложенные богатыми кружевами. <...> Волосы покрывали пудрою или, оставляя в природном виде, переплетали их бриллиантами и жемчугом. Вообще пышность в нарядах заменяла красоту».

C.266. ...царицы Натальи Кириловны... — Речь идет о матери Петра I, урожд. Нарышкиной (1652—1694).

C.266. Государь был в другой комнате. <...> За одним из сих столов Петр играл в шашки... — В очерке «О первых балах в России» говорилось: «Ассамблеи устроены были следующим образом. В одной комнате танцевали; в другой находились шахматы и шашки; в третьей трубки с деревянными спичками для закуривания, табак, рассыпанный на столах, и бутылки с винами». Здесь же отмечалось, что Петр I не любил карт и «предпочитал им шашки, а особенно шахматы, игру любимую им до чрезвычайности и в которой он почти не находил себе равного».

C.266. ...толстый господин, с толстым букетом на груди... — В том же очерке А.О.Корнилович упомянул букет цветов как атрибут царицы бала, которая «распоряжалась танцами».

C.267. Во всю длину танцевальной залы <...> приказал музыкантам играть менуэт. — Эта сцена основывается на описании церемониальных танцев в очерке «О первых балах в России»: «...становились как в экзекуе; при степенной музыке мужчина кланялся своей даме и потом ближайшему кавалеру; дама его следовала тому же примеру, и, сделав круг, оба возвращались на свое место. Сии поклоны, повторенные всеми, заключались польским; тогда маршал, заведовавший праздником, громко объявлял, что церемониальные танцы кончились».

C.267. ...кусал себе губы. — Калька французского выражения «se mordre les levres», означающего в переносном смысле «с трудом удерживаться от смеха».

C.267. ...ты провинился <...> подобает даме, а не кавалеру... — В очерке «О первых балах в России» говорилось: «В менуэтах дамам предоставлен был выбор. <...> мужчина, желавший танцевать с дамою, подходил к ней не прежде, как после трех церемониальных поклонов».

C.267. ...должен выпить кубок большого орла. — В этом же очерке несколько раз упоминается о том, что виновные в разных проступках должны были в наказание осушать «кубок большого орла». Само название заимствовано Корниловичем в перефразированном виде у И.И.Голикова, который, цитируя неназванного иностранного автора, излагавшего содержание распоряжения А.М.Девьера (см. выше, с.459, коммент. к с.262) от 26 ноября 1718 г. «О порядке собраний в частных домах и о лицах, которые в оных участвовать могут», писал о наказании «опорожнить большого орла (бокал)». В подлинном распоряжении употреблено выражение «под штрафом великого орла», где прилагательное «великий» следует понимать в значении «государственный», «гербовый». Название бокала произошло, вероятно, от изображенного на крышке или гравированного на стенке государственного герба — двуглавого орла. Подобные кубки имеются в собрании Эрмитажа.

С.267. «*Послушай, Корсаков <...> чтоб я с тобой не поборанлся*». — Пушкин опирается на анекдот, записанный И.И.Голиковым (№ 109) со слов сенатора И.И.Неплюева, которому об этом действительном событии рассказал сам его виновник: «Воин Яковлевич Корсаков, в молодых годах посланный от него <Петра I> во Францию курьером, по возвращении своем явился к монарху, имея на себе нижнее платье бархатное. Великий государь, расспрося его о всем, что было нужно в отношении посылки его, сказал: „Корсаков! Штаны-то на тебе такие, каких не носит и государь твой. Смотри, чтоб я с тобою не поборанлся; это пахнет мотовством; я вить знаю, что ты не богат“».

С.268. *Нескоро ели предки наши...* — Эпиграф к четвертой главе — строки из поэмы «Руслан и Людмила» (I, 45—48).

С.268. *...познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским*. — По предположению Н.К.Телетовой, выбор имени, отчества и фамилии этого персонажа был подсказан Пушкину отложившимся в его памяти визуальным восприятием надписи на надгробной плите на могиле его прадеда Юрия Алексеевича Ржевского (1674—1729), где были высечены инициалы «Г.А.» (первый соответствовал церковному имени Георгий, которому эквивалентен Юрий). Вымышленный персонаж выбрал в себя, по мнению исследовательницы, некоторые черты как Ю.А.Ржевского, так и его отца, окольного Алексея Ивановича Ржевского (около 1638—1690). О первом из них Пушкин и его сестра слышали рассказы бабушки М.А.Ганнибал, происходившей из рода Ржевских (Телетова Н.К. Забытые родственные связи А.С.Пушкина. Л., 1981. С.96, 100—102).

С.268. *Он происходил от древнего, боярского рода <...> обычай любезной ему старины*. — В этой характеристике, конкретизируемой в дальнейшем описанием домашнего уклада Г.А.Ржевского, отражены черты князя Федора Юрьевича Ромодановского (около 1640—1717) как он представлен в очерке А.О.Корниловича «О частной жизни русских при Петре I».

С.268. *Еще ребенком лишилась она матери*. — Мотив дочери, растущей без матери, введен Пушкиным для оправдания сердечного своеволия девушки, немислимого в противном случае в условиях старинного русского уклада. Начиная с «Арапа Петра Великого», этот мотив пройдет в разных вариациях в ряде произведений Пушкина («Гости съезжались на дачу...», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», «Русалка», «Дубровский», «Пиковая дама»). См.: Петрунина Н.Н. Проза Пушкина (пути эволюции). Л., 1987. С.108—109.

С.268. *...не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме*. — В очерке «О первых балах в России» указывалось: «Пленные шведские офицеры, находившиеся в Петербурге, первые учили танцевать русских дам и кавалеров; они долго были единственными танцорами в ассамблеях». В образе Густава Адамовича отразились, по-видимому, семейные реминисценции: в доме Ю.А.Ржевского жили пленные шведы, а такое же отчество носили пять двоюродных братьев и сестер поэта (Телетова Н.К. Указ. соч. С.94—95). Хромота придана этому персонажу, возможно, по аналогии с реальным лицом — популярным в Петербурге танцмейстером Василием Михайловичем Балашовым (1762—1835), чья нога была повреждена упавшим обломком театральной кулисы (Альтман М.С. У истоков творчества Пушкина: Штрихи и заметки // Болдинские чтения, [1977]. Горький, 1978. С.104).

С.268. *...под Нарвою...* — Речь идет, видимо, о взятии Нарвы русской армией в июле 1704 г., когда в плен попало большое число шведских офицеров. Мало-

вероятно, чтобы имелось в виду сражение под Нарвою в ноябре 1700 г.: условия капитуляции не позволили бы побежденным увести с собою раненого пленного офицера-шведа, а с покалеченной ногою он вряд ли участвовал бы в дальнейших кампаниях и попал в плен позднее.

С.269. *В старинной зале...* — В петербургском доме не могло, разумеется, в начале 1720-х гг. быть *старинной* залы. Эпитет, являющийся анахронизмом, если понимать его в буквальном смысле, служит художественной деталью, подчеркивающей жизненный уклад семьи Ржевских, и его появление в тексте романа не может быть объяснено лишь «исторической обмолвкой», как его назвал С.А.Ауслендер (*Пушкин А.С.* [Полн. собр. соч.] / Под ред. С.А.Венгерова. СПб., 1910. Т.4. С.111). По мнению Д.П.Якубовича, определение «старинная» употреблено в значении «в старинном роде обставленная» (*Якубович Д.П.* «Арап Петра Великого» // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1979, Т.9. С.281). Не лишено, вероятно, основания предположение, согласно которому эта деталь появилась в романе «под напором чисто московских впечатлений» Пушкина (*Листов В.С.* К истолкованию «исторических неточностей»... С.182). Как справедливо замечено тем же исследователем, анахронизмом эта деталь выступает лишь в контексте всего романа, а в опубликованном отдельно отрывке «Обед у русского боярина» этот эффект исчез, т.к. без предшествующих «петербургских» глав «за стенами дома Ржевских трудно вообразить Васильевский остров, зато легко представить себе Мясницкую, Разгуляй или Тверскую».

С.269. *...жалел, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уже из обыкновения.* — Об этом обычае упомянуто в очерке «О частной жизни русских при Петре I».

С.269. *...поминная счастливые времена местничества...* — Местничество — в Московском государстве XV—XVII вв. порядок замещения государственных должностей в соответствии со знатностью рода и должностями предков; этим же определялось место, занимаемое в заседании на пиру; отменено в 1682 г.

С.269. *...карлица, тридцатилетняя малютка...* — Введение в роман этого персонажа, который должен был играть, по всей видимости, роль наперсницы героини, Натальи Гавриловны, а затем и сводни, отчасти было подсказано, без сомнения, подробным рассказом о придворных лилипутах в очерке «Об увеселениях русского двора при Петре I». Рассказ предварялся замечанием: «В конце XVII века карлы и шуты были еще в употреблении при всех европейских дворах. Оттого вы встретите их во множестве и у нас, как при дворе, так и в частных домах». Четырех «карлов» держал, например, в своем нижегородском доме прадед Пушкина Ю.А.Ржевский.

С.269. *...в ту же минуту старая женищина, набеленная и нарумяненная, убранный цветами и мишурою, в штофном робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая.* — В том же очерке говорилось: «Шуты, или, как их тогда называли, дураки, были едва ли не в большем числе, нежели карлы. При дворе и во всяком почти доме находились шуты или шутики. <...> В праздничные дни или когда случались гости, дура, разряженная как 18-летняя девушка, забавляла собрание прыжками, кривлянием и пением. Преимущественно старались выбирать для сего старых женщин, полагая, что чем дура старше, тем она охотнее к рассказам и тем забавнее в пляске».

С.269. *...Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважаемая.* — По предположению Н.К.Телетовой, этот персонаж назван именем Тать-

яны Алексеевны Репниной (около 1663—1715), старшей сестры Ю.А.Ржевского, которая, как допускает исследовательница, жила после смерти мужа у брата (Телетова Н.К. ~~Забыв~~ забытые родственные связи... С.101).

С.270. *Кирилла Петровича Т.* — Намеченный в «Арапе Петра Великого» несколькими беглыми штрихами, этот персонаж был позднее перенесен Пушкиным в роман «Дубровский», где он стал Троекуровым. Фамилия Троекуров упоминается также далее, в пятой главе (см. с.273).

С.270. *Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностью молодой женщины.* — В очерке «О частной жизни русских при Петре I» говорилось, что женщины, получив указами Петра I равные права с мужчинами, «одетые в европейские платья, выученные танцевать и говорить по-немецки <...> радовались большей свободе; но, несмотря на все старания государя, по привычке или следуя внушению старушек, сохранили в обращении с мужчинами некоторую дикость, подерживаемую господствовавшим в то время мнением».

С.270. *...а ее с барабанным боем требуют на ассамблею...* — В очерке «О первых балах в России» А.О.Корнилович писал, что об ассамблее «извещали <...> барабанным боем по городу, или на перекрестках улиц прибывались к домам приглашения ко всем проходящим».

С.270. *...слово апостольское: жена да убьется своего мужа...* — Послание к Ефесеянам св. апостола Павла, V, 33.

С.270. *Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами?* — Реплики Татьяны Афанасьевны и Кирилла Петровича развивают, а комментируемая фраза почти дословно повторяет следующее замечание в очерке «О первых балах в России»: «...красавицы наши <...> втайне радовались большей свободой. С другой стороны, матушки, воспитанные по старине, неохотно повиновались воле государевой и жаловались на развращенное время, в которое девушкам позволялось, не краснея, разговаривать и даже (чего, боже сохрани!) прыгать с молодыми мужчинами».

С.271. *...не мог остановиться у ворот да потрудиться пешком дойти до крыльца...* — Эта фраза восходит к характеристике Ф.Ю.Ромодановского в очерке «О частной жизни русских при Петре I»: «Никто не смел взехать к нему на двор. Сам Петр, навещая князя-кесаря, оставлял одноколку свою у тесовых ворот его и пешком подходил к его дому». Ср. ниже, с.469, коммент. к с.276.

С.271. *...раздался громозвучный голос Петра...* — Фраза повторена в «Полтаве»: «Раздался звучный глас Петра» (III, 181).

С.271—272. *Что же? Я вам помешал. <...> вторично пригласил гостей продолжать обед.* — Здесь и далее Пушкин опирается на детали, приведенные в очерке «О частной жизни императора Петра I». Придя в гости (рассказывалось в очерке), Петр, «если находил хозяина за обедом, то без чинов садился за стол; приказывал подавать себе то же, что подносили другим, толковал с мужем, шутил с женою, заставлял при себе читать и писать детей, требуя, чтоб обходились с ним без чинов». Дважды идет в очерке речь об анисовой водке: «В 4 или 5 часов Петр, без чаю и кофею, выпив рюмку анисовой водки, отправлялся <...> смотреть производившиеся в Петербурге работы <...> В 11 часов Петр обыкновенно уходил из Сената, причем подносили ему рюмку анисовой водки и крендель». О привычке царя выпивать «пред кушаньем <...> по рюмке анисовой водки» писал также И.И.Голиков в «Деяниях Петра Великого» (СПб., 1788. Ч.5. С.376). Упо-

минание о приверженности Петра I именно этому, одному из дешевых сортов водки оттеняло его личную простоту, неприязнительность и бережливость.

С.272. Петр сел подле хозяина <...> другого прибора, кроме своего. — В очерке «О частной жизни императора Петра I» упоминаются щи среди обычных блюд, которые были «любимыми блюдами Петра, необходимым условием его обедов». Там же говорится: «У прибора его клались всегда деревянная ложка, оправленная слоновою костью, ножик и вилка с зелеными костяными черенками, и дежурному денщику вменялось в обязанность носить их с собою и класть перед царем, даже если ему случалось обедать в гостях».

С.272. ...разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. — Предметом беседы был, по-видимому, поход шведской армии под командованием Карла XII в Курляндию и Литву; однако речь могла идти о действиях русской армии против шведов в Лифляндии, где под руководством Б.П.Шереметева были одержаны первые победы.

С.273. ...блинников... — «Блинниками» Ржевский презрительно называет людей простого происхождения, поднявшихся при Петре на высокие должности (намек на А.Д.Меншикова, который мальчиком торговал в Москве на улицах пирогами вразнос).

С.273. ...царь приезжал ее сватать. — Историческую основу этого вымышленного эпизода составил опубликованный И.И.Голиковым анекдот (№ 31 «Щедрость монарха в награждении заслуг») о том, как Петр I сватал невесту своему ординарцу А.И.Румянцеву.

С.274. ...внучку мою выдать за купленного арапа! <...> с знатным выкупом и ... — Слухи, которые пересказывают здесь персонажи романа, повторяют то, что писал Пушкин в первом издании первой главы «Евгения Онегина», когда располагал еще очень приблизительными, собранными лишь из семейных преданий сведениями о своем прадеде: «...Абрам Петрович Аннибал на 8 году своего возраста был похищен с берегов Африки и привезен в Константинополь. Российский посланник, выручив его, послал в подарок Петру Великому, который крестил его в Вильне. Вслед за ним брат его приезжал сперва в Константинополь, а потом и в Петербург, предлагая за него выкуп; но Петр I не согласился возвратить своего крестника». Когда Пушкин работал над романом, в его распоряжении уже была Немецкая биография, где некоторые факты этого периода жизни А.П.Ганнибала излагались несколько иначе: «Родом был африканский арап из Абиссинии, сын в тогданные времена сильного Владельца в Абиссинии, столь гордого своим происхождением, что выводил оное прямо от Аннибала. Сей Владелец был вассалом Оттоманской империи в конце прошедшего столетия, взбунтовавшимся противу турецкого правления, вместе со многими другими князьями, утесненными налогами. После многих жарких битв сила победила. И сей Ганнибал, 8 лет, как меньшой сын Владельца, вместе с другими знатными юношами, был отвезен в залог в Константинополь. <...> Петр имел горесть видеть, что подданные его упорствовали к просвещению, желал показать сим пример над совершенно чуждою порождою людей и писал к своему посланнику, чтоб он прислал ему арапчика с хорошими способностями. <...> Между тем один из его братьев наследовал их престарелому отцу. В сие время посланник послал Ибрагима Аннибала, другого арапа и еще одного рагузинца. Император был чрезвычайно доволен и принялся с большим вниманием за его воспитание <...> В сие время брат его, полагая его в Константинополе и, вероятно, побуж-

денный к тому матерью сего последнего, послал брата для искупления сего нового Иосифа. Он приехал и в Петербург, но, к сожалению двух братьев, горячо простившихся навеки, Петр его не отпустил». Сведения Немецкой биографии Пушкин считал, конечно, более точными и потому на них опирался позднее в «Начале автобиографии»; однако в романе предпочтение отдано менее достоверным преданиям, поскольку художественная логика требовала, чтобы окружающие «царского арапа» персонажи знали его историю лишь понаслышке, расщепленную всевозможными вымыслами и догадками. Экскурсы В.В.Набокова в историю Эфиопии конца XVII в. привели его к выводу о том, что в это время знатный абиссинский владетель не мог быть вассалом Турции, платить ей дань или посылать в Константинополь заложников; по мнению исследователя, более вероятно, что прадед Пушкина был похищен и продан в рабство (*Nabokov V. Pushkin and Gannibal // Encounter. 1962. July. № 106. P.17-19*). С другой стороны, Н.П.Хохлов указал, что в конце XVII — начале XVIII в., в Абиссинии, при негусе Великом, широко практиковался торг детьми и, кроме того, негус отдавал дворянам приказы о посылке детей на учебу и службу в Европу. В 1701 г. партию эфиопских детей вез во Францию Мурат бен Магделуна, армянин, племянник одного из министров негуса; но правитель Мекки отобрал у него детей, и он же отправил в Турцию партию африканцев то ли в дар, то ли в уплату подати. Журналист высказывает предположение, что среди них мог быть прадед Пушкина (*Хохлов Н.П. Наши Ганнибалы // Дружба народов. 1978. № 5. С.234—235*).

С.274. ...слыхали мы сказки про Бову-королевича да Еруслана Лазаревича. — Фольклористика не располагает сведениями об устном бытовании этих сказок в петровскую эпоху. Не имел таких сведений и Пушкин, спроецировавший на нее в романе известный ему популярный сказочный репертуар своего времени. Тем не менее, учитывая давность существования и широкого распространения этих сюжетов в рукописных и печатных изложениях, в предположении автора «Арапа Петра Великого», что в старинных боярских домах рассказывались те же сказки, нет ничего невероятного.

С.274. ...отец его во время бунта спас мне жизнь... — Из контекста складывается впечатление, что Валериан осиротел, когда его отец был казнен за участие в стрелецком бунте. В этом случае, рассуждая логически с учетом всех хронологических деталей, речь в комментируемой фразе должна идти о восстании 1698 г.: если в это время Валериан был малышом, то мальчиком мог забавляться стрельбой из игрушечной пушечки с пленным шведом (см. с.280) и к моменту завязки романа стать молодым человеком, каким он является в седьмой главе. Если же предположить, что подразумевается восстание 1682 г., то ко времени пленения шведа (ср. выше с.463—464, коммент. к с.268.) Валериану было бы от 18 до 22 лет, а к первому появлению в романе — за сорок. Однако точные хронологические выкладки, вероятно, не имели, с точки зрения Пушкина, значения для концепции романа, и потому он, по всей видимости, не имел в виду какое-либо конкретное восстание. В этом смысле справедливо мнение, согласно которому в 1827 г. Пушкин не проводил различия между первым и вторым стрелецкими восстаниями (*Латкина Г.А. К истории создания «Арапа Петра Великого» // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1958. Т.2. С.302*).

С.275. ...я родился под <***> градусом? — Пушкин оставил в рукописи пробел, рассчитывая уточнить географические координаты места рождения

своего прадеда, очевидно, по указанию в его прошении Елизавете (январь 1742), которое начиналось словами «Родом я нижайший из Африки, тамошнего знатного дворянства, родился во владении отца моего, в городе Логоне, который и кроме того имел под собою еще два города». Страна, откуда вел происхождение А.П.Ганнибал (Абиссиния), была названа и в Немецкой биографии (см. выше, с.466, коммент. к с.274). В первой публикации романа было напечатано «под знойным градусом»; этот редакторский вариант повторялся во всех дореволюционных изданиях, кроме «Библиотеки великих писателей» под ред. А.С.Венгера; а после 1917 г. — в довоенных шеститомных собраниях сочинений, изданных журналом «Красная нива» и издательством «Художественная литература», в шести- и девяти томных собраниях издательства «Academia». Разысканиями Д.Н.Анучина было уточнено, что город Логон должен был находиться в одноименном округе в Абиссинии (названной позднее Эритреей) на берегу реки Марреб приблизительно под 15-м градусом северной широты (*Анучин Д.Н.* А.С.Пушкин: Антропологический эскиз. М., 1899. С.15—16; ср.: *Хохлов Н.П.* Присяга просторам. М., 1973. С.55—70). На этом основании в изданные Б.В.Томашевским и К.И.Халабаевым в 1924 г. «Сочинения» А.С.Пушкина был введен вариант: «под [15] градусом», который прошел через все издания этого однотомника, был повторен Б.В.Томашевским в однотомниках 1936 и 1938 гг. и возобновлен после войны в так называемом «малом академическом» собрании сочинений со второго его издания (1957), причем с опущением скобок, означавших редакторское происхождение вставленной в текст цифры. Однако предпринятое В.В.Набоковым фронтальное изучение записок о путешествиях по Эфиопии и составленных в разные времена карт не выявило никаких упоминаний ранее XVIII в. населенных пунктов, которые хотя бы по созвучию можно было отождествить с городом, указанным А.П.Ганнибалом в качестве места своего рождения. С другой стороны, обнаружилось, что Д.Н.Анучин ошибся и принял за Логон два города: Logo и Logote (Legote), располагавшиеся поблизости один от другого, но упоминаемые только с XIX в. По заключению исследователя, не исключена вероятность, что существовали и другие городки, названия которых были сходны с «Логон», и потому невозможно определить точно, где именно в Северной Абиссинии родился А.П.Ганнибал (*Nabokov V.* Op. cit. P.14; *Pushkin A.* Eugene Onegin / Tr. with a Commentary, by V.Nabokov. New York, 1964. Vol.3. P.398-405). Вместе с тем, по сообщению журналиста Н.П.Хохлова, среди эфиопской интеллигенции бытует убеждение, что прадед Пушкина «вывезен из Лого, из семьи Бахар Негаша», а деревня, так называемая по племени, к которому принадлежат ее жители, расположена в четырех километрах от Дебарвы (*Хохлов Н.* Наши Ганнибалы // Дружба народов. 1978. № 5. С.232).

С.276. *От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снихождением.* — Ср. письмо Пушкина к будущей теще Н.И.Гончаровой от 5 апреля 1830 г.: «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца» (подлинник по-французски).

С.276. *...который, отпустив сани, шел за ним...* — В очерке «О частной жизни императора Петра I» говорилось: «Случалось ли ему иметь к кому-нибудь дело,

вельможе, купцу или ремесленнику, он часто, взяв с собою камышовую трость с набалдашником из слоновой кости, более известную под именем *дубинки*, отправлялся к нему запросто пешком».

С.276. *Завтра поезжай к своему тестю; <...> поговори с ним о его заслугах, о знатности...* — Пушкин опирается на рассказанный И.И. Голиковым анекдот (№ 99 «Монарх издевается над старинною спесью боярскою») о князе Иване Борисовиче Репнине, «муже, знаменитостию рода, заслугами и старостию почтенному», который «имел непреоборимую упорность, чтоб не следовать нововводимым обычаям, обрядам и образу жизни; а для сего не принял <...> от его величества новых чинов и званий иностранных, предпочитая всем титулам титуло Ближнего Боярина». «В одно время Великий государь любимому денщику своему Павлу Ивановичу Ягужинскому сказал: „Хочешь ли, Ягужинский, нынешний день получить знатный подарок?“ — „Кто б сего не хотел?“ — отвечив Ягужинский. — „Так слушай же. Старик Репнин ныне недомогает; поезжай к нему и спроси от меня о здоровье, но умеи угодить старинной его боярской суетности; оставь лошадь у ворот и взойди на двор пеший и без шляпы; вели о себе доложить, что ты прислан от государя спросить о здоровье его сиятельства. Тебя будут просить к нему; но ты скажи, что недостойн увидеть очей его боярских, и не прежде взойди, как по двукратному зову, а взойдя, с раболепным видом ставши у дверей, поклонись ему об ручку; и если старик велит тебе сесть, отнюдь не садись, говоря, что ты недостойн толикой чести; — и я уверяю, что не отпустит он тебя с пустыми руками“». Поступив в точном согласии с советами Петра, Ягужинский был на самом деле щедро одарен польщенным боярином.

С.278. *С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплюснутым носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..* — О внешности А.П. Ганнибала Пушкину, без сомнения, рассказывала и бабушка Мария Алексеевна, и няня Арина Родионовна. Анализируя портретные изображения, отождествлявшиеся с прадедом автора «Арапа Петра Великого», Н.К. Телетова пришла «с уверенностью» к выводу «о знакомстве поэта с живописным полотном, где с Петром I соседствует темнокожий подросток, черты лица которого соответствуют описанию внешности Ибрагима в романе Пушкина» (*Телетова Н.К. Ганнибалы — предки А.С. Пушкина // Белые ночи: Очерки, зарисовки, документы, воспоминания/ Сост. И.И. Слобожан. Л., 1978. С. 260*). По мнению исследовательницы, Пушкин знал и предполагаемое изображение А.П. Ганнибала на картине неизвестного художника XVIII в., представляющей Петра I — победителя турок под Азовом и шведов под Полтавою (там же, с. 271). Однако, связывая с впечатлением от этого полотна переданный в письме Л.С. Пушкину (конец января — начало февраля 1825) совет Рылееву «в его новой поэме <«Войнаровский»». — *В.Р.* поместить в свите Петра I нашего дедушку», Н.К. Телетова не уточняет, когда и при каких обстоятельствах Пушкин до отъезда в южную ссылку был в Зимнем дворце, где в Романовской галерее постоянно находилась указанная картина; между тем без этого обоснования предположение не имеет никакой опоры. Не исключена вероятность того, что комментируемое описание возникло в большой степени под влиянием общего представления Пушкина о чертах негров, а также его раздумий о собственной наружности, от которой он сильно страдал (см.: *Цявловская Т.Г. Рисунки Пушкина. 4-е изд., стереотип. М., 1987, С. 340—341; Букалов А.М. Роман о царском арапе: Очерки истории одного пушкинского шедевра. М., 1990.*

С. 21—38). Пушкин был уверен в своем сходстве с африканским предком и, рисуя его в черновом автографе «Арапа Петра Великого», придал ему свой профиль (см.: *Томашевский Б.В.* Автопортреты Пушкина // Пушкин и его время / Изд. Всесоюзного музея А.С. Пушкина. Л., 1962. Вып. I. С. 324; *Жуйкова Р.Г.* Автопортреты Пушкина: (Каталог) // Временник Пушкинской комиссии, 1981. Л., 1985. [Вып. 19]. С. 102. № 59).

С.278. *...не твоя печаль чужих детей качать...* — Эта пословица, наряду с другими, была записана Пушкиным в 1825 г.

С.279. *...все движения шестнадцатилетнего своего сердца.* — В четвертой главе (с.268) говорилось, что девушке «было семнадцать лет от роду».

РОМАН В ПИСЬМАХ

Напечатано посмертно П.В. Анненковым (с многочисленными неточностями и большими пропусками): *Пушкин А.С.* Сочинения. СПб., 1857. Т. 7.

Общее заглавие и заголовки отдельных писем в рукописи отсутствуют, они даны редакторами.

«Роман в письмах» писался, видимо, во второй половине октября — начале ноября 1829 г. (перед первым письмом стоит дата «21 октября», перед третьим — «[30 окт.] 1 ноября»), когда Пушкин гостил в селе Павловском — имении своего хорошего знакомого Павла Ивановича Вульфа (1775—1858) в Старицком уезде Тверской губернии.

С.283. *Уединение мне нравится на самом деле, как в элегиях твоего Ламартина.* — Сборники стихов французского поэта-романтика Альфонса де Ламартина (1790—1869) «Поэтические размышления» (1820) и «Новые поэтические размышления» (1823) имели в России модный успех, особенно у женщин. Тем не менее Лиза принадлежала к числу более спокойных его читательниц («твоего Ламартина») и, видимо, разделяла в какой-то мере скептицизм автора, писавшего о «сладкозвучном, но однообразном Ламартине» («Об Альфреде Мюссе», 1830) и его «тощем и вялом однообразии» («Начало статьи о В. Гюго», 1832).

С.283. *Крестовский остров.* — Крестовский остров в устье Средней и Малой Невки был в пушкинское время дачной местностью петербуржцев.

С.284. *...я похожа на героиню только тем, что живу в глухой деревне и разливаю чай, как Кларисса Гарлов.* — Кларисса, героиня эпистолярного романа английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1689—1761) «Кларисса, или История девушки» (1747—1748, 7 т.), дочь сельских дворян, «обладающая всеми природными и приобретенными воспитанием достоинствами, украшающими женский пол», становится объектом настойчивых ухаживаний молодого, привлекательного в своей дерзостной безнравственности аристократа Ловласа, развратника и циника. Семья противится их браку, и послушная Кларисса отвергает его домогательства, однако, питая к нему чувство, в конце концов бежит с ним из дома, становится его любовницей, страдает от стыда и умирает. Ловлас убивает на дуэли ее двоюродный брат. В одном из первых своих писем (т. 1, письмо от 25 февраля) она упоминает, что всегда разливала чай за семейным столом.

С.284. *...Алексею Р — ?* — Если верно предположение относительно инициала «Р» в пятом письме (см. ниже, с.472, коммент. к с.286—287), то здесь, как и в четвертом письме, под именем Алексея Р— выведен сам Пушкин.

С.284. *Я познакомилась с семейством * * *. <...> воспитанная на романах и на чистом воздухе.* — Эти строки почти дословно входят и в набросок «В начале

1812 года...» (август — октябрь 1829 г.), а позднее перешли с переработкою в рукопись «Метели», где в одном из вариантов приобрели следующий вид: «...жил в своем поместье добрый Гаврила Гаврилович Р** с женою, веселой и еще свежей бабою, большой охотницей до виста, и с 17-летней дочерью, меланхолической девицей, стройной и бледной». Ср. начало «Метели».

С.284. ...и *Адольфом?* — Эгоцентричный герой одноименного романа Бенжамена Констан (см. выше, с.410, коммент. к с.129) влюбляет в себя, для самоутверждения, Элленор, живущую в долгой, прочной связи со своим покровителем и имеющую от него детей. Сам себе внушая к ней чувство, он своею настойчивостью преодолевает ее сопротивление. Элленор все бросает ради него, он же начинает ею тяготиться, но не в силах с нею порвать. В развязке — смерть героини. В рецензии на русский перевод «Адольфа», написанной вскоре после «Романа в письмах» (конец декабря 1829), Пушкин, цитируя еще не опубликованную седьмую главу «Евгения Онегина» (строфа XXII), отнес это произведение «к числу *двух или трех романов*,

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой
Себялюбивой и сухой,
Мечтаньям преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом».

С.285. ...*ты не можешь вообразить, что значит ожидание почтового дня в деревне.* — Ср. подобное замечание в «Выстреле» (с.112).

С.285. Он привязался к *леди Пелам, приезжей англичанке...* — первый след в произведениях Пушкина его знакомства (во французском переводе) с романом английского писателя Эдуарда Джорджа Булвера-Литтона (1803—1873) «Пелэм, или Приключения джентльмена» (1828).

С.285. ...*жила бы на Аглинской набережной...* — Английская набережная по левому берегу Невы вниз от Медного всадника до Ново-Адмиралтейского канала (с 1919 — наб. Красного флота), аристократический район Петербурга, где жили наиболее состоятельные представители высшего светского общества.

С.286. Он *аристократ, а я смиренная демократка.* — Слово «демократка» употреблено здесь иронически в том же смысле, какой в стихотворении «Моя родословная» (3 декабря 1830) будет иметь рефрен «Я мещанин». Захиревшее старинное дворянство противопоставляется цветущему новому.

С.286. Я *короче познакомилась с Машенькой ***...* — Предполагаемый прототип Машеньки — Екатерина Васильевна Вельяшева (1813—1865), дочь старичьего исправника, с которой Пушкин встречался, гостя осенью 1829 г. в Тверской губернии. 16 октября он писал о ней А.Н. Вульф: «Гретхен хорошеет и час от часу делается невиннее».

С.286. *Читая ее романы, я нахожу на полях его замечания, бледно писанные карандашом...* — Ср. в не опубликованной еще ко времени работы над «Романом в письмах» седьмой главе «Евгения Онегина» (строфа XXIII):

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;

Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей...

С.286. *Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки — и вышел бы прекрасный, оригинальный роман.* — Эту программу сам Пушкин реализует в «Повестях Белкина».

С.286—287. *Скажи это от меня моему неблагородному Р**. — Предполагается, что здесь инициал — буква латинского алфавита, подразумевающая фамилию Пушкина.

С.287. *...В* и П*...* — П.А. Вяземский и Пушкин.

С.287. *...и принялась за критики «Вестника Европы»...* — Речь идет о громких рецензиях Н.И. Надеждина на «Графа Нулина» (Вестник Европы. 1829. № 2—3) и «Полтаву» (№ 8—9). Пушкин отвечал на них в недописанной статье «Опровержение на критики» (осень 1829). Ср. упоминание второй из этих рецензий в «Путешествии в Арзрум» (с.237).

С.287. *...семинарист важно упрекает...* — Н.И. Надеждин был сыном священника, учился в духовной семинарии и академии. В своих нападках на него Пушкин неоднократно обыгрывал этот момент его биографии (см. эпиграммы «Мальчишка Фебу гимн поднес...», «В журнал совсем не европейский...», статью «Отрывок литературных летописей» — все 1829).

С.287. *...нахожу толпу гостей, уланские мундиры, дамы меня окружают...* — Позднее, 21 августа 1833 г., Пушкин писал жене из Павловского: «Назад тому пять лет Павловское, Малинники и Берново наполнены были уланами и барышнями...».

С.288. *...разве не аристократка?* — В черновой рукописи далее обыгрывалась острота Д.В. Давыдова, вынесенная впоследствии эпиграфом ко второй главе «Пиковой дамы» (см. выше, с.423, коммент. к с.173): «Недавно кто-то напомнил эпиграмму Д. какой-то спелой кокетке, которая смеялась над его демократическою склонностью к субреткам: *que voulez-vous, madame, elles sont plus fraîches* — Многие приняли сторону дам большого света — утверждали, что любовь питается блеском и тщеславием».

С.288. *...Р объявил однажды себя на стороне аристокрации, потому что она лучше обувается.* — Как и выше, инициал «Р» может здесь обозначать фамилию Пушкина. В черновом автографе к этому месту была отдельная запись: «неопрятная обувь в женщине доказывает или недостаток воспитания, или неуважение приличиям — в обуви дозволяется кокетство...»

С.289. *Форнарина (итал. булочница)* — прозвище возлюбленной итальянского художника Рафаэля Санти (1483—1520), служившей ему моделью для многих картин. Ее настоящее имя неизвестно, а прозвище она получила по профессии отца.

С.289. *...монастырке...* — Монастырками назывались воспитанницы Смольного института — закрытого женского учебного заведения, помещавшегося до 1808 г. в здании, построенном для женского Смольного монастыря.

С.289. *Петербург прихожая, Москва девичья...* — Перенесено из рукописи «Отрывков из писем, мыслей и замечаний» (1827), где имело следующий вид: «М. девичья, а П. прихожая» (в прижизненную публикацию «Отрывков...» этот афоризм не вошел).

С.289—290. *Да какой гордости воспоминаний ожидать от народа <...> Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей.* — Эти мысли по

поводу надписи на памятнике Минину и Пожарскому работы И.П. Мартоса (1818) на Красной площади в Москве будут развиты Пушкиным в августе — сентябре 1836 г. в примечании к статье М.П. Погодина «Прогулка по Москве», которая предназначалась для третьего тома «Современника», но в нем не появилась.

С.290. *Северин* Дмитрий Петрович (1792—1865) — чиновник Коллегии иностранных дел, с 1826 г. — поверенный в делах в Швейцарии; знакомый Пушкина по Петербургу и югу в конце 1810-х — начале 1820-х гг. Северин был с Пушкиным в спорченных отношениях и не откликнулся на просьбу А.И. Тургенева и П.А. Вяземского в июле 1824 г. ходатайствовать о том, чтобы поэта не высылали из Одессы. В комментируемых словах повторяется первая строка эпиграммы «Жалоба» («Ваш дед портной, ваш дядя повар...», 1823).

С.290. *Но я согласен с Лабрюером...* — Литературная мистификация: у французского писателя Жана де Лабрюйера (1645—1696), автора книги «Характеры, или Нравы нынешнего века» (1688), нет изречения, подобного здесь приведенному; Пушкин сам сочинил эту фразу, о чем свидетельствует работа над нею в рукописи.

С.290. *Между ими процветают еще Простаковы и Скотинины!* — Прием характеристики провинциального дворянства через персонажей комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» Пушкин пользовался и ранее, описывая гостей, приехавших к Лариным на праздник: «Скотиновых чета седая» («Евгений Онегин», V, 26.5).

С.290. *...барыни ко мне так и льнут, «А потому, что патриотки».* — Цитата из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 5, слова Фамусова о дочках):

Французские романсы вам поют,
И верхние выводят нотки,
К военным людям так и льнут,
А потому, что патриотки.

С.291. *Un homme sans peur et sans reproche, / Qui n'est ni roi, ni duc, ni comte aussi.* — Двустипшие составлено из двух самостоятельных фраз, представляющих собою девизы французских дворянских родов Баярдов (первая строка) и Куси (вторая строка; в полном виде:

Je ne suis roi, ne duc, ne comte aussi,
Je suis le sire de Coucy).

С.291. *Охота тебе корчить з. Фобласа...* — Имеется в виду герой многотомного флигельно-авантюрного романа французского писателя Жан-Батиста Луве де Кувре (1760—1797) «Любовные похождения кавалера де Фобласа» (1787—1790, 13 т.). В нарицательном смысле Фоблас — легкомысленный, безнравственный волокита.

С.291. *...на ci-devant гвардии хрипуна 1807 г.* — Слово из офицерского жаргона начала XIX в., означавшее столичного гвардейского офицера, отличавшегося блестящей военной выправкой, светским щегольством и особой манерой говорить с хрипотцой. По свидетельству П.А. Вяземского, оно было введено в употребление генерал-майором Конногвардейского полка А.И. Раевским: «Слово *хрип* также его производства; оно означало какое-то хвастовство, соединенное с высокомерием и выражаемое насильственной хрипlostью голоса». Год 1807-й сохранялся в памяти современников Пушкина как год войны с Наполеоном в

Восточной Пруссии и завершившего ее Тильзитского мира (8 июля), по которому Пруссия лишалась половины своей территории, а Россия и Франция обязались помогать друг другу.

С.291. ...*которая возвратилась из Рима, влюбленная в папу.* — По-видимому, намек на знакомую Пушкина, хозяйку литературно-музыкального салона в Москве, княгиню Зинаиду Александровну Волконскую (1789—1862), жившую в Риме в 1820—1822 гг., уехавшую в Италию в феврале 1829 г. и в 1833 г. перешедшую там в католичество, которое привлекало ее еще с 1810-х гг. Увлечение католицизмом было сильно в русском великосветском обществе в 1820-е гг.

С.291. ...*cum servo servorum dei?* — Формула «Servus Servorum Dei» (слуга слуг божьих) — самоназвание папы, употребляемое в его указах.

С.291—292. *Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде.* — В 1818 г. наблюдался подъем общественно-политических интересов в русском обществе: был основан декабристский Союз Благоденствия; в марте Александр I произнес в Польском сейме речь с обещанием ввести в России конституционный строй, что дало толчок открытому обсуждению возможности политических реформ; вышла книга помощника статс-секретаря Государственного совета, члена Союза Благоденствия Николая Ивановича Тургенева (1789—1871) «Опыт теории налогов», пробудившая интерес к политической экономии.

С.292. *Смит Адам* (1723—1790) — английский экономист, автор классического труда «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776).

С.292. *Эти девушки, выросшие под яблонями <...> мнения своих мужьев.* — В переработанном виде эти строки перешли в «Барышню-крестьянку» (см. с.150).

ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА

Напечатано посмертно (с пропусками, ошибками, неправильной последовательностью частей, под редакторским заглавием «Летопись села Горохина»): «Современник». 1837. Т. 7.

Писалось осенью 1830 г. в селе Болдине после окончания «Метели» (см. выше, с.406). На рукописи стоят даты: 31 октября и 1 ноября.

Из составленного Пушкиным плана произведения (возможно, неполного) остались нереализованными пункты:

Приезд моего прадеда тирана
Ив. В Т — дед мой управл <яет> Пожар
Соседи — Повальн <ая> болезнь. Церк. <овная> Ист. <ория>
Отец мой. Стар <оста> <?> При. <казчик> Бунт.

На полях плана приписки:

Приказчик
<нрзб.> барщ. <ина>
Мужики разоре <ны>
Была богатая вольная деревня
Обеднел <а> от тиранства
Поправилась от стр. <огости>
Пришла в упадок от нерадения —

На рукописи имеются относящиеся к плану и не реализованные полностью пометы: «Статистическое обозрение Горюхина. Нравы его обитателей», «Число жителей. Архитектура. Церковь деревянная», «Торговля, браки, похороны, одежда, язык, поэзия». На обложке сделаны цифровые подсчеты для состояния Горюхина, исходя из площади 240 десятин (Пушкин основывался на данных Болдина по состоянию имения к пятой ревизии, проходившей в 1794 г.).

О названии села в рукописи см. выше, с.407, коммент. к с.106.

С.294. ...1801 года апреля 1 числа... — Дата рождения «1 апреля» подчеркивает «несерьезный», т. е. пародийный, характер произведения, вышедшего из-под пера человека, который появился на свет в день обманов, розыгрышей и шуток. В предисловии «От издателя» к «Повестям Белкина» год рождения Ивана Петровича Белкина изменен, а число и месяц не указаны.

С.294. ...*Новейшего письмовника*... — Имеется в виду книга педагога и просветителя, преподавателя Морского кадетского корпуса Николая Гавриловича Курганова (1725 ?—1796) «Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезнозабавного вещесловия» (4-е изд. СПб., 1790; 11-е изд. М., 1837; первое изд. под загл.: Российская универсальная грамматика, или Всеобщее писмословие... с семью присовокуплениями разных учебных и полезнозабавных вещей. СПб., 1769; второе и третье изд. под загл.: Книга писмовник, а в ней наука российского языка с семью присовокуплениями разных учебных и полезных вещей). Кроме грамматики русского языка эта своеобразная популярная энциклопедия содержала собрание русских пословиц, обширную подборку переводных анекдотов, шванков, факций, афоризмов и т. п., хрестоматию русской поэзии, научно-популярные статьи по разным предметам, «Словотолк русский» и др. В низовой читательской среде «Письмовник» пользовался большой популярностью. Известно, держал ли Пушкин в руках саму книгу или знал о ней лишь понаслышке, но ее заглавие он исказил, видимо, намеренно, по образцу заглавий собственно письмовников (например: Новейший полный письмовник, или всеобщий секретарь, содержащий в себе подробное наставление, как сочинять и писать всякого рода письма. СПб., 1810. Ч. 1—3; Новейший самый полный и подробный письмовник, или всеобщий секретарь, содержащий в себе письма всякого рода, в общежитии употребляемые... М., 1812—1813, Ч. 1—2; и др.). Во всяком случае, в наброске «Если звание любителя отечественной литературы...» (1827), с которым генетически и текстуально связаны начальные абзацы «Истории села Горюхина», как и в эпиграмме «Литературное известие» («В Элизии Василий Тредьяковский...», 24 февраля 1829), название приведено верно. Не был Пушкин, кажется, знаком с единственной в его время печатной биографией Н.Г. Курганова (*Берх В.Н.* Жизнеописание Н.Г. Курганова. СПб., 1829), а его представление об авторе «Письмовника» как о мелкотравчатом литераторе и сочинителе неприличной эпитафии попу (как указано в «Отрывке», написанном 26 октября 1830) сложилось, вероятно, из слухов и ходивших устных рассказов. Именно Курганова Пушкин пользовался в 1829 г. в своих сатирических выпадах против журнала «Вестник Европы», спровоцированных грубыми рецензиями Н.И. Надеждина на «Графа Нулина» и «Полтаву» (эпиграмма «Литературное известие»; набросок «< Общество московских литераторов >», вторая половина декабря).

С.294. *Племянников Петр Григорьевич* (ум. 1773), генерал-аншеф, вступивший в службу солдатом в 1725 г. и уволенный в отставку в 1773 г., участвовал во всех войнах России и был одним из лучших боевых генералов русской армии.

С.294. *...как некоего древнего полубога...* — Курганов приравняется к герою античной мифологии, заслужившему своими подвигами бессмертие и взятому на небо.

С.294. *Нибур Бартольд Георг* (1776—1831) — немецкий ученый, основатель критического метода в изучении истории, который он применил в своем знаменитом капитальном труде «Римская история» (1811. Т. 1—2; 2-е изд. 1827—1830; Т. 3. 1832), открывшем перед историографией новые горизонты и возможности. Отказавшись от пересказа античных историков, пересмотрев и отвергнув многие предания и легендарные сообщения, игнорируя догадки и построения ученых нового времени, он воссоздавал раннюю историю Рима на основе детального и строгого критического анализа сохранившихся (во многих случаях отрывочных, разрозненных) документальных и материальных свидетельств, оперируя методом индукции, аналогии (для объяснения некоторых явлений в Древнем Риме он изучал сохранявшиеся в его время пережитки родовых отношений у некоторых народов), филологической конъектуры, прослеживая возникновение преданий из не дошедшего, по его убеждению, до нас раннего римского эпоса и стараясь найти в них подлинную историческую основу. Оживление в России в 1830 г. интереса к Нибуру было вызвано появлением второго издания «Римской истории» и выходом «Истории русского народа» (Т.1. 1829) Н.А. Полевого с посвящением «Г-ну Нибуру, первому историку нашего века». В рецензии на первый том (январь — февраль 1830) Пушкин резко порицал «самонадеянность» и «нескромность» этого посвящения. Несколькими годами позже в статье «Мнение М.Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной» (1836) он отметил как положительный факт, что французы противопоставили «Нибуру и Галламу» свою романтическую историографию («Баранта, обоих Тьерри и Гизо»), служившую рупором общественно-актуальных идей и доктрин. Он был убежден, что «Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенных Гизотом из истории христианского Запада» («< О втором томе «Истории русского народа» Полевого >», октябрь — ноябрь 1830). Свой экземпляр французского перевода «Римской истории» Пушкин приобрел в 1835 г.

С.294. *Корючкин* — смысловая фамилия.

С.295. *...в пансион Карла Ивановича Мейера...* — Пушкин колебался в выборе имени и фамилии содержателя пансиона (первоначальные варианты: «Франц Егорович Ф.» и «Фр <анц> Ив <анович>») и остановился на Карле Ивановиче Мейере, возможно потому, что в Царскосельском лицее гувернером служил Карл Борисович Мейер.

С.295. *По изгнании двенадцати языков...* — «Двумнадесятью языками» называли вторгнувшую в Россию разноплеменную «великую армию» Наполеона.

С.295. *...и через десять минут въехал на барский двор. <...> на котором паслась бурая корова.* — Это описание перенесено почти дословно в третью главу «Дубровского» (см. с.321—322).

С.295—296. *Бричка моя остановилась у переднего крыльца. <...> обняла меня с плачем и рыданием...* — Это описание воспроизводит, по-видимому, впечатления самого Пушкина от встречи с няней и дворней в Михайловском, когда он туда

приехал в 1824 г. (См.: Пушкин А.С. Дубровский / Ред. текста и статья Д. Якубовича. Л., 1936. С. 142—143).

С.296. *Женщинам говорил я без церемонии: «Как ты постарела» — и мне отвечали с чувством: «Как вы-то, батюшка, подурнели».* — 25 сентября 1835 г. Пушкин писал жене из Тригорского: «...вчера мне встретила знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменялась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарелся да и подурнел».

С.296. *...навстречу мне вышла моя кормилица и обняла меня с плачем и рыданиями, как многогрудального Одисея.* — Имеется в виду сцена узнавания вернувшегося домой после многолетних скитаний Одиссея его няней Евриклей:

...И веселье и горе проникли старушку,
Очи от слез затуманились, ей не покорствовал голос.
Сжав Одиссею рукой подбородок, она возгласила:
«Ты Одиссей! Ты мое золотое дитя! И тебя я
Прежде, пока не ощупала этой ноги, не узнала!»
(«Одиссея», песнь 19, стихи 471—475
в пер. В.А. Жуковского).

С.297. *...изгавишу с большим искусством в одно воскресенье роль Амалии в драме «Ненависть к людям и раскаяние».* — Сентиментальная драма немецкого драматурга Августа Коцебу (1761—1819) «Ненависть к людям и раскаяние» (1789), имевшая в России огромный успех и державшаяся в репертуаре с 1790 г. до середины XIX в., ни разу не шла в Петербурге по воскресеньям в 1816—1820 и 1826—1830 гг. С другой стороны, в воскресенье 17 июня 1817 г. шла другая драма Коцебу — «Сын любви» (1790), в которой роль Амалии исполняла актриса Прево. Предполагается, что на этом спектакле мог присутствовать Пушкин (см.: Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина, 1799—1826 / Сост. М.А. Цявловский. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1991. С. 138). Ранее, в 1811 г., с большим успехом роль Амалии в «Сыне любви» играла актриса Е.С.Семенова (1786—1849). 3 мая 1830 г. (в субботу) Пушкин с Н.Н. Гончаровой был в Москве на представлении драмы «Ненависть к людям и раскаяние» с Е.С. Семеновой, но, естественно, не в состоящей лишь из нескольких слов роли маленькой девочки Амалии. В комментируемой фразе, возможно, контаминировались впечатления разных лет.

С.297. *«Благонамеренный»* — петербургский журнал, издававшийся в 1818—1826 гг. писателем Александром Ефимовичем Измайловым (1779—1831) как орган Вольного общества любителей российской словесности. Не имевший определенного направления, занимавший несколько архаичную литературную позицию и наполнявшийся грубоватым юмором своего редактора, журнал служил в пушкинском кругу мишенью непрерывных насмешек, в том числе иногда и малопрстойных (см. письмо Пушкина к П.А. Вяземскому от 1 сентября 1828).

С.297. *...потянул листок «Гамбургской газеты».* — См. выше, с.455, коммент. к с.260.

С.297. *Это Б., сочинитель».* — В черновом плане «Истории села Горюхина» инициал раскрыт: Булгарин. Окружающий текст наполнен деталями, намекающими с разных сторон на эту одиозную, для Пушкина и его единомышленников, фигуру: косвенно упоминается столь же одиозный Коцебу, шпион и агент царского правительства и «Священного союза»; гороховое пальто было, в глазах современников, одеждою полицейских сыщиков; из «Гамбургской газеты» Бул-

гарин в «Северной пчеле» перепечатывал известия; прохожий встречается с этим «сочинителем» у Полицейского моста (через реку Мойку по Невскому проспекту), получившего свое название от расположенного рядом дома петербургского генерал-полицмейстера в 1764—1777 гг. Н.И. Чичерина (ум. 1782) (современный адрес: Невский пр., д.15).

С.297. «Соревнователь просвещения» — петербургский журнал (полное название: «Соревнователь просвещения и благотворения»), издававшийся в 1818—1825 гг.; в 1821 г. в нем было напечатано несколько статей Ф.В. Булгарина.

С.298. *Рюрик* — легендарный русский князь, старший из трех братьев-варягов, призванных, согласно летописному преданию, в 862 г. новгородцами из Скандинавии.

С.298. «Опасный сосед» — шутливая поэма В.Л. Пушкина (1811), действие которой происходит в публичном доме.

С.298. «Критику на Московский бульвар», «на Пресненские пруды» и т. п. — анонимные сатирические куплеты начала XIX в. «Булевар» («Жаль расстаться мне с бульваром...»), «На Пресненские пруды» («Я приду к прудам широким...»), «Разлука с Преснею» («Пресня, милое гулянье...»). Ср. выше, с.443, коммент. к с.242.

С.298. ...я непременно решился на эпическую поэму <...> я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика. — Ср. запись в лицейском дневнике от 10 декабря 1815 г.: «Третьего дни хотел я начать ироическую поэму: *Игорь и Ольга*, а написал эпиграмму на Шаховского, Шихматова и Шишкова». Подлинного портретного изображения Рюрика не существует.

С.299. ...бессмертный труд аббата Милота? — Имеется в виду широко известный в Европе в конце XVIII — начале XIX в. труд французского историка-иезуита Клода Франсуа-Ксавье Милло (Millot, 1726—1785), переведенный на русский язык под заглавием: «Древняя и новая история, от начала мира до настоящего времени...» Сочинение г. аббата Милота, члена многих академий. (М., 1785. Ч. 1—9, и др. изд. и переводы до 1820 г.). В этом издании объединены два сочинения автора: четырехтомные «Основы общей истории древнего времени» («*Elements de l'histoire generale ancienne*», 1772) и продолжающие их пятитомные «Основы общей истории нового времени» («*Elements de l'histoire generale moderne*», 1773).

С.299. ...что скажу я после Татищева, Болтина и Голикова? — Татищев Василий Никитич (1686—1750) — автор «Истории российской с самых древнейших времен», изданной посмертно (Кн. 1—4. М., 1768—1784; Кн. 5. М., 1848). Болтин Иван Никитич (1735—1792) — автор «Примечаний на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка» (СПб., 1788. Т. 1—2) и посмертно изданных «Критических примечаний генерал-майора Болтина на первый [и второй] том истории князя Щербатова» (СПб., 1793—1794. Т. 1—2). Голиков Иван Иванович (1735—1801) — автор-компилятор «Деяний Петра Великого, мудрого преобразователя России» (М., 1788—1789. Ч. 1—12) и «Дополнения к Деяниям Петра Великого» (М., 1790—1797. Т. 1—18). Белкину осталась неизвестной или не произвела на него впечатления «История государства Российского» Н.М. Карамзина, вытеснившая в широком читательском обиходе все эти труды.

С.299. ...ни для прагматика... — Прагматик — историк, излагающий события прошлого не только в их последовательности, но с объяснением причинно-следственной связи между ними, усматриваемой преимущественно в побужде-

ниях отдельных людей, и с целью преподавания определенного поучения. Хотя определение «прагматический» было в этом смысле введено в употребление еще древнегреческим историком Полибием (204 — около 125 г. до н.э.), в европейских языках указанное значение этого слова было в год создания «Истории села Горюхина» самым свежим неологизмом, так что знакомство с ним И.П. Белкина, ориентированного на историческую литературу XVIII в., неожиданно.

С.300. *Ныне, как некоторый мне подобный историк, коего имени я не запомню...* — Белкин сравнивает себя с английским историком Эдуардом Гиббоном (1737—1794), автором знаменитой многотомной «Истории упадка и гибели Римской империи» (опубл. 1776—1788. Т. 1—6). В «Записках о моей жизни и сочинениях» («Memoirs of My Life and Writings», опубл. 1795) Гиббон рассказал о завершении своего двадцатилетнего труда: «В день, или вернее в ночь, 27 июня 1787 г., между 11 и 12 часами, я написал последнюю строку последней страницы моего труда в беседке в моем саду. Положив перо, я прошелся несколько раз под зелеными сводами аллен акаций, откуда открывался вид на окрестности, на озеро и горы. Погода была тихая, небо чистое, серебряный диск луны отражался в водах, и вся природа была погружена в молчание. Не скрою первого чувства радости в ту минуту, когда вернулась мне свобода и, может быть, готовилась моя известность; но моя гордость вскоре успокоилась, и трезвая грусть овладела моей душой при мысли, что я только что расстался со старым и милым спутником и что каков бы ни был предельный срок моей личной истории, жизнь историка может быть лишь краткой и ненадежной» (пер. Б.В. Томашевского). Во время работы над «Историей села Горюхина» Пушкин знал эти строки по вступительной статье Ф. Гизо к французскому переводу «Истории» Гиббона. Сочувственный отклик эта цитата получила, видимо, в стихотворении «Труд» («Миг вожденный настал...»), написанном в Болдине в последних числах сентября 1830 г. и связываемом с окончанием «Евгения Онегина».

С.300. *...пора мне опочить!* — Эти строки И.П. Белкин пишет на двадцать седьмом году своей жизни.

С.300. *...плодовито* — многословно.

С.300. *Ревизские сказки* — поименный список лиц податных сословий (зд. крепостных крестьян, облагаемых подушной податью), составлявшийся во время ревизии (переписи населения).

С.301. *...Дериуховом и Перкуховом...* — В автографе первоначально было: «Дериглазовом и Перхушковом». Дериглазово — сельцо, находившееся в непосредственном соседстве («межа в межу») с землями Михайловского; Перхушково — почтовая станция на Можайской дороге.

С.301. *...от владений карачевских вольных хлебопашцев...* — «Вольными» (свободными) хлебопашцами называли крестьян, не находившихся в крепостной зависимости.

С.301. *...поля захарьинские...* — Реминисценция подмосковного села Захарова (Захарьина) (см. выше, с.419, коммент. к с.152). По наблюдению Л.М. Аринштейна, детали захарьинского ландшафта отразились в топографии окрестностей Горюхина (березовая роща, еловый лес, болото с клюквой, пруд, мелководная речка с налимами и пр.).

С.301. *Сие болото и называется Бесовским.* — По предположению Б.В. Томашевского, эта деталь могла быть подсказана Пушкину заметкой в «Московских ведомостях» (1829. 23 января): «Бесовское озеро. При селении Нураки находится

озеро, или лучше сказать болото, того же имени, имеющее мило в окружности и сделавшееся чрез одно старое народное поверье предметом ужаса для всего округа. Тамошние жители утверждают, что часто ночью слышится со дна сего озера странный вой, отчего испуганные стада бегут прочь, и они приписывают это собранию нечистых духов, будто бы тут обитающему».

С.302. ...*партикулярных папшпортов...* — зд. в ироничном употреблении: самодельных, фальшивых.

С.303. ...*в древнем общественном здании, украшенном елкою и изображением двуглавого орла.* — Имеется в виду питейное заведение. По закону 1767 г., над входом в кабаки помещалось изображение российского государственного герба (двуглавого орла) в знак того, что заведение сдано казною на откуп. Елка служила своего рода вывеской; ср., например, в стихотворении М.Л. Михайлова «Кабак» (1848):

У двери скрипучей
Красуется елка...

С.303. Публий *Виргилий* Марон (70—19 гг. до н. э.) — знаменитый римский поэт.

С.303. ...*идиллии г-на Сумарокова.* — См. выше, с.392, коммент. к с.27—28.

С.303. *Ко боярскому двору...* — По наблюдению С.М. Бонди, пользуясь в этом стихотворении четырехстопным хореем, Пушкин изменяет его так, что он теряет сходство с обычным литературным стихом. Это изменение достигается не применяемым в литературном хорее, но свойственным народному отягчением ритма ударением на четном (втором) слоге в строке «Антон староста идет», аналогичным сдвигом в строке «Боярину подает», употреблением двух трехстопных стихов («А боярин смотрит, / Ничего не смыслит») с растяжением вдвое предпоследних слогов. (См.: Бонди С.М. Народный стих у Пушкина // Бонди С.М. О Пушкине: Статьи и исследования. М., 1978. С. 388—389).

С.304. *Но в течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок.* — Автобиографический мотив. В набросках «Опровержение на критики», написанных также в Болдине, в сентябре — октябре 1830 г., была следующая (зачеркнутая) фраза: «Ныне огромные имения Пушкиных раздробились и пришли в упадок, последние их родовые поместья скоро исчезнут...».

С.306. ...*в железы...* — На отдаваемых в рекруты было принято надевать оковы, чтобы они не сбежали.

ДУБРОВСКИЙ

Напечатано посмертно (с пропусками и искажениями): Сочинения. СПб., 1841. Т. 10.

Заглавие в рукописи отсутствует и дано редакторами при первой публикации.

Роман был начат 21 октября 1832 г., работа над ним прервана 6 февраля 1833 г. на девятнадцатой главе.

Замысел романа возник из слышанного Пушкиным в конце сентября 1832 г. от П.В. Нащокина рассказа, известного в поздней записи П.И. Бартенева: «Он рассказывал Пушкину про одного белорусского небогатого дворянина, по фамилии Островский (так и назывался сперва роман), который имел процесс с соседом за землю, был вытеснен из имения и, оставшись с одними крестьянами,

стал грабить сначала подьячих, потом и других. Наштокин видел этого Островского в остроге» (*Бартенев П.И.* О Пушкине: Страницы жизни поэта; Воспоминания современников. М., 1992. С. 344). В планах романа предполагались на разных стадиях работы над ним следующие варианты его продолжения и развязки:

1. После праздника у Троекурова и ограбления «учителем» Антона Пафнутьича Спицына «Учитель убегает с барышней. Жена его рожает. Она больна, он везет ее лечиться в Москву. Избрав из шайки надежных людей и распустив остальных, Островский в Москве живет уединенно, форейтор его попадает в буйстве и доносит на Островского (с одним из шайки Островского). Обер-полицмейстер».

2. После роспуска шайки (гл. 19) «Жизнь Марии Кириловны. Смерть князя Вереяского. Вдова. Англичанин. Свидание. Игроки. Полицмейстер. Развязка».

3. После того же «Москва, лекарь, уединение. Кабак, извет. Подозрения, полицмейстер».

С.308. ...*Кирила Петрович Троекуров*. — В первом черновом наброске начала романа этого персонажа звали Илья Петрович Нарумов. Затем Пушкин вспомнил, по-видимому, о «Кириле Петровиче Т.», бывшем в Рязани воеводе, владельце 3000 душ, из своего неоконченного романа о царском арапе и остановил свой выбор на этом варианте, развернув инициал в фамилию Троекуров. Фамилию Нарумова он использовал осенью следующего года в «Пиковой даме».

С.308. *В одном из флигелей его дома жили шестнадцать горничных <...> и новые поступали на их место*. — В рукописи этот фрагмент вычеркнут, однако издательская традиция сохраняет его в тексте романа на том основании, что этот мотив присутствует в восьмой главе упоминанием «других наперсниц, поминутно им сменяемых».

С.308. ...*но они тщеславились <...> надеясь на его сильное покровительство*. — Тема этого, также вычеркнутого в рукописи фрагмента развивается ниже в первой же главе и становится одним из важных сюжетобразующих моментов.

С.310. ...*отставной поручик гвардии...* — Военный чин девятого класса, соответствующий армейскому капитану. При выходе в отставку присваивалось следующее звание, следовательно — Дубровский-отец служил во втором снизу офицерском чине подпоручика.

С.310. *Обстоятельства разлучили их надолго*. — В рукописи первоначально говорилось об участии Троекурова в дворцовом перевороте 1762 г.: «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору» (ср. выше, с.387, коммент. к с.8). Однако это не согласовывалось с указанием в самом начале о времени действия романа («несколько лет тому назад»), поскольку оба отца оказывались бы глубокими (около восьмидесяти лет) стариками.

С.310. ...*отставной генерал-аншеф...* — Военный чин второго класса («полный генерал»), существовавший до 1798 г., после чего генерал-аншефы стали именоваться генералами от инфантерии, генералами от кавалерии, инженер-генералами. Поскольку, таким образом, Троекуров вышел в отставку еще в царствование Екатерины II и всего лишь «спустя несколько лет» после своего товарища, с которым, надо полагать, находился сначала в равных или соседних чинах, то его быстрый рост от девятого-восьмого класса до третьего, в котором он был перед отставкою, должен был мотивироваться участием в событиях 1762 г.

Следовательно, чин генерал-аншефа является, вероятно, остаточной деталью того раннего слоя текста, когда говорилось об участии Троекурова в перевороте.

С.312. *По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным...* — Сослагательное наклонение и противопоставление «нынешних понятий» прежним, хотя, согласно начальной фразе, действие происходит лишь «несколько лет тому назад», свидетельствует о том, что комментируемая фраза отражает, может быть, присутствие в сознании Пушкина остатков еще более ранней стадии замысла, когда завязка и, видимо, события относились к XVIII в.

С.313. *...учинить нападение на Кистеневку...* — Имение Дубровского получило в романе название от расположенного в 8 км северо-восточнее Болдина сельца Кистенева, выделенного в 1830 г. Пушкину отцом в связи с предстоящей женитьбой. Принадлежавшее роду Пушкиных еще в XVII в., оно в следующем столетии находилось во владении деда поэта Льва Александровича Пушкина (1723—1790), который выселял туда своих крепостных, кто проявлял непокорность и «самоуправство». Название «Кистенево», происходящее от слова «кистень» (см. ниже, с.492), было выбрано Пушкиным потому, что говорило о склонности его обитателей к бунту (в реальном Кистенево и улицы носили красноречивые названия «Самодуровка» и «Бунтовка»). В период работы над «Дубровским» Пушкин занимался перезалогом Кистенева.

С.313. *...получите ваше совершенное удовольствие.* — Юридический термин (см. далее в романе, с.318).

С.314. *...и генерал-аншефом Троекуровым...* — В рукописи: «и бригадиром Троекуровым».

С.315. *...стал читать определение суда.* — В рукописи «Дубровского» определение суда представлено писарской копией решения Козловского уездного суда по делу «о неправильном владении порутчиком Иваном Яковлевым сыном Муратовым имением, принадлежащим гвардии подполковнику Семену Петрову сыну Крюкову, состоящим Тамбовской губернии Козловской округи сельце Новопанском». В этой копии Пушкин начал изменять карандашом применительно к обстоятельствам своего романа имена, отчества, фамилии тяжущихся, их чины, название спорного владения, но правку до конца не довел; в печатном тексте все соответствующие изменения проведены последовательно редакторами-пушкинистами. Года, число душ в спорном селении, названия уезда, округи, ревизий не были тронуты правкою Пушкина, в печатном тексте они заменены пропусками, чтобы не возникало противоречия с авторской хронологией и другими реалиями романа.

Предполагается, что использованный в «Дубровском» документ является копией подлинного судебного дела, рассматривавшегося в октябре 1832 г., и что Пушкин ее получил через своего друга П.В. Нащокина от служащего ссудной казны Воспитательного дома Дмитрия Васильевича Короткого. Это утвердившееся в пушкинистике мнение нуждается в критической проверке. В копии находится большое число исправлений и помарок, причем некоторые из них возникли в результате своеобразной творческой работы над текстом документа, чего не могло случиться при механической переписке. В начальной фразе решения не проставлено число: «1832 года Октября дня...». Поскольку в подлинном деле подобного пропуска не могло быть, пробел был оставлен, очевидно, по договоренности с Пушкиным, чтобы он сам его заполнил. Но если такое

было возможно в отношении числа, то год и месяц также могли быть написаны по указанию Пушкина. Когда писатель работал над первой главой, он уже располагал копией, так как ввел в текст фигурирующего в ней Спицына. Судя по хронологическим пометам в рукописи, это упоминание появилось 25 октября, но поскольку первоначально вместо пробела было подставлено 19 октября, то вполне вероятно, что уже к этому числу Пушкин располагал копией. Таким образом, если бы дело рассматривалось в октябре 1832 г., то менее чем за месяц оно должно было бы прийти из Козлова в Москву, где жил Д.В. Короткий, и с него для последнего снята копия, для чего он должен был бы договориться с кем-нибудь из чиновников Сената; далее Д.В. Короткий должен был бы передать копию П.В. Нащокину, а тот переслать ее в Петербург вдогонку за уехавшим 10 октября Пушкиным. Вызывает сомнение, мог ли кто-нибудь из чиновников решиться передать писателю для использования дело, подлежащее, по-видимому, еще кассационному рассмотрению в Сенате. Принимая все эти обстоятельства во внимание, остается предположить, что в руках Пушкина находилась копия какого-то более давнего дела, начавшегося, как явствует из нее, 9 июня 1826 г. прошением С.П. Крюкова.

С.315. *...по 4-й ревизии...* — Проводилась в 1794 г.

С.319. *...выпущен был корнетом в гвардию...* — В тексте противоречие: младший офицерский чин корнета (в гвардии — XII класс) присваивался в кавалерии, а Владимир, как говорится выше, служил «в одном из гвардейских пехотных полков».

С.319. *...прочел следующее...* — Письмо, подписанное именем няни Пушкина (фамилия и отчество изменены), напоминает по тону подлинное письмо к нему Арины Родионовны от 30 января и 6 марта 1827 г.

С.319. *...около Миколина дня.* — Весенний день Николая чудотворца отмечается 9 мая.

С.321. *Он ехал берегом широкого озера <...> перед собою видел он Кистеневку и бедный дом своего отца.* — По наблюдению Л.М. Аринштейна, этот фрагмент содержит «топографически точное описание» села Большие Вяземы, имения князя Б.В. Голицына, и сельца Захарова (ср. выше, с.419, коммент. к с.152).

С.321—322. *Через десять минут въехал он на барский двор. <...> на котором паслась опутанная лошадь.* — Это описание перенесено почти дословно из «Истории села Горюхина» (см. с.295).

С.322. *Где стол был яств, там гроб стоит.* — Стих из оды Г.Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1783, вторая редакция).

С.323. *...нависистывая: «Гром победы раздавайся»...* — Речь идет о мелодии песни (слова Г.Р. Державина, музыка О.А. Козловского) для кадрили с хорами на празднике, данном в Петербурге 28 апреля 1791 г. князем Г.А. Потемкиным по случаю взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил; позднее песня стала исполняться как официальная.

С.326. *Удались от зла и сотвори благо...* — Неточно цитируемый («Удальсь» вместо «Уклонись») стих 15 из псалма 33.

С.326. *...замысловатый...* — остроумный.

С.328. *...во время турецкого похода...* — Очередная несогласованность хронологии романа: если речь идет о русско-турецкой войне 1787—1792 гг., то Владимиру к середине 1820-х гг. было бы уже за тридцать лет, между тем как по приметам, оглашаемым в девятой главе (см. с.342), ему 23 года; если же Дубров-

ский-отец участвовал в войне 1806—1812 гг., то его мундир должен был бы быть сшит позже 1797 г.

C.332. ...*наступило 1-е октября — день храмового праздника в селе Троекурова.* — Первое октября — День Покрова Пресвятой Богородицы.

C.333. ...*кроме «Совершенной поварихи»...* — Неясно, что здесь имеется в виду: какая-нибудь кулинарная книга или авантюрный роман М.Д. Чулкова «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины» (1770).

C.339. ...*руководствуясь лафатерскими догадками...* — т. е. угадывая по лицам. Имеется в виду популярное в конце XVIII — первой половине XIX в. учение «физиогномики» (определения характера по выражению лица), разработанное в книге швейцарского поэта и ученого, пастора Иоганна Каспара Лафатера (1741—1801) «Физиогномические фрагменты для содействия познанию человека и любви к людям» (1775—1778).

C.341. ...*сущий портрет Кульнева...* — Боевые подвиги генерала Якова Петровича Кульнева (род. 1763), убитого 20 июля 1812 г. при преследовании французов после сражения при Клястицах (Витебская губ.), широко популяризовались в лубочных картинках и брошюрах; большое распространение имел его посмертный гравированный портрет.

C.341. *Радклиф Анна (1764—1823)* — английская писательница, автор нескольких «готических» романов («Удольфские тайны», 1794; «Итальянец», 1797, и др.), изобиловавших таинственными происшествиями, ужасами, похищениями, преступлениями и пр., с обязательным в конце наказанием порока и торжеством добродетели; ее произведения, которыми зачитывались в первой трети XIX в., считались самыми выдающимися образцами жанра «тайн и ужасов» и вызвали поток подражаний (в том числе и под ее именем) во всех европейских литературах.

C.343. ...*выменяй образ моего француза.* — Про икону нельзя было сказать «купить», говорили «выменять»; таким образом, Троекуров советует Антону Пафнютычу приобрести икону с изображением святого, покровительствующего французу, что означает: «молись за моего француза».

C.354. ...*он любил английские сады и так называемую природу...* — См. выше, с.417, коммент. к с.149.

C.355. ...*наш Ринальдо?* — См. выше, с.435, коммент. к с.213.

C.356. *Амфитрион* — легендарный древнегреческий царь, чье имя стало нарицательным для гостеприимного, хлебосольного, достаточно богатого, чтобы устраивать изысканные пиры, хозяина, после того как таким его изобразил в своей одноименной комедии (1668) французский драматург Мольер.

C.357. *Она не пугалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышла розу зеленым шелком.* — Имеется в виду эпизод из пятой песни поэмы Адама Мицкевича «Конрад Валленрод» (1827): Альдона, возлюбленная героя, вышла цветок розы зеленым шелком, а листья — красным.

C.368. *Не шуми, мати зеленая дубровушка...* — См. выше, с.398, коммент. к с.56.

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ

Напечатано посмертно (под редакторским заглавием «Египетские ночи», без стихов первой импровизации, с включением стихотворения «Клеопатра»: «Современник». 1837. Т. 8.

В рукописи черновое заглавие «Клеопатра».

Прозаический текст повести был написан предположительно в Михайловском в сентябре — октябре 1835 г.

Рассказ о Клеопатре, кратко излагаемый Чарским (см. с.382) со ссылкой на приписываемую римскому историку Аврелию Виктору (IV в.) книгу «О знаменитых мужах» и являющийся вымыслом позднего происхождения, давно привлекал внимание Пушкина. В октябре 1824 г. он написал первую редакцию стихотворения «Клеопатра» («Царица голосом и взором / Свой пышный оживляла пир...»), а в конце октября — начале ноября 1828 г. и в сентябре 1830-го — вторую («Чертог сиял. Гремели хором...»), при жизни поэта не напечатанную, включенную редакторами в первую публикацию «Египетских ночей» и с тех пор считающуюся бесспорно принадлежащей к этому произведению по тематике и на основании отрывочных набросков второй импровизации. В восьмой главе «Евгения Онегина», которая писалась с 24 декабря 1829 г. по 25 сентября 1830-го, Пушкин снова вспомнил о Клеопатре («Она сидела у стола / С блестящей Ниной Воронскою, / Сей Клеопатрою Невы» — строфа XVI). Новый поворот темы — проецирование «такового торга» на «нынешние нравы» — он испробовал предположительно в первой половине 1835 г. в наброске «Мы проводили вечер на даче...» Оставив этот замысел на первых же страницах, Пушкин начал позднее писать «Египетские ночи».

С.372. *Quel est cet homme?..* — эпитафия взят из французского «Альманаха каламбуров» (1771), составленного маркизом де Бьевром (1747—1789).

С.372—373. *Несмотря на великие преимущества <...> не написали ли вы чего-нибудь новенького?* — Этот фрагмент представляет собою переработку написанного 26 октября 1830 г. наброска «Отрывок» («Несмотря на великие преимущества...»), носившего откровенный автобиографический характер. В «Египетских ночах» большинство явных автобиографических подробностей исключены или смягчены.

С.372. *...ставить винительный падеж вместо родительного...* — Речь идет о нередком в первой половине XIX в. употреблении в стихотворной речи винительного падежа после глагола с отрицанием «не», например в пушкинских стихотворениях:

Еще семь лет — и обещаю
Ты не исполнишь, может быть
(«К Маше», 1816).

Безумный сон покинул томны вежды,
Но мрачные я грезы не забыл
(«Князю А.М. Горчакову», 1817).

Пушкин писал об этой «поэтической вольности» в набросках «Опровержение на критики» (сентябрь — октябрь 1830).

С.372—373. *Публика смотрит не него как на свою собственность; <...> А это еще цветы ремесла!* — Ровно за месяц до того, как Пушкин написал эти строки в «Отрывке», он выразил те же мысли в стихотворении «Ответ анониму» (26 сентября 1830). По наблюдению А.А. Ахматовой, слова «Публика смотрит на него как на свою собственность» являются реминисценцией фразы «You became public property» из гл. 46 романа Булвера-Литтона «Пелэм, или Приключения джентльмена» (см. выше, с.471, коммент. к с.285), где герой получает

следующий совет: «Никогда, любезный Пелэм, не давай никаким соблазнам вовлечь тебя в это приятное, но обманчивое начинание — печататься; с этого момента ты становишься общественным достоянием...» (*Бульвер-Литтон Э.Д.* Пелэм, или Приключения джентльмена. М., 1958. С. 265; см.: *Ахматова А.А.* Пестрые заметки // *Ахматова А.А.* О Пушкине: Статьи и заметки. 3-е изд., испр. и доп. М., 1989. С. 249—250).

С.372. ...он рожден для ее пользы и удовольствия. — Ср. стихотворение «Поэт и толпа» (1828).

С.372. ...в Английском магазине... — модный петербургский магазин Никольса и Плинка, торговавший разнообразными товарами, от тканей и канцелярских принадлежностей до ювелирных изделий и заграничных вин.

С.372—373. ...тот уж кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого-то; и мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами. — Знакомый Пушкина, писатель Борис Михайлович Федоров (1798—1875) записал в июне 1827 г. в своем дневнике: «Был у Карамзиных — виделся там с Пушкиным. Коля сидел на коленях его и читал ему его стихи». Коля — сын Федорова.

С.373. ...резановское мороженое... — мороженое из модной петербургской кондитерской Резанова.

С.374. Он был высокого росту <...> обличали в нем иностранца. — По наблюдению А.А. Ахматовой, портрет импровизатора «во всех подробностях соответствует описанию внешности Мицкевича, оставленному нам Полевым» (*Ахматова А.А.* Две новые повести Пушкина // *Ахматова А.А.* О Пушкине... С. 195—196): «Наружность его была истинно прекрасна. Черные, выразительные глаза; роскошные черные волосы; лицо с ярким румянцем; довольно длинный нос, признак остроумия; добрая улыбка, часто являвшаяся на его челе, постоянно выражавшем задумчивость, — таков был Мицкевич в обыкновенном, спокойном расположении духа; но когда он одушевлялся разговором, глаза его воспламенялись, физиономия принимала новое выражение, и он бывал в эти минуты увлекателен, очаровывая притом своею речью, умною, отчетливую, блистательную...» (*Полевой К.* Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого // *Н. Полевой.* Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов / Ред., вступ. статья и коммент. Вл. Орлова. Л., 1934. С. 206).

С.374. Я неаполитанский художник... — Пушкин, видимо, подразумевает, что итальянец употребил слово «artista», основное значение которого — артист, а переносное (совпадающее со значением русского слова «художник») — человек, творчески работающий в какой-нибудь области искусства.

С.375. ...выпрашивая себе вспоможения. — В рукописи после этих слов зачеркнуто: «а от своих меценатов (черт их побери) требуют одного: чтобы они не входили на них в тайные доносы (и того не могут добиться)». В этой фразе содержался намек на отношения Пушкина в период южной ссылки к новороссийским генерал-губернатором М.С. Воронцовым. Тем самым тирада Чарского явилась продолжением полемики Пушкина с К.Ф. Рылеевым и А.А. Бестужевым о роли меценатства в литературе. В письме А.А. Бестужеву (конец мая — начало июня 1825) он писал: «...мы можем праведно гордиться: наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем пред ним отличается, что не носит на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы. <...> У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость

сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемыми равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение как шестисотлетний дворянин, — дьявольская разница!» О сервиллизме французских писателей XVII в. Пушкин говорил в наброске статьи «О ничтожестве литературы русской» (1834).

С.375. Импровизатор! — вскрикнул Чарский... — В русском обществе 1830-х гг. вызывали живой интерес приезжавшие из-за границы импровизаторы и само искусство импровизирования. В 1826—1829 гг. Пушкин слышал несколько раз импровизации на французском языке Адама Мицкевича (в том числе на вечере в свою честь в Москве и 30 апреля 1828 г. у себя в номере в петербургском Демутовом трактире). На вечере в Москве он, по свидетельству очевидца, переданному позднее (видимо, не без романтического преувеличения) другом Мицкевича, польским поэтом А.Э. Одынцом, «вдруг вскочил с места и, ероша волосы, почти бегая по зале, восклицал: *Quel génie! quel feu sacré! que suis-je auprès de lui?* < пер.: Какой гений! какой священный огонь! что я рядом с ним? > — и, бросившись Адаму на шею, обнял его и стал целовать как брата» (письмо Ю. Корсаку 9 (21) мая 1829 // *Мицкевич А.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1954. Т. 5. С. 631). Вспоминая импровизацию 30 апреля 1828 г., П.А. Вяземский писал, что Пушкин был глубоко потрясен «этим огнедышащим извержением поэзии» (А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 1. С. 133—134). В 1832 г. в России гастролировал немецкий импровизатор Макс Лагерншварц, однако доказательств присутствия Пушкина на его сеансах не имеется. В 1833 г. был напечатан рассказ В.Ф. Одоевского «Импровизатор». В мае — августе 1834 г. Пушкин общался с гастролировавшим в Петербурге французским мимом и чревовещателем Александром Ваттемаром (1790—1864), сменившим его «до слез» (письмо жене около 29 мая 1834); некоторыми бытовыми деталями приход итальянца к Чарскому напоминает визит Ваттемара к Пушкину, как о нем рассказывал живший у поэта с июня до середины августа его шурин Сергей Николаевич Гончаров; Пушкин помогал Ваттемару организовать московские гастроли (письмо М.Н. Загоскину 9 июля 1834). С темой импровизации Пушкин встречался в художественных произведениях («Коринна» Ж. де Сталь, «Флорентийские ночи» Г. Гейне и др.); ему были известны и статьи в журналах и газетах о выступлениях гастролеров.

С.376. Я царь, я раб, я червь, я бог. — Стих из оды Г.Р. Державина «Бог» (1784).

С.376.завален бумагами... — По этому поводу А.А. Ахматова заметила: «Что итальянец не только импровизатор, но и поэт, видно из нескольких «описок» Пушкина: 1) Стул в комнате итальянца завален «*бумагачи*» и бельем. Какие же, помилуй бог, «бумаги» у только что приехавшего нищего импровизатора? Это, конечно, рукописи писателя» (*Ахматова А.А.* Две новые повести Пушкина. С. 195).

С.378. Поэт идет — открыты вежды... — В рукописи «Египетских ночей» стихи первой импровизации отсутствуют. Текстологами установлено, что для нее предназначались публикуемые стихи, частично сочиненные в том же 1835 г., а частично представляющие строфу XIII неоконченной поэмы «Езерский» (1833).

С.378. Зачем арапа своего / Младая любит Дездемона, / Как месяц любит ночи мглу? — Эта тема возникла еще в заметке «Возражение критикам „Полтавы“» (1830), где, отвечая своим оппонентам, утверждавшим, что (как передал их

аргументы Пушкин) «отроду никто не выдвигал, чтоб женщина влюбилась в старика, и что следственно любовь Марии к старому гетману <...> не могла существовать», Пушкин назвал любовь «самой своенравной страстью» и в подтверждение сослался на примеры из литературы, в том числе на трагедию Шекспира: «А Отелло, старый негр, пленивший Дездемону рассказами о своих странствиях и битвах?...»

С.378. *Аквилон* — северный ветер, представляемый в виде древнеримского божества.

С.379. *Каким образом ваятель...* — Эти слова восходят с сонету Микель-Анджело Буонаротти.

С.379. *Каррарский мрамор* — знаменитый сорт белого мрамора, добываемого в окрестностях итальянского города Каррары.

С.379. *...la signora Catalani...* — Итальянская певица Анжелика Каталани (1779—1849) гастролировала в России в 1820 (в Петербурге уже после отъезда Пушкина на юг), 1823 (Петербург) и 1825 (Москва) гг.

С.380. *...неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра.* — Ср. в стихотворении «Ответ анониму» (1830): «Холодная толпа взирает на поэта, / Как на заезжего фигляра...»; в статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“» (1836): «...Мильтон, проезжая через Париж, не стал бы показывать себя как заезжий фигляр...»

С.380. «*Танкред*» — опера (1813) итальянского композитора Джоаккино Антонио Россини (1792—1868) на сюжет одноименной трагедии Вольтера. В Петербурге «Танкред» шел на сцене немецкой оперы в сезон 1834/35 гг.

С.381. *Семейство Ченчи.* — Темы, заданные импровизатору, связаны с модными в те годы сюжетами многих произведений литературы и искусства. Первой из них было громкое уголовное дело об убийстве 9 сентября 1598 г. римского аристократа Франческо Ченчи его женою, тремя сыновьями и дочерью, измученными и доведенными до крайности, как они говорили, его жестоким с ними обращением, издевательствами, самодурством и насилием. Признавшись под пыткой в инкриминированном им преступлении, старший сын Джакомо, его сестра Беатриче, которую отец принудил к сожительству, и их мачеха Лукреция Петрония были казнены в Риме 11 сентября 1599 г. Эта история, особенно трагическая судьба красавицы Беатриче, окруженной ореолом невинной мученицы, вызвала отклики по всей Европе и получила отражение в ряде известных литературных произведений и полотен (портрет Беатриче кисти Гвидо Рени; трагедия английского поэта Перси Биши Шелли «Ченчи», 1819; трагедия «Беатриче Ченчи» французского путешественника и литератора маркиза де Кюстина, поставленная в Париже в 1833 г.; и др.).

С.381. *L'ultimo giorno di Pompei.* —Эту тему сделал модной триумф картины на этот сюжет К.П. Брюллова, выставленной на обозрение в Петербурге в августе 1834 г. Пушкин откликнулся на нее стихотворным наброском «Везувий зев открыл...» (август — сентябрь 1834). В том же 1834 г. появился роман Э.Д. Булвера-Литтона «Последние дни Помпеи» и сразу его французский перевод, который имелся у Пушкина.

С.381. *La primavera veduta da una prigione.* — Тема навеяна эпизодом из книги «Мои темницы» (1832) итальянского писателя Сильвио Пеллико (1789—1854), пробывшего десять лет в заключении за участие в движении карбонариев. В гл. 78 Пеллико привел стихи своего товарища по тюрьме Марончелли, написанные

перед опасной операцией: «Весенние ветерки, вы пролетаете над Италией, но уже не веете над страдальцем заключенным. Как я призывал возвращение апреля и мая. Вот они... но не оживили страдальца заключенного. Под небом Моравии томится прекрасная природа и не может возродить силы страдальца заключенного» и т. д. (пер. Б.В. Томашевского). Книга Пеллико произвела сильнейшее впечатление во всей Европе.

С.381. *Il trionfo di Tasso*. — Итальянский поэт Торквато Тассо (1544—1595), страдавший психическим расстройством, умер накануне своего триумфа — венчания его лавровым венком в Риме на Капитолии. На этот сюжет написана элегия К.Н. Батюшкова «Умиравший Тасс» (1817). Сложившаяся еще при жизни Тассо легенда о его любви к принцессе Элеоноре Эсте, сестре герцога Феррарского Альфонсо II, и наказании за это многолетним заточением в сумасшедшем доме превратила образ поэта в символ гения, гонимого людьми, принимающими в своем ослеплении его за безумца. Судьбе Тассо, воспринимаемой в этом свете, были посвящены многие произведения европейской литературы и живописи (драма Гете «Торквато Тассо», 1790; поэма Байрона «Жалоба Тассо», 1817; трагедия Э.В. Раупаха «Смерть Тассо», 1825; картина Э. Делакруа «Тассо в госпитале св. Анны», 1836; и др.). В 1833 г. вышла и 8 июля 1835 г. была сыграна в первый раз в Петербурге «драматическая фантазия» Н.В. Кукольника «Торквато Тассо».

С.383. *Киприда* — древнегреческая богиня любви и красоты Афродита, получившая это прозвище от одного из главных мест своего культа — о. Кипра.

С.383. *Аид* — в древнегреческой мифологии, царство мертвых, преисподняя.

С.383. *Аврора* — римское имя богини утренней зари.

С.384. *За ним Критон...* — Пушкин использует имя реального лица, жившего около 400 г. до н.э., друга и последователя древнегреческого философа Сократа, персонажа одного из диалогов Платона.

С.384. *Рожденный в рощах Эпикура...* — Ученики древнегреческого философа Эпикура (341—270 гг. до н. э.) собирались в его саду, откуда основанная им школа получила название «Сад Эпикура».

С.384. *Хариты* — в древнегреческой мифологии, богини красоты и радости, олицетворявшие женскую прелесть.

СЛОВАРЬ УСТАРЕЛЫХ И РЕДКО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СЛОВ

- Абаз* — старинная грузинская монета (в пушкинское время достоинством около 20 копеек серебром).
- Алтын* — монета достоинством в 3 копейки.
- Анекдот* — действительное примечательное или забавное происшествие, случай.
- Антресоли* — верхний неполный этаж с низкими потолками.
- Ария* — мелодия, мотив.
- Армяк* — крестьянская верхняя мужская одежда в виде долгополого кафтана из грубого сукна.
- Арнаут* — турецкое название албанца (об употреблении этого слова Пушкиным см. выше, с.429, коммент. к с.198).
- Артикулы* — ружейные приемы (с.280).
- Атаган* (ятаган) — рубящее и колющее оружие, среднее между саблей и кинжалом, с изогнутым концом клинка.
- Банк* — азартная карточная игра (ее варианты «фараон», «штосс»), в которой один игрок, называемый банкومت, объявлял ставку, а другой, понтёр (которых в зависимости от варианта игры могло быть несколько поочередно или одновременно), — сумму, на которую играл, и карту, на которую ставил; затем банкومت тасовал колоду, предлагал понтёру ее снять и начинал «метать», раскладывая карты поочередно направо и налево крапом вниз, картинкой вверх. В разных вариантах игры действовали разные правила выигрыша-проигрыша карты понтёра: по ее старшинству или меньшинству относительно к выпавшей с нею в паре карте либо по месту, на которое она ложилась (направо от банкомета, против левой руки понтёра — выигрыш банкомета; налево от банкомета, против правой руки понтёра — выигрыш понтёра). В «Пиковой даме» выигрыш определяется местом карты.
- Барская барыня* — ключница, экономка из дворни.
- Басурманин* — иноверец, иноземец, турок (с.274).
- Белая горячка* — временное внезапное помешательство (бред без жара и других признаков болезни).
- Бешлык* — мелкая турецкая монета (в пушкинское время достоинством около 80 копеек серебром).

<i>Билет</i>	— удостоверение, пропуск.
<i>Бирка</i>	— палочка или дощечка, на которой зарубками отмечалась выполненная работа, уплата денег и пр.
<i>Благорастворенный</i>	— здоровый, полезный (о климате, воздухе).
<i>Благородие</i>	— общий титул дворян и обер-офицерских чинов (XIV—IX классов).
<i>Бостон</i>	— коммерческая (неазартная) карточная игра.
<i>Бригадир</i>	— армейский чин V класса, существовавший до конца XVIII в.
<i>Будочник</i>	— низший полицейский чин, стоявший у караульной будки и надзиравший за порядком на улице.
<i>Вагенбург</i>	— военный обоз.
<i>Важный</i>	— серьезный, исполненный глубокого содержания.
<i>Вахмистр</i>	— унтер-офицер в кавалерии (соответствующий фельдфебелю в пехоте).
<i>Великодушие</i>	— способность к самопожертвованию; мужество, храбрость.
<i>Великодушный</i>	— способный к самопожертвованию; мужественный (с.51).
<i>Вертеп</i>	— пещера.
<i>Видимо</i>	— явно, заметно для всех.
<i>Вино</i>	— водка (с.19, 56,73,75).
<i>Вист</i>	— коммерческая (неазартная) карточная игра для четырех игроков, считавшаяся, по словам писателя конца XVIII в. Н. Стрехова, игрой «степенных и солидных людей».
<i>Водевиль</i>	— веселая песенка, куплеты.
<i>Вольные лошади</i>	— не почтовые.
<i>Выборный</i>	— помощник старосты, распорядившийся нарядом подвод, исправлением дорог и пр.
<i>Высокоблагородие</i>	— общий титул чинов VI—VIII классов (штаб-офицерских).
<i>Высокопревосходительство</i>	— общий титул чинов I—II классов.
<i>Гальбина</i>	— молдавское название червонца.
<i>Генерал-аншеф</i>	— военный чин II класса («полный» генерал), существовавший до 1798 г.
<i>Генерал-поручик</i>	— военный чин III класса в 1731—1798 гг. (ранее и позднее — генерал-лейтенант).
<i>Глазет</i>	— сорт парчи, гладко протканной золотыми, серебряными нитями или узкими полосками мишуры.
<i>Гнуть</i>	— в карточной игре, загибая угол карты, показывать, что ставка удвоена; удваивать ставку.
<i>Горелки</i>	— старинная игра, в которой участники становятся попарно за тем, кто водит («горит»), и он по сигналу ловит одного из разбегающейся в разные стороны задней пары.
<i>Горское</i>	— кавказское вино.

<i>Грандифлор</i>	— растение с крупными цветами.
<i>Гранпасьянс</i>	— один из видов пасьянса, т. е. раскладывания в одиночку колоды карт по определенным правилам.
<i>Гусар</i>	— военный из частей легкой кавалерии, имевших форму венгерского образца.
<i>Делибаш</i>	— конный солдат турецкой армии из числа отборных храбрецов, употреблявшихся для набегов и возбуждения своим примером остальных воинов.
<i>Дервиш</i>	— мусульманский нищенствующий монах.
<i>Долгие</i>	— в выражении «ехать на долгих», т. е. на дальнее расстояние, не меняя в пути лошадей.
<i>Долиман</i>	— турецкая длиннополая одежда с пуговицами на груди и узкими рукавами, подпоясанная широким кушаком.
<i>Драгун</i>	— воин кавалерийских частей, предназначенных для действия как в конном, так и пешем строю.
<i>Загнуть угол</i>	— загнув угол карты, обозначить, что на нее сделана ставка; тем же образом обозначить сумму объявляемой ставки; объявить ставку, записав при этом ее сумму мелом на сукне игорного стола.
<i>Замок</i>	— помещичий дом, усадьба.
<i>Заседатель</i>	— выборный от сословий член судебного учреждения. Земский заседатель — член земского (уездного) суда.
<i>Земский</i>	— грамотный крестьянин, избравшийся в помощь старосте села, деревни для ведения письменных дел и исполнения полицейских функций.
<i>Земский заседатель</i>	— см.: <i>Заседатель</i> .
<i>Зоил</i>	— придирчивый, злой критик, злобный хулитель (по имени древнегреческого риторика и софиста Зоила (IV — III вв. до н. э.), прозванный «бичом Гомера» за резкую и мелочную критику «Одиссеи» и «Илиады»).
<i>Исправник</i>	— то же, что капитан-исправник (см.).
<i>Кабалистика</i>	— магические знания.
<i>Каданс</i>	— танцевальный ритм.
<i>Канифас</i>	— плотная полосатая или клетчатая бумажная ткань.
<i>Капитан</i>	— военный чин IX класса (в гвардии — VII класса, равный армейскому подполковнику).
<i>Капитан-исправник</i>	— начальник уездной полиции.
<i>Кислые щи</i>	— шипучий квас из пшеничной муки.
<i>Кистень</i>	— старинное оружие, состоящее из металлического шара или гири, прикрепленных ремнем (цепью) к короткой палке.
<i>Китайка</i>	— плотная хлопчатобумажная ткань (преимущественно синего цвета).
<i>Кичка</i>	— головной убор замужней женщины, род шапочки, часто с двумя выдающимися вперед остриями.

<i>Клефт</i>	— разбойник (<i>новогреч.</i>).
<i>Коллежский асессор</i>	— гражданский чин VIII класса.
<i>Коллежский советник</i>	— гражданский чин VI класса.
<i>Колодка</i>	— род массивных деревянных оков, надевавшихся на ноги арестанта для предупреждения побега.
<i>Корнет</i>	— первый офицерский чин в кавалерии (в армии — XIV класс, в гвардии — XII).
<i>Куранта</i>	— придворный танец итальянского происхождения, получивший распространение на рубеже XVI — XVII вв.
<i>Кутафья</i>	— неуклюже, безобразно одетая женщина.
<i>Лава</i>	— род конного рассыпного строя у казаков при атаке и при маневрировании с целью утомить и расстроить силы противника.
<i>Ланита</i>	— щека.
<i>Лафит</i>	— французское красное виноградное вино.
<i>Лев</i>	— денежная единица в Болгарии.
<i>Мадам</i>	— гувернантка, воспитательница-иностранка.
<i>Майор</i>	— военный чин VIII класса (в 1731—1798 гг. имел в армии две ступени: секунд-майор и премьер-майор; в гвардии существовал в 1731—1798 гг., относясь к VI классу, т. е. будучи равным армейскому полковнику).
<i>Мальвазия</i>	— сорт виноградного вина, названного по имени греческого города, откуда оно вывозилось.
<i>Маркер</i>	— лицо, прислуживающее при бильярде и ведущее счет во время игры.
<i>Маркитант</i>	— торговец съестными припасами, следовавший за армией.
<i>Ментор</i>	— воспитатель, наставник (по имени воспитателя Телемака, сына Одиссея).
<i>Мертвая голова</i>	— череп.
<i>Мирандоль</i>	— прием игры в карты равными кушами без увеличения ставки.
<i>Мирно́й</i>	— находящийся в мире, в дружбе (в то время как часть народа, племени находится во вражде и состоянии войны с другим народом, племенем).
<i>Мирской</i>	— общий, общинный, принадлежавший всем, миру.
<i>Миткаль</i>	— хлопчатобумажная ткань типа ситца.
<i>Мишура</i>	— тонкая золоченая или посеребренная проволока, употреблявшаяся для отделки платья.
<i>Наездничество</i>	— групповые или одиночные набеги, вылазки на неприятеля.
<i>Наперсник</i>	— друг и доверенное лицо, любимец, пользующийся особым доверием и благосклонностью кого-либо.
<i>Немец</i>	— иноземец, иностранец (с.270, 348).

<i>Отписывать</i>	— в карточной игре вычитать, списывать часть суммы.
<i>Отъезжее поле</i>	— отдаленное место охоты, куда выезжают из дома на длительный срок.
<i>Пароли́</i>	— ставка в карточной игре, увеличенная вдвое против выигранной.
<i>Пароли́-пе</i>	— ставка в карточной игре, дважды удвоенная против выигранной.
<i>Пашальк</i>	— область в Турции, управляемая пашой.
<i>Перекладные</i>	— в выражении «ехать на перекладных», т. е. в почтовом (казенном) экипаже (которым могла быть и простая телега), пересаживаясь на каждой станции в другой и перекладывая в него свои вещи.
<i>Перун</i>	— главное божество древних славян, бог грома и молнии. Перуны — артиллерийские орудия («Капитанская дочка», гл. 10, эпиграф).
<i>Пирожное</i>	— сладкое блюдо, подаваемое в конце обеда.
<i>Плис</i>	— хлопчатобумажная ворсистая ткань, хлопчатобумажный бархат.
<i>Плодовито</i>	— многословно, многоречиво.
<i>По-видимому</i>	— по внешним признакам, как кажется по внешнему виду (с.30).
<i>Повойник</i>	— головной убор замужней женщины.
<i>Погребец</i>	— дорожный ларец, сундучок с чайным или столовым прибором, напитками, едою.
<i>Подорожная</i>	— документ для проезда в указанное место, дающий право на получение, в зависимости от чина, определенного числа почтовых (казенных) лошадей по установленному тарифу.
<i>Подьячий</i>	— в Московской Руси помощник дьяка, делопроизводитель и писец в приказной канцелярии; в переносном значении: мелкий канцелярский, судейский чиновник (с 328, 329).
<i>Полати</i>	— широкие нары для сна в избе, расположенные под потолком от печи до противоположной стены.
<i>Полушампанское</i>	— шипучее вино типа шампанского.
<i>Понтировать</i>	— играть против банкмета (см.: банк).
<i>Поручик</i>	— военный чин XII класса в армии, IX класса — в гвардии (равный армейскому капитану).
<i>Порфира</i>	— пурпурная мантия, являющаяся одним из атрибутов царского достоинства.
<i>Потешные</i>	— дворовые дети, назначенные для игр и забав молодого барина.
<i>Пошлый</i>	— весьма распространенный, ставший привычным, всем известный, ходячий; обыкновенный, ничем не примечательный, заурядный.
<i>Прапорщик</i>	— первый офицерский чин (в армии — XIV класса, в гвардии — XII класса).
<i>Пращур</i>	— отец прапрадеда или прапрабабушки; в более широком смысле: далекий предок.

<i>Превосходительство</i>	— общий титул чинов III—IV классов.
<i>Предводитель</i>	— выборный представитель дворянства губернии или уезда.
<i>Предположение</i>	— намерение, замысел; план, соображение, связанное с осуществлением чего-либо.
<i>Премьер-майор</i>	— верхняя ступень военного чина VIII класса (1731—1798, нижняя ступень — секунд-майор).
<i>Приказная (приказная изба)</i>	— присутственное место, административно-полицейская канцелярия.
<i>Приказный</i>	— мелкий канцелярский служащий в судебном учреждении.
<i>Прованское масло</i>	— высший сорт оливкового масла.
<i>Провинциальный секретарь</i>	— гражданский чин XIII класса.
<i>Прогоны</i>	— поверстная плата ямщикам за провоз на почтовых лошадях от одной станции до другой из расчета за каждую лошадь
<i>Публицист</i>	— ученый, специалист по публичному праву.
<i>Пуниш</i>	— крепкий спиртной напиток, приготовлявшийся из рома или виноградной водки, разведенных кипятком и приправленных сахаром.
<i>Раскат</i>	— плоская насыпь или деревянный помост для установки пушек.
<i>Раут</i>	— званый вечер без танцев.
<i>Роброн (робронд)</i>	— парадное женское платье с широкой юбкой на каркасе.
<i>Розыск</i>	— допрос с применением пытки.
<i>Ротмистр</i>	— офицерский чин IX класса в кавалерии, соответствующий армейскому капитану; командир кавалерийского эскадрона.
<i>Руте</i>	— выигрыш несколько раз подряд одной и той же карты; поставить на руте — поставить на ту же карту с увеличением ставки.
<i>Сайдак</i>	— оружие, состоящее из лука с налучием и колчана со стрелами.
<i>Семпель</i>	— в выражении «ставить семпелем», т.е. на одну карту.
<i>Сенная девушка</i>	— дворовая девушка, находящаяся в услужении у господ, горничная.
<i>Сераскир</i>	— главнокомандующий турецкой армией.
<i>Сермяга</i>	— грубое неокрашенное сукно кустарной выделки.
<i>Сикурс</i>	— помощь.
<i>Скуфья (скуфейка)</i>	— круглая шапочка типа ермолки, тюбетейки (головной убор некоторых восточных народов и домашний головной убор, принятый у мужчин в дворянской среде).
<i>Соника (нареч.)</i>	— с первой ставки, с первого раза, сразу.

<i>Ставец</i>	— невысокий шкаф для посуды.
<i>Столоначальник</i>	— чиновник, управляющий столом (отделением в государственном учреждении).
<i>Стремянный</i>	— слуга, ухаживающий за верховой лошадейю своего господина и сопровождающий его на охоте.
<i>Стряпчий</i>	— чиновник по надзору за ходом дел в судебных учреждениях; ходатай по делам.
<i>Супостат</i>	— противник, враг.
<i>Существенность</i>	— действительность.
<i>Тайный советник</i>	— гражданский чин III класса (равный военному чину генерал-лейтенанта).
<i>Талья</i>	— промет колоды до последней карты, или до срыва банка, или до отказа понтирующих продолжать игру (круг игры от одной тасовки колоды до другой).
<i>Танга</i>	— клеймо, знак.
<i>Титло</i>	— в древнерусской и церковнославянской письменности надстрочный знак над сокращенно написанным (с пропуском букв) словом или над буквой, обозначающей цифру.
<i>Угол</i>	— см.: <i>Гнуть; загнуть угол</i> .
<i>Улан</i>	— воин из частей легкой кавалерии, носивших обтяжную форму особого покроя и вооруженных небольшими копиями, саблями.
<i>Урядник</i>	— унтер-офицерский чин в казачьих войсках.
<i>Успеть</i>	— суметь, смочь сделать что-либо; достигнуть успеха.
<i>Фараон</i>	— см.: <i>Банк</i> .
<i>Ферма</i>	— хозяйственная постройка, здание хозяйственного назначения.
<i>Фижмы</i>	— парные боковые каркасы из китового уса, надевавшиеся на бедра под женское платье (по моде XVIII в.); широкая юбка на таких каркасах.
<i>Формально</i>	— официально.
<i>Французская мука</i>	— пудра.
<i>Фриз</i>	— грубое ворсистое сукно.
<i>Хлебный магазин</i>	— склад для хранения государственных запасов зерна на случай неурожая и стихийных бедствий (учрежд. в 1763).
<i>Целовальник</i>	— продавец в питейном заведении, кабаке.
<i>Частный</i>	— частный пристав (полицейский чиновник, начальник полиции части, т. е. района города).
<i>Чекмень</i>	— суконный полукафтан в талию со сборками сзади.
<i>Чиниться</i>	— вести себя церемонно, не свободно.
<i>Чихирь</i>	— красное грузинское вино (определение Пушкина).

- Чичероне** — проводник, дающий пояснения при осмотре достопримечательностей.
- Чухонец** — именование лиц из прибалтийских финнов.
- Шаматон** — шалопай, бездельник, пустой человек.
- Шарлатан** — бродячий торговец целебными средствами.
- Шлафорк** — широкий домашний халат (вместо правильной формы «шлафрок», от нем. Schlafrock, Пушкин последовательно употреблял неправильную «шлафорк», производя ее, видимо, от разговорного сокращения «шлафор»).
- Штаб-лекарь** — военное звание старшего (полкового) врача; врач в этом звании.
- Штоф** — тяжелая шелковая или шерстяная ткань с узорами.
- Шушун** — верхняя женская одежда (род телогреи, душегрейка).
- Щи** — см.: *Кислые щи*.
- Экосез** — бальный танец типа кадрили, происходивший от старинного шотландского танца (в России появился в начале XIX в.).
- Юнкер** — военное звание для унтер-офицеров из дворян.
- Ябеда** — сутяжничество, крючкотворство, умышленное запутывание дела в корыстных целях.
- Янычар** — солдат или офицер привилегированного полка султанской Турции.

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

Капитанская дочка	7
Повести покойного Ивана Петровича Белкина	105
Выстрел	110
Метель	121
Гробовщик	131
Станционный смотритель	138
Барышня-крестьянка	149
Пиковая дама	167

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОБРАНИЕ РОМАНОВ И ПОВЕСТЕЙ

Кирджали	198
Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года	203
Отрывок из неизданных записок дамы (1811 год)	238
Последний из свойственников Иоанны д'Арк	248

**НЕЗАВЕРШЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

Арап Петра Великого	253
Роман в письмах	281
История села Горюхина	293
Дубровский	307
Египетские ночи	371
Комментарии	385
Словарь устарелых и редко употребляемых слов	490

А. С. Пушкин

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
в пяти томах**

Том 4
**РОМАНЫ
И ПОВЕСТИ**

**Составитель
и автор комментария В. Д. Рак
Оформление И. Н. Фаррахова
Технический редактор Н. А. Лакатош
Корректор Л. В. Денисова**

ЛР № 060897 от 18.03.92.
Подписано в печать 20.04.94. Формат 60×90¹/₁₆. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Печ. л. 31,5. Усл. печ. л. 31,5.
Заказ 728. Тираж 30 000 экз.
Издательство «Библиополис».
197148, Санкт-Петербург, Бронницкая ул., 17.
Отпечатано с оригинал-макета в ГПП «Печатный Двор».
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.